

ISSN 0132-2036

# ЮНОСТЬ

6'91







**Наталья НЕСТЕРОВА. г. Москва.**

«Смех». Холст, масло. 1989 г.

«Игра на пляже». Холст, масло. 1989 г.

*Смотрите нашу вкладку.*



На первой странице обложки —  
«Драка». Холст, масло. 1988 г.



# ЮНОСТЬ

(433)

6 '91



ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В 1955 ГОДУ

Редакционный совет:

Председатель —  
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Василий АКСЕНОВ  
Анатолий АЛЕКСИН  
Аркадий АРКАНОВ  
Юрий БОЛДЫРЕВ  
Борис ВАСИЛЬЕВ  
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ  
Генрих ИГИТЯН  
Игорь ИРТЕНЬЕВ  
Фазиль ИСКАНДЕР  
Кирилл КОВАЛЬДЖИ  
Алексей КОВЫЛОВ  
Александр ЛАВРИН  
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ  
Игорь ОБРОСОВ  
Мария ОЗЕРОВА  
Юрис ПОДНИЕКС  
Юрий ПОЛЯКОВ  
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
Виктор РОЗОВ  
Александр СЕРЕБРОВ  
Евгений СИДОРОВ  
Виктор СЛАВКИН  
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ  
Лев ТИМОФЕЕВ  
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ  
Юрий ЩЕРБАК  
Григорий ЯВЛИНСКИЙ  
Глеб ЯКУНИН

В НОМЕРЕ:



Полвека минуло с начала  
Великой Отечественной войны  
Фоторепортаж из 1941 года Сергея ВАСИНА  
(14)

Вторая публикация  
Александра СКОРОБОГАТОВА —  
повесть «Сержант Бертран» (2)

Новая повесть Юрия ПОЛЯКОВА  
«Парижская любовь Кости Гуманкова» (21)



Василий АКСЕНОВ  
«Московская сага» (35)

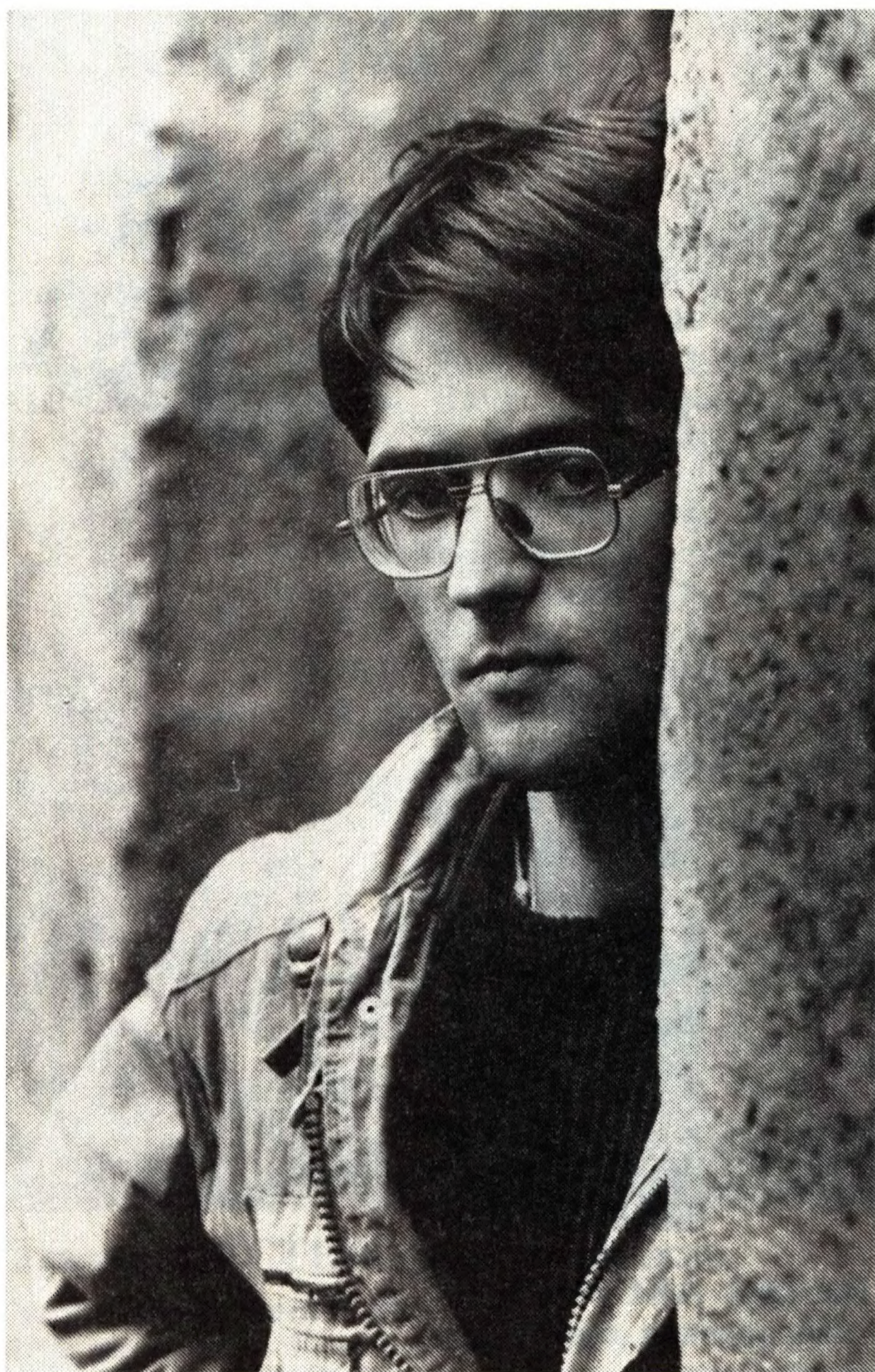
Николай ТОЛСТОЙ  
«Жертвы Ялты» (54)

Виктор СЛАВКИН  
Ностальгические заметки —  
«Расскажи, о чем тоскует саксофон...» (70)



Игорь ГАМАЮНОВ рассказывает  
«Как изменяют КГБ» (87)





Александр  
СКОРОБОГАТОВ

# СЕРЖАНТ БЕРТРАН

Повесть

Рисунок Софии Федоровой  
Фото Леонида Шимановича

Говорят, он убивал женщин, вспарывал своим коротким, с изогнутой костяной ручкой ножом животы и просовывал туда ноги — ему нравилось шевелить там пальцами, но ему совсем не нравилось, когда женщины кричали, говорят, это случалось иногда, если он не убивал их сразу. Тогда он начинал злиться и совсем не получал никакого удовольствия. Но так бывало редко, очень редко, ведь он умел убивать людей, он знал в этом толк.

Говорят, он называл себя почему-то Сержантом Бертраном — странное имя. Говорят, Бертрانا поймали и расстреляли, но я слышал и такое: когда шел Бертран по темному тоннелю навстречу смерти, — залпу автоматического палача, — он исчез. Люди слышали его шаг, тяжелый, он звучал гулко в темноте, а потом вдруг прекратился, его шаг. Так, словно Сержант остановился. Но его уже не было в этом тоннеле, а спрятаться там, как говорят, было невозможно. Он исчез, человек, который называл себя почему-то Сержантом Бертраном. А возможно, и это куда более вероятно, — его и не было никогда, никогда не было этого человека, которого люди называли зачем-то Сержантом Бертраном, хотя у него и было свое имя. Ведь было же у него свое имя? Как его звали?

## Сержант Бертран.

Когда это случилось впервые? Сейчас Николай уже не мог вспомнить этого точно. Может быть, просто однажды вечером открылась дверь, и в комнату вошел этот человек, улыбающийся, спокойный, снял шапку, поцеловал у жены руку и прошел в его комнату, поздоровался с ним, как со старым знакомым, присел на стул возле его кровати и стал смотреть на него пристально, и лицо его было сочувственным и торжественным, и Николай подумал, что вот точно так, сочувственно и торжественно, выглядел бы Сержант и на его похоронах. Почему-то так подумал Николай в тот первый вечер, когда Бертран прошел в его комнату.

Еще тогда, в тот первый вечер, его кольнуло, очень неприятно поразило — почему это Бертран вот так запросто целует у его жены руку? Как это можно, и почему он лежит и терпит это?

И когда проснулся назавтра, он начал разговор, к которому готовился весь вечер. И его поразило, с какой наглой естественностью жена лгала ему в глаза, прикидывалась ничего не понимающей, а потом даже оскорбленной. Он ожидал всего, но только не этого. А ведь он прекрасно помнил, с каким удовольствием она подавала вчера Бертрану руку: даже он, лежа в кровати в другой комнате, почувствовал возбуждение, охватившее жену во время этих поцелуев.

И тогда, в то именно утро он понял, что она — хитрая и опытная развратница, а что и ждать от актрисы. Грязная шлюха.

Вскоре Бертран уже заходил почти каждый день — сияющий, здоровый, пахнувший каким-то, вероятно, дорогим одеколоном — он вваливался в комнату, развязно подходил к жене, обцеловывал ее пальчики, потом направлялся к нему. Не стучась, он распахивал дверь, потом хлопал ею изо всех сил, точно делал это назло, бросался в кресло, доставал сигарету, закуривал. Вначале сидел молча, оглядываясь, будто в комнате за время его отсутствия могло что-нибудь измениться.

— Что ты все время в темноте сидишь?

— Мне так нравится.

И снова Бертран замолкал, а ему говорить обычно не хотелось.

Если в комнату заходила жена, — вот это была мука. Ничуть не стесняясь, Бертран рассматривал ее всю, и тогда Николаю казалось, что Бертран видит ее голой, такой сладострастный был у него взгляд.

А когда жена уходила, Бертран всегда говорил одно и то же:

— Ах, ну и женщина. Тебе крупно, крупно повезло. Ты обладаешь сокровищем, но сокровища имеют обыкновение уплывать из рук. Их крадут!

И хохотал, довольный повторяющейся изо дня в день шуткой.

— За такую женщину я отдал бы все на свете, за одну только ночь я отдал бы полжизни. — Он облизывался, и губы его всегда были влажными. — Почему тебе так везет? Другие лишь мечтают о таких, а ты обладаешь, она твоя собственная. Везунчик ты, что ли?

Журнальный вариант.



Николай тоже закуривал, начинал ходить по темной комнате: Бертран в такие минуты просто бесил его. Чтобы успокоиться, он наливал себе водки и пил ее медленно, маленькими глотками, пропуская через сжатые зубы, но водка помогала не всегда, все зависело от того, сколько выпил он до прихода Бертрانا. А Сержант все не успокаивался.

— Знаешь, что бы я с нею делал? Я бы гладил ее ножки, если бы она была моей, я бы гладил ножки и кусал их... так легонько, не сильно... многим женщинам это очень нравится...

— Заткнись! — Николай останавливался у его кресла и замахивался. — Заткнись, я тебя ненавижу!

Когда сигарета у Бертрана кончалась, он долго мял ее в пепельнице, а потом сразу закуривал новую, щелкнув золотой зажигалкой; он редко затягивался, но любил, чтобы в пальцах всегда дымилась сигарета.

За спиной открывалась дверь, и Николай слышал голос своей жены. Ей нужно было уходить в театр, и она просила поужинать с нею вместе. Иногда он соглашался и тяжело выходил в комнату, щурясь от яркого света, а жена тут же шла к выключателю, зная, что свет раздражает Николая. Он смотрел на нее и соглашался с Бертраном: она и вправду очень красива, говорил он себе, она великолепна, в ней нет ничего, что можно было бы назвать несовершенным. Это так. И сейчас же начинал злиться, потому что понимал, что она должна нравиться многим, и знал, что у нее есть масса возможностей быть неверной ему. Почти целыми днями она сидела в своем театре, — кто проверит, чем она занимается там? В гримерках яркие лампы без абажуров стоят перед зеркалами, коробочки с гримом и пудрой валяются на столиках; они составляют стулья у стены, и все отражается в тройных зеркалах...

Он прекрасно знал, например, как женщине легче всего получить хорошую роль, как добиться этого проще всего, — телом, как говорил Сержант. Он так говорил и смеялся, намекая и на его жену, разве нет?

Николай кричал на нее, прятал ее одежду, чтобы Вера не могла выйти на улицу и поехать к себе в театр, он бил ее, — а все оставалось по-прежнему: утром репетиции, вечером спектакли.

## Сержант Бертран. Театр.

— На самом деле, женщине добиться всего куда проще, чем мужчине, — говорил Сержант Бертран и значительно кивал головой, и он верил, потому что не верить было нельзя, ведь он всегда бывал прав, этот Бертран. — В то время, когда мужчине нужно быть умным, талантливым, решительным, — женщине не нужно ничего... Когда ко мне в кабинет приходит этакая длинноногая красотка типа твоей жены и поднимает юбку...

Бертран смеется и потирает руки.

— Я выполняю все ее просьбы. После того, разумеется, как она выполнит все мои...

— Так и с твоей женой... Помнишь, она играла... эту, ну как там... черт побери, не помню...

— Не важно. С самого начала на эту роль было три претендентки, и всем ужасно хотелось сыграть ее... как ее... И каждая, заметь, прелестна, как весенний цветок, свежа, стройна, благоуханна...

— Офелия, черт побери!

— А я не спешил, приглядывался. Честно говоря, мне сразу понравилась твоя жена, Верочка, она гораздо лучше их всех, но здесь своя логика, своя прелесть в том, чтобы потянуть время, помучить их и себя. Я ведь знал, как все это закончится, не в первый раз...

— Репетировали Офелию все вместе, причем — это заметь, заметь! — твоя жена вовсе не шла первым номером, ей заранее было сказано, что только из уважения, только из личной симпатии и в надежде на внезапно раскрывшийся талант, так сказать... А первым номером шла другая, похуже, кстати, твоей...

— Как она мучилась, это было наслаждение наблюдать за нею! В то время, как другая ходила по сцене, твоя сидела в темном зале, смотрела и слушала, и завидовала, а знаешь ли ты, что такое актерская зависть? Верочка даже похудела за эти несколько недель, побледнела, но от этого стала только лучше...

— А потом я вызвал ее к себе. Это было, если мне не изменяет память, в конце четвертой недели после начала репетиций. Все разошлись по домам перед вечерним спекта-

клем, только рабочие готовили декорации на сцене. Я попросил Верочку задержаться и зайти ко мне в кабинет. Секретаршу я отпустил, как обычно в таких случаях.

...Вера знала, зачем он вызвал ее к себе.

Она стояла у зеркала. Поправила волосы. Подумала: я мечтала об этой роли всю жизнь. Может быть, она прославит меня. Во всяком случае, я сделаю ее лучше, чем другие. Я поступлю так ради искусства. И толкнула перед собой тяжелую черную дверь.

Он, улыбаясь, уже шел к ней навстречу. Подойдя, стал целовать руку, каждый пальчик, и Вера чувствовала, какие липкие у него губы. Влажные и липкие. Ее передернуло — она не смогла сдержаться.

Он закрыл за ней дверь на замок и снова целовал ее пальцы, поглядывая на нее, и она смотрела на него. На него и в окно, где стояли огромные старые тополя, и ветер ровно двигал их ветвями.

Это тянулось долго, так долго, что терпеть уже не было сил. И тогда она прошла к черному кожаному дивану, села и, глядя ему в глаза, сняла через голову кофту... Потом отвернулась к окну и откинулась, и спину ее свело на секунду от прикосновения к ледяной черной коже.

Он видел все это, потому что сидел в шкафу, или в сейфе, там было какое-то стекло, потайное, — но дверцы были закрыты, и выйти он не мог. Николай кричал и бил в дверцы руками, — стекло запотевало от его дыхания, — но они — там, в комнате, — не слышали его. Он видел, как Сержант приблизился, и огромная рука легла на ее грудь, и сжала; он видел, как Вера закрыла глаза, когда Сержант опустился перед ней на колени и приник к ее ногам, и он кричал и кричал, и ему казалось, что он не вынесет этого, что он сойдет с ума, что у него разорвется от муки сердце, а они не слышали его, и продолжали, и продолжали, и продолжали...

Он кричал и плакал в постели, не просыпаясь, и жена, не зажигая свет, сидела рядом с ним, держала его руку, гладила ее, вытирала его слезы и все время меняла влажную повязку на его голове, повязку, которая так быстро становилась горячей.

— За что и люблю твою жену, — говорил Сержант, подойдя к сейфу, в котором сидел Николай. — Это порода, понимаешь? Великое дело, как сказал писатель, эта самая порода, не так ли? Другая и ложится так, будто милостыню принимает, а твоя — истинная царица. Нет, не ты одолжение делаешь, а она тебе, не ты попользоваться решил, а она... Так-то. Гордись такой супругой.

Сержант зазвенел ключами, отыскал нужный, всунул в скважину и повернул. Дверь отворилась со скрипом. Взяв по дороге графин со стола, Николай шел к жене, а та, не глядя на него, бесстыдно голая, стояла у окна и смотрела вниз, на улицу. Когда он занес графин над головой, пробка выскочила из горлышка, и поток ледяной воды обрушился на него. Вера оглянулась, вскрикнула, и побежала голая по коридорам, и все останавливались, оглядывались, жадно смотрели на ее тело.

— ...Грустен ты как-то уж очень сегодня, — сказал Бертран, снова усаживаясь в кресло. Николай слышал, как он достал из пачки новую сигарету, помял ее в пальцах и положил на стол перед собой.

— Я вспоминаю, — сказал Николай. — Только... Ты знаешь, после этого, — Николай показал на свою голову, — после этого все как-то смешалось, я ничего не могу вспомнить — то ли сон, то ли на самом деле, а может быть, просто кто-нибудь рассказал. Смешно.

— Нет, это был сон, точно сон. Мне снилось, что я совсем маленький. Во сне мне было лет семь-восемь, ну, может быть, девять. Странно, сон был каким-то очень длинным, — Николай усмехнулся. — Хотя бывают такие сны.

Бертран кивнул, — да, бывают.

— Там было много всего. Но вот я как-то вышел на улицу — совсем один. Ходил по двору, залез, кажется, на дерево, потом спустился. Было очень скучно. И жарко. Да, очень жарко.

Я сел на скамейку возле соседнего подъезда. Там была тень, и в тени было хорошо. Из подвала вышла кошка.

— Я собирался вскочить и поймать ее. Я рассчитал все так, что допрыгну до нее в два прыжка: раз, два — и кошка моя. Я тихонько, медленно-медленно поставил ноги так, чтобы удобно было оттолкнуться, чтобы дальше и быстрее



прыгнуть, а кошка подняла лапу и стала лизать ее, — кошка совсем не замечала меня, она была занята. Такая очень серьезная кошка, очень. И вот секунда, осталась какая-то секунда, и я бы прыгнул и поймал кошку, но где-то наверху хлопнула дверь...

— Черт! В общем, кошка убежала. Что-то упало с балкона. Это ее испугало.

— Но я как-то совсем не расстроился. То есть вначале — да, но все быстро прошло. Я посмотрел наверх — это был второй этаж, там стояли какие-то люди, они смеялись. Их было двое. Они смотрели вниз, один из них показывал на что-то пальцем. Наверно, на то, что упало.

Ему почему-то показалось вдруг, что Бертран начал волноваться.

— А потом открылась дверь, и я увидел эту девушку.

— Ты понимаешь, она была голой, абсолютно голой!

Бертран засмеялся в темноте, потирая руки, и Николай узнал этот смех: так же смеялся Бертран, когда смотрел на его жену, на Веру.

— Не знаю, как назвать то, что я почувствовал. Ведь я был тогда совсем пацаном. Мне было самое большее — девять лет, но я как-то вдруг все сразу понял; я как будто сразу стал взрослым. Только сначала мне стало страшно, знаешь, просто до жути, страшно и ужасно стыдно, неудобно. Даже было такое ощущение, что я сошел с ума: как это так, — среди бела дня, — и голая вдруг. Но это только вначале. Это только секунда, а потом прошло.

Бертран снова засмеялся, но Николай не заметил этого.

— И еще она была пьяна, я это сразу понял, вернее, когда перестал бояться. Она была совершенно, ну просто вдрызг пьяна; она еле держалась на ногах. Ей приходилось опираться на стену, чтобы не упасть.

— Так прошла она несколько шагов, потом остановилась и повернула голову ко мне. Она так долго поворачивала голову! Это почему-то тяжело вспоминать, так мучительно... Долго, долго поворачивала голову и вдруг посмотрела мне в глаза. Я зажмурился, потому что мне показалось, — сейчас ей будет стыдно, что ее кто-то увидел, пусть даже такой мальчишка, как я, такой маленький дурак, который еще ничего не соображает.

— И тут я услышал ее смех. Как будто меня по голове ударили. Я открыл глаза — она смотрела на меня и смеялась. У нее были крупные белые зубы. Я почему-то подумал, что они, наверно, очень острые. Крупные, белые и острые. Я снова закрыл глаза.

— Зря, зря. — Бертран засмеялся.

— В последний момент я заметил, что она отвернулась и пошла в огород. Я слышал ее шаги по траве, очень тихие, но я различал каждый. Потом они замолчали, и началось снова. И я понял, что идет она не к двери, нет, не к двери в подъезд, а идет она ко мне. Единственное, чего мне хотелось, это встать и убежать. Нет, еще мне хотелось открыть глаза.

— Шаги смолкли, и я вдруг почувствовал, что она меня целует...

Бертран захохотал, задвигался в своем кресле.

— Я не могу объяснить, что это было. Наверно, я потерял сознание, потому что ни-че-го не думал. Мне было больно, может быть, она меня кусала. Потом я снова услышал ее смех, и боль исчезла. Я открыл глаза. Она шла к подъезду, открыла дверь, и дверь захлопнулась за ней.

— Я убежал домой. Закрылся в ванной и сидел там, наверно, час. Я ни-че-го не соображал.

Николай замолчал.

— Я ее полюбил. Влюбился в нее, то есть. Ходил за ней следом, как идиот. Прятался у подъезда — ждал, когда она выйдет. Таскался за нею по городу. У нее, по-моему, была куча мужиков. Но я тогда, конечно, этого не понимал... она была так красива...

— Странные ты видел сны, мой мальчик, — сказал Бертран. Он уже закуривал новую сигарету.

— Да, видно... А потом я помню еще один вечер, даже скорее ночь. Я, как всегда, торчал у ее подъезда, ждал. Уже стемнело, и нужно было идти домой, я уже собирался это сделать, и тут вышла она. И, естественно, не одна. Опять с каким-то козлом. Они сначала просто шли, потом, когда обогнули дом, он обнял ее. Она смеялась. Потом пришли в парк. Там была такая аллея, возле самого забора, где не стояли фонари, где было темно.

— Они сели. Она все время смеялась; он говорил, а она смеялась. Я представлял, какие у нее белые зубы.

— Я спрятался в кустах, совсем недалеко от их скамейки.

Они меня, конечно, не видели, а я их — смутно, очень смутно, потому что была уже ночь, а фонарей там не было. А потом он начал... так называемую любовную игру. А девочка все время смеялась.

Он посмотрел на Бертрана. Сейчас Николай уже совсем не видел его лица; он различал только темный силуэт на фоне окна. Оранжевый кружок горячей сигареты освещал кончики пальцев Бертрана.

Николай долго молчал, прежде чем заговорить снова.

— Он, по-моему, целовал ей ноги. Я впервые видел такое. И тем более, это делали с ней. Я думал только об одном — что вот сейчас встану, подойду к ним и убью его. Как, чем — я не думал. Просто подойду и убью. Задушу; да, задушу своими руками. То, что я гораздо слабее его, просто не приходило мне в голову. Наверное, я бы и вправду убил. Я плакал, и из-за слез видел еще хуже, они застилали мне глаза. Я рвал с кустов листья и засовывал себе в рот. Не знаю, зачем. Может быть, чтобы не слышно было, как реву.

— А потом она вдруг стала кричать. Дико кричать. Понимаешь, как животное! Я старался что-то увидеть, даже прополз немного вперед, хотя мне и было безумно страшно, и я...

— И что ты увидел?

— Я не помню. Но что-то... — Николай напрягся, пытаясь вспомнить. — Нет, нет. Я потерял сознание. На этот раз уже по-настоящему. Наверно, от страха. Она так жутко кричала, я никогда не слышал, чтобы так кричал человек.

— Потом, когда очнулся, было абсолютно тихо. Было жутко тихо. Я слышал, как в голове у меня шумит кровь. Я вылез из кустов и побежал домой. Но самое страшное было назавтра. Когда я пришел в школу, мне сказали, что в нашем парке кого-то убили. Парк был совсем рядом со школой, он был виден из окон. Я помню девчонок, которые мне это говорили, — у них были возбужденные, радостные лица: это был такой маленький праздник для всех учеников — что ты, событие. Целый день только и говорили про это. Все — и дети, и учителя. Она, оказывается, была не очень хорошего поведения, как говорили взрослые, так что сама виновата. С хорошей девочкой такого не случится, нет, никак. Просто невозможно себе представить. Нет, ее, конечно, жалели, но больше осуждали. И даже не осуждали, а просто понимали, почему такое могло случиться, находили закономерность.

— Она была слишком красива и свободна. Молода, красива и свободна. Это их, понятно, бесило. Кого это не взбесит?

— Мне казалось, вот-вот они узнают, что я все это видел.

— Да, еще перед уроками все побежали смотреть.

— Вокруг была милиция, никого, конечно, не подпускали. Но мы полезли по кустам, никто нас и не видел. Я уж не знаю как, но мы оказались именно там, откуда вчера я следил за ними.

— Это действительно было ужасно. Она лежала на земле, голая, совершенно белая, как будто в ней не осталось ни капли крови. А живот у нее был весь красный. Мне показалось, что он был разорван, но я не успел увидеть точно, потому что кто-то подошел к ней и накрыл ее чем-то, какой-то тканью. Обратной дороги я не помню.

— А его нашли, причем совершенно легко. Он даже не пытался как-то скрыться. Вернее, просто не мог этого сделать. Собака взяла след и привела прямо к его квартире. Звонили, никто не открывал. Тогда дверь взломали, вошли в комнаты, — а он висит. Молодой был, я это помню, высокий, немного щуплый. Слабак такой. И волосы длинные. Это все, что я успел заметить в тот вечер.

Бертран затянулся; огонек сигареты засветился ярче, и Николай, увидев лицо Бертрана, вздрогнул.

— Ты что? — Бертран улыбнулся, но Николаю эта улыбка уже не была видна — сигарета опустилась в пепельницу.

— Черт его знает. От неожиданности: темно, темно, и вдруг — свет.

Бертран хмыкнул.

— После такого сна можно и не проснуться. Уж больно мрачная у тебя фантазия, мой мальчик.

## Сержант Бертран. Театр.

Спектакль должен был скоро начаться, но в коридорах было много людей, они разговаривали, глядели на афиши и фотографии, которыми увешаны были стены, глядели друг на друга, глядели и на него, и, ему казалось, на него —



с особенным интересом, словно зная, что это ее муж, той, что будет сегодня на сцене, он, незаметный, серый, никчемный человек, и она — блестящая женщина, красота которой волнует всех. И когда кто-нибудь улыбался, он понимал, что улыбаются именно поэтому, — из-за их разительного несоответствия, — оно кажется им комичным, они сочувствуют ей, стройной великолепной красавице, у которой такой неинтересный муж.

Огромная люстра гасла медленно; вокруг шелестели программки, поднося их в темноте к самым глазам. Старик сел рядом с ним по правую руку, высморкался.

Раздвинулся занавес, по сцене ходили люди. Он не понимал, да и не старался понять, о чем идет речь, волнуясь, ожидая выхода своей жены. Старик платочком протирал тускло поблескивавшие во тьме стекляшки бинокля.

До антракта она не появлялась. Николай вышел со стариком в коридор, купил у женщины в синем халате программку и, раскрыв, прочел ее фамилию. Потом пошли в буфет. Николай заказал два кофе и себе шампанского.

Они сели за столик в темном углу. Старик бережно отпивал из чашки по глоточку, смаковал кофе, чмокал губами. Когда кофе был выпит, старик заговорил. Николай не слушал, глядел в бокал и по сторонам, боялся увидеть знакомых. Старик доставал платок, морщась, сморкался, заглядывая за чем-то в пустую чашку, взмахивал руками, поглаживал плешь и все время болтал, болтал без умолку.

— Пошли. — Николай встал, оправляя пиджак. — Звоню.

И они вернулись в зал.

...Начальник сидел и, нахмурившись, что-то быстро писал. В дверь постучали, и он вскинул голову.

— Входите, — крикнул он и заулыбался, когда дверь открылась.

Это была его жена!

Начальник медленно встал и пошел к ней, поправляя на ходу стулья. Жестом он пригласил ее сесть. Она была бледна и не смотрела на него.

— Вы по какому вопросу? — Он прошел к двери и плотно прикрыл ее.

— Я... пришла сказать, что не могу согласиться...

— А я в таком случае должен сказать, что вы не любите своего мужа, — говорил он, нагло глядя на нее.

— Я очень люблю своего мужа, — сказала она твердо.

— Боюсь, что нет. Или вы не понимаете всей сложности его положения. Он погибнет...

Старик больно ткнул его своим остреньким локтем. Николай оглянулся: тот быстро тер платочком линзы бинокля.

Николай закрыл глаза и сидел так несколько мгновений, потом снова стал смотреть на сцену. Ладони его вспотели.

— Я нисколько не шучу. Он полностью в моей власти.

— Вы подлец, — тихо сказала его жена.

— Но это не имеет значения... Я сделаю с ним, что захочу.

— Но ведь вы были друзьями, вспомните...

— Кто старое помянет, тому глаз вон. — Он засмеялся. И вдруг нагнулся и прижался губами к ее руке.

— Для вас я сделаю, что захотите, — говорил он быстро, целуя и целуя ей пальцы, — чего бы вы только не просили, милая, я обожаю... все для вас, вся моя жизнь, скажите только слово...

Николай вскочил с кресла и снова упал в него. Николаю не хватало воздуха, и он расстегивал верхнюю пуговицу, а в висках тяжело билась кровь.

— Боже, я ненавижу вас, — сказала его жена.

— Что хотите, что хотите, главное, что я обожаю вас, вам стоит сказать только одно слово, и я сделаю все...

— Спасите его, — сказала она.

Мужчина поднялся с колен и провел рукою по ее щеке.

— Спасите...

Николай видел, как дрожала у старика коленка.

Глядя перед собой, женщина прошла к дивану, села, потом, повернув лицо к мужчине, стоявшему на прежнем месте, вздохнула и вдруг — одним движением — сняла через голову кофту.

Зал задохнулся. Старик, не отрываясь от сцены, повторял одно и то же: перси, перси, перси...

У него потемнело в глазах, словно стало черное пятно. Потом черное исчезло, и он снова видел сцену. Глядя жадно на ее чистые, горящие белизною груди, мужчина подходил к ней. И внезапно упал на нее, повалил на диван, и занавес стал закрываться. Старик, возбужденно оглядываясь, вско-

чил и бешено захлопал своими сухонькими ручками, зажав бинокль под мышкой. «Перси, вы видели, какие это перси — богиня!» Поднявшись на слабых ногах, Николай размахнулся, изо всех сил ударил старика тыльной стороной ладони по лицу и, не оглядываясь, не слыша за спиной его дикого крика, побежал к выходу.

После этого вечера жена ушла к матери. Но через неделю вернулась. Синяки уже сошли с ее тела, или так искусно она загримировала их, только на груди у самого горла было желтое с синим пятно. Вера плакала и просила у него прощения, и он заставил жену поклясться, что она никогда больше не вернется в театр. Никогда, ни за что; заставил поклясться памятью сына. Вера устроилась пока дворником; подруги и мать искали для нее работу.

Проснувшись наутро, Николай долго не мог заставить себя встать с постели: тело было слабым, голова тяжелой, и подняться, казалось, просто не было сил. И все-таки нужно было вставать. Он сбросил с себя одеяло и рывком сел на кровати, и едва не упал, — от резкого движения у него закружилась голова.

Он знал, что Вера, как всегда перед уходом, оставила ему завтрак, но идти на кухню не хотелось; вместо этого Николай прошел к столу, взял лежавший на блюде кусок черствого хлеба и с трудом стал жевать его. Водки больше не было — вчера он открыл последнюю бутылку, которую прятал за чем-то в шкафу; проглотив хлеб, Николай взял стакан, в котором оставалось со вчерашнего дня немного водки, и выпил ее одним глотком. После этого он начал одеваться. Церковь была недалеко, минутах в десяти ходьбы.

Николай не знал, зачем идет туда; он не думал, о чем будет говорить сам и что хочет услышать в ответ, — просто вчера, перед тем, как уснуть, он решил: схожу, и не вспоминаю больше об этом.

Скоро он был в церкви. Служба давно окончилась, и народу в церкви почти не было.

Николай не знал, что ему делать. Он ходил, рассеянно глядя по сторонам, равнодушно смотрел на иконы, на догорающие свечи, вдыхал странный, — от которого становилось немного не по себе, — запах.

И вдруг Николай почувствовал раздражение: он представил внезапно, как смешно и нелепо должен выглядеть он со стороны.

Николай шепотом выругался. Нет, он, конечно, дурак, он просто идиот, кретин: кто заставлял его переться сюда через весь город? Душу облегчить захотелось?! — Николай застонал от злости и стыда за свою слабость.

— Что с вами? — услышал он голос за спиной. Николай, вздрогнув от неожиданности, быстро обернулся.

Перед ним стояла невысокая пожилая женщина в темном линиялом халате; голову ее покрывал такой же старый, выцветший платок. Глаза ее были влажными, словно она только что плакала.

— Вам плохо? — спросила она, и участие, которое слышалось в ее голосе, еще больше разозлило Николая.

— Мне очень хорошо, — сказал он. — Просто замечательно.

Женщина испуганно приложила палец к губам.

— Тише. В храме так громко не говорят.

— Так это храм? А я думал, церковь. — Он заложил руки в карманы. — А как здесь говорят? Здесь что, нельзя по-человечески говорить? Нельзя, как все нормальные люди говорить?

Брови женщины сдвинулись, и все лицо ее приняло какое-то очень решительное выражение; это рассмешило Николая.

— В храме принято говорить тихо, — сказала женщина твердо. — И к тому же я не глухая и так вас прекрасно слышу. Что вы хотели?

— Я? Хотел? — Николай оглянулся, подумал. — Мне нужен... этот, как его... поп. Или как он там называется.

В глазах ее снова мелькнул испуг.

— Вам нужен батюшка? Вообще-то вы поздно пришли; в храме сейчас только отец Владимир, но и он вот-вот уйдет. А что вам нужно?

— Поговорить.

— Он сейчас выйдет. Только вряд ли у него будет много времени, он ведь так занят. Его ждут...

Женщина, не договорив, посмотрела за его спину.

— Да вот он идет, — сказала она шепотом. — Только вы быстро, и самое главное.





Николай оглянулся: навстречу ему, застегивая на ходу простое пальто, одетое поверх черной рясы, шел высокий худощавый человек; лицо его было строгим и сухим, оно казалось очень бледным.

— Это и есть ваш отец Владимир? — спросил, невольно понизив голос, Николай, но женщины уже не было рядом с ним.

Николай снова смотрел на священника. «Главное, — с раздражением подумал он, вспомнив слова женщины, самое главное!» А откуда он знает, что самое главное?

Если он даже не знает, нужно ли вообще что-то говорить...

Священник поравнялся с ним; еще секунда, и он прошел бы мимо Николая, так и не взглянув на него, но Николай схватил его за рукав. Мысли лихорадочно бились в его голове.

— Пойдите минуточку, — сказал Николай и облизнул сухие губы. — Я хочу что-то сказать, хочу поговорить.

— Я слушаю. — Священник остановился и повернул свое строгое лицо к Николаю.

— Я хочу сказать, что я очень страдаю. Я очень мучаюсь, мне очень плохо. Я просто не знаю, что мне делать.

— А что произошло? — Священник спокойно смотрел на Николая.

— Не знаю, как сказать, — он говорил с трудом, мучительно подыскивая слова. — Моя жена... Я не знаю, как жить со своей женой...

Ему казалось, что здесь — со священником — нужно говорить как-то особенно, что простые, обыденные слова не подходят, не годятся в разговоре с ним.

— У меня нехорошая, очень плохая жена, — сказал он наконец и почувствовал, что краснеет. Николаю показалось, что священник сейчас рассмеется ему в лицо.

— Так сделай ее хорошей, — сказал тот и вдруг улыбнулся, и улыбка его — мягкая и добрая — казалась странной на этом строгом лице.

— Но она очень, понимаете, очень плохая! — Николаю показалось, что священник не понял его. — Она мучает меня, она издевается надо мной, она лжет мне, для нее нет ничего святого, она только и думает, как бы...

Николай вдруг замолчал, тяжело дыша.

— Послушай, что говорил святой Иоанн Златоуст, учитель Церкви, — сказал священник, и лицо его уже было строгим. — «Хотя бы и много погрешила против тебя жена, все ей прости; если ты взял злонравную, научи ее доброте и кротости; если в жене есть порок, изгоняй его, а не ее. Если после многих опытов узнаешь, что жена твоя неисправима, и упорно держится своих обычаев, — и тогда не изгоняй ее, ибо она — часть твоего тела, как сказано: будет два в плоть едину. Пусть пороки жены останутся неисцелимыми, тебе и за то уготована великая награда, что ты учишь

и вразумляешь ее...»

Николай перебил его:

— Это все хорошо, это красивые слова, но это несправедливо, это жестоко! Почему я должен страдать, почему она должна мучить меня? Чем я провинился перед ней?!

— Испытай самого себя, — тихо сказал священник, — не сделал ли ты сам чего-либо в молодости против женщины, и вот рана женщине врачуетса женщиною, и язву чужой женщины, как хирург, выжигает собственная жена. А что худая жена есть заушение грешному, об этом свидетельствует Святое Писание. «Жена злая да будет дана мужу грешному, и дана будет, как горькое противоядие, которое искушает худые соки грешника».

— Что?! — От изумления и обиды Николай не мог найти слов. — И я же еще виноват?! Я?! Ну, спасибо, утешил, успокоил.

— В чем ее вина перед тобой?

— Да ни в чем, так, мелочь. Сушие пустяки. Просто она шлюха, а в остальном — замечательная женщина!

— Ты хочешь сказать, что она изменяет тебе? — спросил священник.

— Об этом я и говорю.

— Ты уверен в этом? — помолчав, сказал священник. — Как ты узнал об этом?

Священник смотрел на него, ожидая ответа, и пристальный взгляд его темных глаз смутил Николая. Он вдруг понял, что не чувствует уверенности в своих словах.

— Я знаю точно... — Николай хотел говорить твердо. — Мне сказали... Я уверен.

— Кто сказал?

— Один человек, Бертран.

— Кто такой этот Бертран?

— Мой друг. — Николай избегал взгляда священника, и слабость эта злила его.

— А если он лжет? Почему ты не допускаешь такой мысли?

— Нет, нет, — Николай качал головой, глядя вниз, — нет, он не лжет. К сожалению, он прав. Он всегда прав.

— Твоя жена ходит в церковь?

— Не знаю.

— А ты когда в последний раз был в церкви?

— Давно... Не помню. — Николай заставил себя смотреть ему в глаза. — А что толку? Что такое церковь? — Он вдруг вспомнил слова Бертрана. — Церковь — это просто дом, это строение, это условность, и к Богу она никакого отношения не имеет. Это всего-навсего дело рук человеческих. Памятник культуры, вот.

— Кому Церковь не мать, тому Бог — не Отец...

— Не знаю... Может быть.

— Так ты хочешь, чтобы я попытался помочь тебе?

Николай кивнул.





— Тогда приведи жену ко мне, я поговорю с ней. Приходите завтра, в это же время.

— А что же делать мне? — Николай был разочарован, он не мог, да и не хотел скрыть этого. Он больше не слушал священника.

— Любить свою жену и не терять веры. «Заботься о своей жене, как Христос о Церкви, — говорил святой Иоанн Златоуст. — Хотя бы нужно было отдать за нее душу свою, хотя бы пришлось испытать многократные потери, претерпев что-нибудь тяжкое, ты не должен отказываться; ибо, претерпев все это, ты еще не сделаешь ничего подобного тому, что сделал Христос для Церкви». Ты слышишь меня? — спросил священник, и Николай, не глядя на него, кивнул.

— Вспомни, что сказал Христос книжникам и фарисеям, когда привели они к Нему взятую в прелюбодеянии женщину, чтобы побить ее камнями. Он сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И еще говорил Христос: «Не судите, да не судимы будете; Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».

— Да-да, спасибо, спасибо. — Николай кивал головой. Разговор тяготил его, ему хотелось поскорее уйти. — Я все понял, запомнил. Я, наверно, пойду.

— Так приходите завтра.

— Да-да, конечно, спасибо. — Николай хотел протянуть ему руку, но в последний момент подумал, что священникам, наверно, не принято подавать руки: все не по-человечески! — с раздражением подумал он и, глядя только прямо перед собой, пошел к выходу.

— Идиот, — сказал он громко, оказавшись на улице. — Настоящий кретин. Ну какого черта, какого?

И, выходя из ворот, не останавливаясь, он повернулся и плюнул в сторону церкви.

## Сержант Бертран.

Бертран долго хохотал, когда Николай признался ему, что ходил в церковь. Николай молчал, злился; глядя на веселящегося Бертрана, слушая этот непрерывный, издевательский хохот, Николай все яснее понимал, как было глупо и смехотворно его решение пойти в церковь.

— Ну ладно, хватит, — сказал Николай, но Бертран захохотал еще сильнее.

— Я не понимаю... — снова начал Николай, и Бертран присел на корточки от смеха; Николай решил молчать.

Наконец, Бертран успокоился; отирая ладонью слезы, которые катились по его лицу от смеха, он сел в кресло напротив Николая.

— Ты раскисаешь, ты не владеешь собой, ты все больше превращаешься в бабу, да, прости меня, в бабу. На что ты

надеялся? На то, что тебя пожалеют, погладят по головке? Прольют над тобой слезы? Путь укажут?..

Бертран качал головой, глядя на Николая.

— Ты рожден мужчиной, тебе дана сила, тебе дана власть. Ты должен управлять! Религия же — это удел слабаков, трусов, всяких калек и уродов. Я, может быть, говорю слишком резко, но тем не менее это так. Кто приходит туда? — тот, кто не может рассчитывать на свои силы, на свой разум, на свои возможности, кто боится жизни, путается в ней, как в лабиринте. Ты же не такой, ты должен это понимать! Ты — человек, мужчина, царь, и всякие сомнения, размышления, страдания не для тебя. Твоя цель — реализовать свою силу, свою власть, а тех, кто мешает в этом, ты должен заставить, должен подчинить себе, а если это не получается — тогда нужно...

— Пойми...

Бертран взял его руки и сжал в своих.

— ...жизнь — штука жестокая, и в ней нет места слабакам.

Николай поднял голову и посмотрел на Бертрана.

— Ты думаешь, я этого не понимаю? Я не дурак. Может быть, я кажусь тебе таким, не знаю... Нет, — он тряхнул головой, — я не дурак. Но все так сложно, так мучительно...

Бертран перебил его:

— Знаешь, кто люди в своей сути? — мазохисты. Когда они понимают, что ты сильнее, они тянутся к тебе; на самом деле, они все прощают, если ты показал им свою силу, но никогда они не простят тебе, если им удалось вдруг почувствовать твою слабость, твою нерешительность.

Николай кивнул.

— Ты прав.

— Еще бы! Но я твой друг; я, может быть, единственный в этой жизни, кто хочет и может помочь тебе. Почему, спросишь ты? Да потому, что я чувствую, что ты не такой, как все, что ты не какой-нибудь убогий калека из тех, что толкуются в церквах и думают, что там им помогут. Ты не из тех.

— Хорошо, все это так. Но это, — Николай искал слово, — ... теория, да, это теория, а есть еще практика, жизнь, как применить все это в жизни? Я чувствую — все, что говорил ты сейчас, — правда, но...

— Что «но»?

— Но есть, например, Вера, я люблю ее, не могу без нее жить, просто не представляю себе жизни без нее, но и так жить я тоже не могу. Зачем она мучает меня, зачем издевается надо мною, зачем лжет мне?! Где искать из этого выход? А может, его просто нет?!

Бертран положил руку на его плечо.

— Спокойнее, спокойнее, не надо так волноваться. И кричать тоже не надо, это вредно для связок. Криком никто и никогда не решил ни одного дела... Где выход, ты спрашиваешь, есть ли он вообще?



— Да.

Бертран улыбнулся, мягко и слегка снисходительно.

— Все очень просто: сейчас ты слаб, ты раскрылся, позволил себя ударить, сдал свои позиции, и кому? — ей, которая, на самом деле, значительно слабее тебя.

— Ты должен поверить мне, и я помогу тебе.

Лицо Бертрана было неподвижным, он почти не шевелил губами, и говорил тихо, и голос его заколдовывал Николая, успокаивал его, давал надежду и силу.

— Ты сдал позиции, но мы будем играть в поддавки: теряя фигуры, пойдем к победе. Ты должен стать спокойнее, гораздо спокойнее, ты должен быть холоден, и — главное — ты должен наблюдать. Наблюдать и ждать. И твое время придет. И тогда ты узнаешь, что такое быть победителем — все переменится. Не верь ничему и никому, все ее слова — это уловка, обман, маскировка, и помни об одном, — сейчас, вот сегодня, у тебя только один друг, один помощник — я. Доверься мне.

Николай кивнул; он очень устал: глаза сами собой закрывались, голова была тяжела, так тяжела, и сидеть в кресле перед Бертраном уже не было сил. Он стеснялся показать Бертрану свою слабость, но бороться с нею становилось все трудней.

— Ты устал? — услышал он над собою голос Бертрана и заставил себя открыть глаза. — Тебе хочется спать?

Было темно, и он уже не видел Бертрана.

— Да. — Николай слабо кивнул головой.

Началась весна, и Вера заболела, вымокнув как-то под дождем, когда подметала она дорожки в парке.

Темнеть стало позже, и он совсем перестал раздвигать занавески в своей комнате. Вера иногда вставала, хоть врач и запрещал ей делать это, стояла, тяжело опершись на подоконник, у окна, — словно ожидая чьего-то прихода, думал Николай, — тихо готовила на кухне, сама не ела почти ничего. Разговаривали они редко, — он все не мог простить ей виденного в театре. Иногда, если она спала, он садился у дивана и смотрел на нее: лицо ее было бледным и от этого точно ненастоящим, в сумерках оно словно мерцало какой-то слабой голубизной; дышала Вера неслышно — как будто и совсем не дышала. Теперь она была еще красивее, и любить ее стало еще тяжелее, мучительнее.

## Сержант Бертран.

Хоть жена уже чувствовала себя лучше, он сам пошел открывать дверь: Николай теперь всегда делал это сам, потому что хотел знать точно, кто приходит к ним. Было что-то около двух, — по пути он глянул мельком на часы в коридоре. Открыв, Николай сразу узнал его: это был режиссер, чью фотографию он видел в театре; Николай даже вспомнил его фамилию. Тот поздоровался, Николай не ответил, пропустил его в коридор, захлопнул дверь. Режиссер что-то говорил, но Николай махнул рукой и прошел мимо него к себе в комнату. И сразу стал у двери, согнувшись, глядя в дырочку.

— Здравствуйте, — услышал Николай его низкий, уверенный голос.

Жена заулыбалась, поднялась с подушки, кивнула. Николаю показалось, что одеяло вот-вот сползет с ее груди, и, может, именно этого и хотелось Вере, но она снова легла и подтянула одеяло повыше.

— Вы больны? Как вы себя чувствуете?

— Уже лучше, спасибо.

— Ну и слава Богу, слава Богу... А вам привет, все передают самый горячий привет.

Бертран протянул сигарету и щелкнул золотой зажигалкой. Николай понимал, что сейчас должно что-то произойти, только нужно быть повнимательнее, не пропускать ни единого слова, потому что в каждом из них может быть скрыт какой-то намек.

— Спасибо, и от меня передайте, что я тоже...

— Ира родила.

— И кого?

— Сын.

— ...Какое счастье. Поздравьте ее от меня. Обязательно.

— А летом на гастроли поедет в Москву.

Жена промолчала.

— А потом, возможно, за границу. Только это еще не решено. Но все мы надеемся.

— И я буду... надеяться вместе с вами.

«Так...» Он слышал, что режиссер прошелся по комнате;

в дырку был виден только диван и жена на нем, а ведь режиссер мог подавать ей какие-то знаки. Ноги затекали, и Николай отскочил неслышно от двери, взял стул, вернулся. Так будет удобнее.

— Я часто вспоминаю всех... Кто сейчас играет Лизу?

Режиссер назвал фамилию. Николай слышал, как он опустился в кресло.

— Можно курить?

— Конечно, пожалуйста...

Николай встал, налил в стакан, выпил. Снова сел.

— Ведь вы понимаете, зачем я пришел?

Жена молчала; она только отвернулась, легла на спину, смотрела вверх.

— Неужели вы сможете никогда больше не вернуться? Честное слово, я просто не верю, у меня это не укладывается в голове!

— Я твердо решила, — сказала женщина, наконец.

— Послушайте, — режиссер вскочил и начал ходить по комнате, — вы знаете, что вы для нашего театра. Весь репертуар... Мы заменяем, конечно, но это все не то... Вы так молоды, вы только начинаете, а у вас будущее, клянусь вам, у вас великое будущее. Этим летом мы будем в Москве, на вас обратят внимание. Да и плевать на наш-то театр, вы о себе подумайте! Перед вами все открыто, у вас дар! Как можно вот так глупо все губить?!

— Это совсем неглупо, — сказала женщина твердо, но Николай видел, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать.

— Но почему, черт возьми, вы так решили? Вы можете хотя бы объяснить?

— Я могу... — начала жена, но тот перебил ее.

— Да я знаю, послушайте. — Он подошел к дивану и стал говорить тише; Николаю были видны его ноги. — Вы делаете это ради вашего мужа, это ясно, и нет здесь никаких других причин. Так?

— Вы боитесь его? Ну хотите — я сам пойду, вот прямо сейчас, пойду и поговорю с ним, мы все-таки мужчины, он поймет... Вы губите свой талант, этого нельзя допустить...

— Нет, ни в коем случае.

— Боже мой, я ничего не понимаю... какой-то крепостной строй, средние века... Это же смешно... Если ваш муж дурак, почему от этого должны страдать все вокруг?!

Николай видел, как жена села, опираясь на руки; глаза ее смотрели широко и были черны.

— Замолчите. Вы не понимаете, что говорите. Не ведите себя, как мальчишка.

Сомнений не было: она села для того, чтобы — будто случайно — одеяло сползло с нее, открыло всю шею, всю грудь; но жена вдруг снова легла и смотрела вверх. Режиссер стоял у дивана.

— Ему показалось, — услышал Николай ее голос, — что тогда... в тот вечер, я была голой... на спектакле...

Снова, как много дней назад в театре, перед глазами его стал черный круг. Ничего не видя, Николай вскочил и прошел быстро по комнате; натолкнувшись на стол у окна, Николай вздохнул несколько раз глубоко, приходя в себя, вернулся к стулу. Николай не слушал больше, о чем говорят за дверью, — голоса там звучали теперь спокойно, очень спокойно! — и речь шла то ли о погоде, то ли о здоровье, то ли об их квартире, — Николай все уже понял и оставалось только смотреть и ждать.

И началось.

Они приутихли, потом заговорили вновь. Но он видел, он хорошо видел, стоя у двери: одеяло приподнялось, и рука гладила ее ногу, поднимаясь с каждым разом все выше и выше. Николай едва стоял на месте, умоляя себя: еще немного, еще капельку! — и вот одеяло убрали совсем, и она голая, закрыв глаза и запрокинув голову, лежала на простыни, почти сливаясь с нею белизною своего долгого тела.

И тогда он распахнул дверь и, неся стул за ножки, вошел в комнату.

Говорят, Бертрана долго искали в этом тоннеле, потому что выйти, бежать оттуда было невозможно — там не было выхода, в этом тупике, в который он вошел и в котором раздавались его шаги, тяжелые, звучавшие гулко в темноте.

Говорят, что человек, ответственный за его смерть, был найден потом у себя в квартире мертвым: он лежал с перерезанными венами в ванне, в которой не было воды, и лицо его было страшным, оно было синим, и глаза выпучены, а рот приоткрыт, и людям, собравшимся вокруг, казалось — вот его губы двинутся, и все услышат его слова, и поэтому



им было жутко стоять возле ванны, залитой загустевшей кровью, и глядеть на это тело, в котором трудно было узнать человека, еще совсем недавно командовавшего ими.

Это было странно, но люди, стоявшие в тот день в подземном коридоре, умирали один за другим, и вскоре, всего через несколько месяцев, из них не осталось никого; никого не осталось из тех, кто вел Бертрана по лестницам в темный подвал, кто закрывал за ним тяжелую металлическую дверь, кто стоял потом, слушая тяжелый, уверенный, этот размеренный шаг, звучавший гулко в темноте.

## Больница.

Алкоголиков — к которым был причислен и Николай — помещали из-за нехватки мест в 21-ю палату, где лежали настоящие сумасшедшие.

Сумасшедших здесь было всего несколько человек, все это были тихие люди, и — Николай удивлялся — ничем от нормальных, здоровых они не отличались. Только один из них, невероятно худой, высокий, как баскетболист, ходил, прижав голову плотно к правому плечу, поднимаясь при каждом шаге на носки, бесконечно пел неприятным густым басом странную песню: «Я-я-дү, я-я-дү, я-я-дү...» У него было страшное лицо идиота.

Они чинно завтракали, обедали и ужинали в общей небольшой столовой с металлической посуды, чинно принимали процедуры, в положенное время выходили на прогулку и каждый день, исключая воскресенье, посещали деревянные одноэтажные мастерские: это называлось «реабилитация».

Алкоголики должны были спать на разложенных в проходах матрасах, но каждый вечер, когда выключали свет и в коридорах оставались два санитары, алкоголики сгоняли сумасшедших на пол, а сами спали до утра на их койках, привинченных ножками к полу. Санитары не любили сумасшедших и поэтому — зная обо всем — молчали.

Жену не пускали к нему в больницу, и Николай, лежа на своем матрасе или шагая по коридору от окна к окну, все время думал о ней. Теперь Николай понимал, что поступил тогда, как мальчишка, — глупо и необдуманно, и вот результат — он в больнице, и жена преспокойно может принимать в их квартире кого угодно.

Однажды, когда вывели их на прогулку в огороженный каменной стеною внутренний дворик, Николай вдруг заметил новенького. Тот был почему-то в своей, не больничной, одежде — джинсах и майке, — его еще не успели подстричь, что делали здесь обязательно с каждым; он медленно ходил по двору, сторонясь всех, внимательно, напряженно всматриваясь в лица. Увидев Николая, он остановился, а потом подошел, улыбаясь, к нему, стоявшему в углу, прислонясь спиной к дереву.

— Здравствуйте, — сказал новенький. Лицо его сразу почему-то понравилось Николаю, доброе, интеллигентное, и говорил он как-то мило, располагающе.

— Привет.

— Небо какое красивое сегодня.

Николай поднял голову, посмотрел.

— Ничего.

Тот помолчал и вдруг быстро спросил:

— Скажите, вы больной? Сумасшедший, то есть?

Николай покачал головой — нет.

Тот облегченно вздохнул, рассмеялся немного виновато:

— Вы извините за этот дурацкий вопрос — впервые в таком месте, страшновато, честно говоря, не знаешь, как говорить, с кем говорить, да и говорить ли вообще с кем-нибудь? Вдруг набросится, укусит еще? — Он засмеялся, тряхнул головой, отбрасывая со лба волосы. — Вы понимаете?

Николай кивнул — конечно.

— Ну и здорово, не думал, если честно, что найду здесь человека, с которым вот так просто можно будет поболтать. Вы простите меня еще раз, но я хочу сказать, что вы мне сразу понравились, — вот только увидел, и тут же как будто что-то толкнуло, поэтому я и подошел к вам, — говоря, он счастливо смотрел на Николая.

— Спасибо.

— И знаете, давайте будем держаться вместе. Мало ли что, я все-таки чувствую себя не совсем в своей тарелке, как говорится, а с вами мне будет легче. Скучно здесь, наверно, ужасно, да?

— Не весело.

— Ну вот. — Он как будто огорчился. — Ну, это ничего.

Я много анекдотов знаю, буду вам рассказывать. И я, если честно...

Он оглянулся и сказал Николаю на ухо:

— Карты захватил из дому. Здесь не отбирают?

Николай махнул рукой: ничего, наплевать.

— Так и будем проводить время. Кстати, меня зовут Леонид. — И он подал Николаю руку. Николай пожал ее.

— Николай.

Позвали обедать; по пути на второй этаж в свою палату Николаю вдруг почему-то захотелось рассказать обо всем этому человеку, который так весело смеется и слушает с таким вниманием, — наверняка он все поймет и, может, пожалует его... Нет, это не важно, ему совсем не нужно, чтобы жалели, не это главное, важно — выговориться, ведь, кроме Бертрана, он никому не рассказывал об их жизни с женою, а Бертрана так давно уже нет. Пообедав, вымыв после жирной посуды руки, они сели на его матрасе, и Николай начал рассказывать.

Он любил ее, вот что самое ужасное. Если бы не это, он давно бы уже развелся с нею, ни за что бы не стал жить он с такой женщиной, которая обманывает на каждом шагу, раздевается в театре перед всеми и постоянно лжет, лжет, и даже в их доме, когда он за стеной, бесстыдно принимает любовника. Как это можно, Боже! — Он сжимал руками лицо и говорил громко, не думая, что его могут услышать другие. Легче было бы повеситься, это было бы в тысячу раз приятнее, о, это было бы просто наслаждение в сравнении с тем, что он испытывал, когда что ни день поцелуйчики, звонки, намеки гостей, и в театре каждый день голая! Чистое ее тело лапают другие, многие, а он вынужден был все это видеть и терпеть; он бы убил себя, но необходимо было сначала убедиться, — а вдруг он ошибался, вдруг все не так?! И вот она дошла до того, что принимала любовника прямо при нем. В их квартире.

Николай вскочил с матраса и снова сел. Он никому не рассказывал о том, что случилось в тот день, когда он застал их — жену и режиссера. Боже, как жалел он теперь, что так быстро оставил его, успев ударить всего несколько раз, когда жена закричала и бросилась к нему, чтобы защитить своего любовника, — именно это и разозлило Николая больше всего. Он бил ее, а режиссер удрал, Николай и не заметил, как это случилось. Вообще дальше все как-то терялось, ускользало из памяти, перед глазами стояло черное, жена вдруг тоже пропала, и топором он рубил диван, и пружины, обнажаясь из-под ткани, казались живыми, качались и вились, как черви, цеплялись за руки, за рукава рубашки, и качались, вились... Это было гадко, и тело сводило от отвращения, и, когда он побежал из квартиры, боясь упасть в самую гущу этого черного, живого, шевелящегося, влажного, его вдруг повалили, били, связали...

Больше он не мог говорить. Он зажмурился и закрыл лицо руками, опершись спиной о койку, на которой неподвижно, как мертвый, лежал человек в синем больничном костюме.

Когда Николай открыл глаза, Леонид смотрел на него весело.

— Хочешь, я тебя подниму? Хочешь, подниму до потолка? — Он подталкивал Николая, заставляя встать на ноги.

— Так вот и стой, стой спокойно и сосредоточься.

Леонид отошел на несколько шагов, откидывая со лба длинные черные волосы, глубоко вздохнул и медленно стал выдвигать вперед руки, растопырив пальцы. Лицо его напрягалось, краснело, он шумно дышал, смотрел не моргая, губы были крепко сжаты.

— Чувствуешь, как отрываешься от пола? Чувствуешь? И не бойся, у потолка я остановлю тебя...

Николай вдруг понял, что он уже видел этого человека, и теперь мучительно пытался вспомнить, где и когда.

Наконец Леонид расслабился, опустил руки, задышал спокойно. Подошел к Николаю, улыбаясь, сжимая и разжимая красивые, сильные, как у пианиста, пальцы.

— Сегодня я что-то не в духе, всего на несколько сантиметров, но и это неплохо. Скажи — интересно? — небось, не каждый день случается такое пережить? Если есть желание, могу повторить, только, честно говоря, второй раз будет тяжелее.

Он поднял большой палец правой руки, сжав остальные, и, двигая им, показал Николаю.

— Он мешает, а так бы я тебя одним махом до потолка.



Он ведь у меня от Опёнки, а от Опёнки быстро снашивается. К огромному моему сожалению. Ты представь, от Опёнки...

Глядя на него — на эту шуплую фигуру, на эти длинные, немного выющиеся на концах черные волосы, — и слушая его особенный, какой-то нежный, колдующий голос, Николай уже знал, где и когда видел он этого человека. Внезапно ему стало холодно. Он вспомнил все.

— Я тебя вспомнил. — Николай вытянул руку и указал на него пальцем. — Я тебя видел.

Леонид оглянулся — в палате никого не было, если не считать человека в больничном костюме; человека, который лежал неподвижно в койке.

— Ну и что? — Леонид улыбнулся; какая-то усталая у него получилась улыбка, усталая и немного виноватая. — Я тебя тоже вспомнил. Только не сразу.

— Постой... но ведь это был сон...

Все так же улыбаясь, Леонид молча смотрел на него.

— Это был сон? Я видел тебя во сне?

Леонид кивнул.

— Да, это был сон.

— А как ты меня узнал? Я был тогда совсем мальчишкой... Мне было лет семь-восемь, самое большее — девять... Я ведь изменился?

— Изменился. — Леонид снова кивнул. — И все-таки узнал. Что-то в тебе осталось, хоть ты и вправду сейчас совсем другой. Общие черты, что ли? Да еще этот шрам.

— У меня не было его тогда, — сказал Николай быстро. — Это случилось десять лет тому назад.

— Всего? Ну, не знаю, не знаю.

Они помолчали.

— Да, зря я к тебе подошел. Надо было сначала подумать. Всегда я вот так — не думаю, а потом жалею.

— Нет, погоди... Ты же повесился? — Николай стал смотреть ему в глаза; и они менялись; Николай видел, как меняется их цвет, а может, ему это только показалось: они становились все черней и черней, и, когда Леонид заговорил снова, глаза у него были уже совсем черны; Николаю казалось, что их и нет вовсе, а есть две маленькие круглые дыры, и за ними стоит что-то черное, как ночь, что-то совсем черное.

— Ты это видел?

— Нет, но все так говорили.

— Все говорили? — Леонид улыбнулся. — Да, говорили все. Это было такое событие.

— Так повесился или нет?

— Какой ты надоедливый... — Леонид сел на койку. — Да, повесился.

Николай не слышал его ответ, он думал уже о другом.

— Зачем ты ее убил?

— Только не надо сейчас, — начал Леонид, но не договорил: Николай подскочил к нему и, схватив за майку у горла, начал трясти.

— Зачем ты это сделал?! Зачем ты ее убил?! Я тебя спрашиваю, ведь я знаю, я все знаю! Я знаю, что это сделал ты!

Леонид не сопротивлялся, и Николай скоро отпустил его.

— Это все очень сложно. Ты говоришь, что знаешь, а как можешь знать ты, если я сам ничего не знаю?!

Человек в койке, не открывая глаз, громко и четко сказал:

— Дай мне! Мне дай!

Они одновременно посмотрели на него, но человек умолк так же неожиданно, как и заговорил.

— Что я могу тебе объяснить? Это все так сложно, так... Я был совершенно нормальным человеком. До тех пор, пока не увидел ее. Все изменилось, мир перевернулся, все стало с ног на голову. Звучит банально, но что делать, если именно так и было на самом деле?

— У меня были какие-то девушки, какие-то связи, симпатии, любовь, — я ведь нормальный человек, не урод какой-нибудь. Вообще, я нравился девушкам, но это не было как бы целью моей жизни, понимаешь? Девушки, любовь — это было для меня не главное. Хотя о главном я как-то и не задумывался. Так, жизнь шла сама по себе, я жил... тоже сам по себе, а потом увидел ее, и все перевернулось.

— Это было похоже на бред, да это и был на самом деле бред. Это было помешательство. Я шел домой от своей подруги. Помню, было очень жарко, и я шел медленно; двигаться вообще было трудно, воздух был горячим и, казалось, нечем было дышать. И вот я шел, и вдруг услы-

шал громкие голоса, потом хохот. Я оглянулся — кто-то стоял на балконе, двое или трое человек; они и смеялись. Краем глаза я еще заметил, как что-то упало вниз, но что именно, не понял. У подъезда сидел мальчишка. Это был ты.

— Вначале я подумал, что у меня солнечный удар. У меня даже закружилась голова от испуга — я был слишком впечатлителен и легко внушаем. Но сразу понял, что она пьяна, это было видно, она едва держала равновесие — это все как-то объяснило. В какой-то момент она должна была упасть, но успела схватиться за стену, только так и устояла.

Леонид опустил голову и долго молчал, глядя вниз.

— Я не знаю, как назвать то, что со мной произошло. Я не видел ничего, кроме нее, я ни о чем не думал, я следил за каждым ее движением, видел каждую черточку ее тела, каждый изгиб... Нет, я не могу это вспоминать... У меня все равно не получится объяснить то мое состояние или описать, какой я тогда увидел ее. Это тело свело меня с ума. Я никогда не видел ничего подобного.

— Я еще долго стоял, после того как она ушла в подъезд. Потом сообразил, что я смешон, что положение мое унижительно, — тем более что эти, на балконе, все не уходили; и я заставил себя идти. Перед моими глазами была она; если бы я даже и хотел, то не смог бы отделаться от этого наваждения. Как жалел я потом, что не побежал за нею в эту мерзкую квартиру, — они, конечно, приняли бы меня. Может быть, они даже были бы рады, что с ними появился еще один; по крайней мере я бы воспользовался ею и мое желание утихло бы хоть немного. Ведь ни о чем другом я уже не думал. Я душу готов был продать. Я хотел ее. Она была так красива...

— Тебя я сразу заметил, ты все крутился вокруг нее. Это мне зверски мешало, это меня раздражало.

— На самом деле я был тогда достаточно робким человеком, да. Я редко сам знакомился с девушками, скорее это происходило как-то помимо моей воли, само по себе. А теперь я и вообще терялся. А мое неутоленное желание сводило с ума. Не знаю, как бы я вывернулся, но я познакомился с одним человеком, да... Только благодаря ему... Он все знал, он был опытен в таких делах, он был хладнокровен. Он был мудр. Он объяснил мне, как я должен себя вести, и все разыгралось как по нотам.

— Она была, — Леонид усмехнулся, — Богиня, а доступна, как последняя шлюха. Уж очень она любила это дело.

— И вот мы встретились, познакомились, все очень быстро образовалось. Мы договорились вечером пойти в парк. У нее не было никаких комплексов, уверяю тебя.

— Все время я чувствовал, что ты болтаешься где-то рядом, как всегда. Но сегодня мне было на это наплевать. Мы пришли в парк, она привела меня в какой-то угол, где не стояли фонари, где было темно, — наверно, ей не раз приходилось бывать там, — мы сели. Она все время смеялась. Я говорил, а она смеялась, и смех ее так возбуждал меня. У нее были крупные белые зубы, даже в темноте я видел их. Я почему-то подумал, что они, наверно, очень острые. Крупные, белые и острые. Я целовал ее, а она только смеялась и ничего не запрещала мне, ничего. Я гладил ее ножки, я гладил ножки и кусал их, так легонько, не сильно, и ей это очень нравилось...

— В какой-то момент я потерял голову. Я не могу объяснить, что со мной произошло, только я уже действительно ничего не понимал. Что-то случилось... Я стал как бы не я. Да, именно так: я стал как бы не я. Последнее, что помню, — это ее крик. Она вдруг стала кричать.

— И еще: в темноте я видел, как днем.

— Начал осознавать себя только дома. Я был в ванной, перед зеркалом, но там — напротив меня, в стекле, — стоял совершенно другой человек. Я понял, что сошел с ума. По-настоящему. Потом изображение стало меняться, в этом человеке начали проявляться мои черты; я отвернулся, чтобы взять с вешалки полотенце, а когда снова посмотрел в зеркало — все было нормально. Машинально я протирал зеркало этим полотенцем, и тут увидел на нем кровь. Кровь была и на руках, и на рубашке. Я весь был в крови. И еще я был босиком. И ноги мои тоже были...

— Тогда я начал вспоминать — память вернулась ко мне. Я не понимал, просто не мог понять, почему сделал такое. Еще я был уверен, что все это видел ты. В общем, мне ничего не оставалось, как только покончить с собой. Это был единственный выход для меня в том положении.



Леонид замолчал. Молчал и Николай. Они не смотрели друг на друга. Первым заговорил Николай.

— Значит, так. Значит, ты пришел, чтобы рассказать мне об этом.

Леонид посмотрел на него, затем встал. Он отрицательно покачал головой.

— Нет. Не для этого. Это ты и сам все знал. Просто... Твоя жена, Вера, она так похожа на нее, она так красива...

— Что тебе до моей жены? — Николай вдруг почувствовал бешенство. — Никто тебя о моей жене не спрашивает!

Казалось, Леонид не слышал его. — Я хочу, чтобы ты понял, — Вера ее сестра, не по крови, конечно, она...

Николай подскочил к нему, губы его дергались. Еще одно слово, только еще одно слово!..

Леонид усмехнулся.

— Не волнуйся, я о другом, я совсем не об этом. Неужели ты не можешь понять меня?! Ты знаешь, чье лицо я увидел той ночью в своем зеркале? Ты должен понять, что они сестры. Только та была шлюхой, а твоя... То же тело, то же лицо...

Николай замахнулся.

— Молчать! Я сказал — молчать про Веру! — Он не кричал, он почти шептал эти слова: ярость не давала ему говорить громко.

И вдруг за спиной своей Николай услышал хохот. Он обернулся, так и не опустив руку: в дверях, столпившись, стояли мужчины в своих синих больничных костюмах; один из них показывал на него пальцем и говорил сквозь смех, стараясь перекричать остальных:

— Кони! Это называется в медицине — белые кони! Колян на белых коней сел! Сам с собой беседы беседует! Сестра, сестричка, нам бы срочную терапию! Колян на белых конях едет!

Николай оглянулся туда, где стоял Леонид: его там не было. Никого не было перед ним в узком проходе между двумя койками. Николай зажмурил глаза и снова открыл их — никого. На секунду ему стало страшно, но почти сразу страх ушел. И тогда Николай повернулся и пошел быстро к мужчинам, все еще стоящим в дверях. Подойдя, он коротко замахнулся и, не раздумывая, ударил того, кто кричал о «белых конях».

Удар пришелся в горло, и в ту же секунду все замолчали. В тишине было слышно, как страшно хрипит, задыхаясь, этот человек; почти сразу он потерял сознание, но продолжал по-прежнему стоять перед Николаем, потому что те, сзади, подхватили его под мышки.

— Еще? — спросил Николай у всех. Ему не ответили.

## Сержант Бертран.

...— А вы, простите, чем занимаетесь? Кто вы по профессии?

— Я работаю в театре. — Женщина повернулась и смотрела на него черными волнующими глазами. — Я актриса.

Его взгляд скользнул по ее фигуре, задержался на ногах, и он снова смотрел ей в глаза.

— Значит, вы...

— Да, — сказала женщина твердо. — Я хотела бы забрать его отсюда. Забрать своего мужа домой. Разве...

Женщина не могла понять, как относится этот человек к ее просьбе: взгляд его был ровным и спокойным. Человек молчал, глядя на нее, и женщина начала волноваться.

— У вас можно курить? — спросила она, доставая из черной маленькой сумочки сигареты.

— Конечно-конечно, вот, пожалуйста. — И человек протянул ей — сидящей напряженно в углу огромного, старинной работы черного дивана — золотую зажигалку и щелкнул ею: ровный, едва различимый столбик поднялся над зажигалкой и мягко лизнул сигарету.

— Значит, — уже в который раз спросил он, — вы хотели бы забрать...

— Да, — женщина перебила его. — А разве я не имею на это права?

— Все мы на все имеем право, — сказал он и улыбнулся мягко, сладко. — А когда вы стали замечать за ним... ну, скажем, эти странности?

Женщина пожала плечами; пепел упал и неслышно разбился на ее черной юбке.

— Что вы имеете в виду?

— Вспышки ярости, подозрительность, жестокость?

Женщина снова пожала плечами: не знаю.

— Не обращала внимания. Вернее, старалась не обра-

щать. А потом думала, что все пройдет, все сложится как-то само собой.

— Так...

— Я понимаю, я понимаю, — женщина встала с дивана и начала в волнении ходить по кабинету, — я понимаю, что во всем этом моя вина. Я должна была уйти из театра еще тогда, в самом начале, когда все это еще только начиналось... и ничего этого не было бы...

— Садитесь, — сказал он мягко.

Женщина села, коснулась сигаретой пепельницы.

— Я хотела бы забрать его домой. Дома ему будет легче. Он быстрее придет в себя.

— Ну скажите мне хоть что-нибудь определенное! — заговорила она вдруг горячо. — Я могу это сделать? Могу я забрать его отсюда? Я имею на это право? Вот, смотрите, смотрите, — женщина расстегивала сумочку и все никак не могла этого сделать. — Он пишет мне письма. Он абсолютно нормален. Он выздоровел. Все это кончилось.

Наконец, она открыла сумочку и достала оттуда конверт.

— Вот, он пишет, что все понял, что это была болезнь и ничего больше, что все его подозрения были только подозрениями. Он понимает, что был болен, — вы меня слушаете? — что был болен, но сейчас все нормально, все снова нормально.

Мужчина кивал и улыбался понимающе — мудрой, спокойной улыбкой.

— Вы любите своего мужа?

— Станный вопрос... — Она помолчала. — Да, конечно. Люблю.

Он закурил, бросил свою золотую зажигалку на стол, прошелся по комнате, скрывая волнение. Став позади, он смотрел на ее шею; почему-то в этой женщине больше всего волновала его именно шея.

— Что я могу вам сказать? Вы просите от меня слишком много. Я не могу взять на себя такую ответственность. Нет мне никакого резона рисковать ради вашего мужа. Надеюсь, вы понимаете меня, — закончил он значительно.

— Но он не болен! Поймите. Вот его письма...

— Все они пишут письма. И в каждом — о том, что они уже выздоровели и чувствуют себя превосходно и все понимают. Так что не надо себя обманывать. И меня. Ваш муж болен, и выписывать его из больницы в таком состоянии... — простите, но это может быть квалифицировано как должностное преступление. Какой мне резон нарушать законы? Объясните мне, скажите?..

Женщина смотрела в пол перед собой; паркет колебался из-за набегающих на глаза слез.

— Он не болен, — сдерживаясь, чтобы не заплакать, сказала она. И повторила еще: — Не болен. Он просто устал. Ему необходим отдых. Только и всего. А здесь он погибнет, он пишет мне об этом. Он не может здесь находиться. Он умрет здесь. Я прошу вас, пожалейте его! Почему так необходимо, чтобы он лежал в этой страшной, жуткой больнице...

— Сейчас вы скажете — похожей на тюрьму, — перебил он ее, усмехаясь.

— Да, она похожа на тюрьму. Даже мне здесь плохо, даже мне страшно ходить по этим коридорам. И эти непрозрачные стекла с решетками — зачем все это? Ведь здесь можно сойти с ума.

— Здоровому человеку — да. А так ведь у нас здесь все больные, все сумасшедшие. Как говорится — умалишенные, — это слово, как ей показалось, он произнес с удовольствием, словно наслаждаясь его звучанием: умалишенные...

— Но он вполне здоровый человек!

— Да ну? — Улыбаясь, он поднял брови, изображая удивление. — Совсем-совсем здоровый человек чуть ли не до смерти избивает людей и рубит топором свою собственную мебель на куски? Это что-то новенькое.

Он сел в свое мягкое вращающееся кресло, стряхнул в бронзовое блюдо пепел.

— Я прошу вас. Я виновата перед ним. Он любит меня. Он не может жить без меня. Он умрет у вас. Он гибнет, я чувствую это. — Женщина плакала, отвернувшись к окну.

Он встал, налил из графина воды, подал ей.

— Выпейте, это вас немного успокоит. Не стоит так волноваться.

Женщина сделала несколько глотков и поставила, не глядя, стакан на стол. Отирая слезы, женщина с надеждой смотрела на сидящего напротив нее человека.

— В чем-то вы правы, если говорить честно. Ваш муж обладает чрезвычайно тонкой психологической конституци-



ей. Действительно, больница может повредить ему. Возможно даже — серьезно повредить.

Женщина испуганно смотрела на него.

— Вы меня понимаете?

Женщина кивнула головой.

— Вы меня понимаете? По-моему, не совсем вы меня понимаете.

— Нужны деньги? — Сказав это, женщина покраснела и опустила глаза, но тут же снова посмотрела на него, сидящего напротив за столом в своем белом халате. — Сколько нужно денег? Я принесу вам сколько угодно.

Он встал, прошелся к окну, постояв у подоконника немного, потом — словно обдумывая ее слова, рассеянно — прошел к двери и неслышно закрыл замок.

— Вы действительно хотите спасти своего мужа?

— Да, да, я сделаю все что угодно. Я достану эти деньги, — говорила она горячо. — И клянусь, и клянусь самым святым для меня, что об этом не узнает ни одна живая душа. Я клянусь вам.

Взволнованная, она казалась ему еще красивее, еще привлекательнее; от нее словно исходила какая-то энергия, которую чувствовал он, которая разжигала его.

— Это хорошо. — Он остановился у дивана, касаясь ногами ее ног. — Только ведь речь-то идет не о деньгах, моя дорогая, вот в чем вопрос.

— Я сделаю все, что вы попросите.

— Правда? — Он стоял над ней, улыбаясь застывшей улыбкой, и это длилось и длилось, и за окнами стояли сосны, и ветер ровно двигал их ветвями, а потом мужчина протянул вдруг руку и коснулся дрожащими пальцами ее шеи. Женщина вскопчила; в глазах ее он видел страх и отвращение. — Я ничего не намерен делать просто так. Ты понимаешь? — Он провел языком по своим влажным губам. — Я не говорил о деньгах.

Она отступала, глядя в его глаза, пока не наткнулась спиной на стальной огромный сейф, стоящий в углу.

— Нет, — она качала головой, — нет, нет!.. Это бред, это дурной сон. Нет...

— Я буду с тобой откровенен: я могу сделать так, что он умрет. Например, повесится. Или, например, он вскрыет себе вены где-нибудь в туалете возле унитазов. Тебе такое понравится?

— Я подам на вас в суд.

— Это сколько угодно. Ты очень наивна и совершенно не знаешь законов. У тебя нет и не будет никаких доказательств. Тебя засмеют — это все, чего ты добьешься. А твой Николай будет уже...

— Это гадко! — Она сдерживалась, она хотела говорить твердо. — Это подло!

— Слова, это не больше, чем слова. Сегодня ты называешь это так, а завтра будешь благодарить меня. Я не выпущу отсюда твоего мужа. И виновата будешь ты, виновата вдвойне — уложив его сюда и не сделав ничего, чтобы помочь ему выбраться. Ну?

Она плакала, опустив голову, сжав лицо руками; открытые плечи дрожали, дрожала и грудь под легкой кофтой — он видел это.

— Ну? — повторил он, но женщина не отвечала, и тогда он быстро подошел к ней и потащил к дивану, стоящему рядом с сейфом. Непослушными пальцами мужчина пытался расстегнуть пуговицы на ее кофте, но это не получалось, и тогда он стал рвать их, и женщина била его и кричала, и черная кожа дивана была ледяной и казалась липкой, а там, за стеной, в приемной, секретарша, улыбаясь понимающе, включила погромче радио и смотрела в окно — зеленый цвет, цвет леса, хорошо успокаивает нервы, думала она. Отличное терапевтическое средство для людей с расшатанными нервами. Зазвонил телефон, и девушка в белом халате, немного подождя, сняла трубку.

— Его нет, нет, его сейчас нет. Позвоните попозже. Я думаю, минут через десять-двадцать. А лучше всего, чтобы наверняка, позвоните этак через часик. Всего доброго.

И аккуратно положила трубку на рычажки. Во всем девушка любила порядок.

## Сержант Бертран. Кладбище.

Бертран пришел рано утром, когда в палате все спали. Он неслышно открыл дверь, бесшумно прошел по коридору мимо спящих на диване санитаров; посреди комнаты он остановился, оглядывая лежащих в койках и на полу. Заметив Николая в проходе между койками, Бертран, мягко

ступая, приблизился к нему. Бертран наклонился и смотрел на него, спящего, потом тронул рукою его плечо; когда Николай открыл глаза, он шепотом сказал:

— Тише, тсс, вставай. Только тихо. Пойдем. — И выпрямился.

Ничего не понимая после тяжелого сна, Николай послушно сел, слабыми руками начал надевать лежащие рядом с матрасом больничные синие брюки и рубашку, смотрел на Бертрана. Бертран иногда нетерпеливо поглядывал на часы.

Санитары, тесно прижавшись друг к другу, по-прежнему спали на диване. На первом этаже, на вешалке у дверей висел чей-то легкий светлый плащ. Бертран сказал:

— Возьми и надень.

Дверь открыл Бертран и первым вышел на улицу, оглядываясь. Николай ждал его внутри.

Бертран заглянул:

— Все нормально. Выходи.

Они шли по дорожкам; Николай шурился — после сумрачной комнаты, где непрозрачные толстые стекла почти не пропускали света, яркое утреннее солнце резало глаза. Шаги их четко звучали в тишине: твердые и уверенные — Бертрана, и подшаркивающие, из-за больничных тапок без задников, — Николая.

— Что за день сегодня, помнишь? — спросил Бертран, не поворачиваясь к нему. Николай подумал.

— Тридцать первое июля... — Он помолчал. — Годовщина смерти сына. Десять лет.

— Точно.

Бертран вытащил из кармана пачку сигарет, протянул ему.

— Хочешь?

Пальцы долго не попадали в пачку. Бертран подал свою золотую зажигалку. Николай остановился, закрылся руками, прикуривая; бегом догнал Бертрана. Обогнув здание, они увидели человека, из шланга поливавшего асфальт и газоны. Мельком тот поглядел на них, отвернулся. Они прошли по соседней дорожке, кусты скрывали больничные измятые брюки Николая и его кривые стоптанные шлепанцы.

Вскоре они подошли к стене; здесь Бертран замедлил шаг, оглядываясь, затем вдруг схватил Николая за руку и затащил в кусты.

— Снимай плащ, — приказал он, и когда Николай сделал это, Бертран свернул плащ и бросил на стену. — Там стекла, можно порезаться.

Он сложил руки замком и поставил Николаю.

— Полежай, только осторожно. И быстро.

Не раздумывая, Николай поставил ногу — Бертран легко поднял его, — оттолкнулся и грудью упал на плащ на стене. Поворачиваясь наверху, Николай все-таки поцарапался о торчащие из бетона бутылочные осколки. Бертран снизу следил за ним.

Перед тем как прыгнуть, Николай на секунду поднял голову и посмотрел в больничный сад: человек, мимо которого недавно они прошли, лежал, раскинув руки, в траве; шланг, из которого била вода, шевелился рядом, как живая черная змея; острый, стальной язычок ее жалил траву. Николай думал об этом человеке, пока был на стене, пока прыгивал, оттолкнувшись руками и грудью от бетона, но, став на землю, он все забыл и не думал уже ни о чем. Он поднял с травы плащ, встряхнул и надел. Быстро, не глядя по сторонам, Николай пошел и скоро уже бежал по мягкой от серо-голубой пыли дороге, согнувшись и размахивая руками, задыхаясь, иногда спотыкаясь в выбоинах; больница была в сосновом лесу за городом.

Грузовик довез его почти до самого дома. Выпрыгнув из кузова, Николай, все больше и больше волнуясь, пошел; оказавшись на своей улице, снова, как недавно в лесу, побежал. В темном подъезде нажал на кнопку у лифта, стеклянный кружок вспыхнул красным, и двери сразу разъехались. Поднявшись на четвертый этаж, Николай позвонил и долго, задерживая дыхание, слушал; ключа у него не было.

— Вера, открой, — сказал он громко.

Звонил еще.

Надо было что-то решать: ломать дверь или лезть по балконам. Нет, по балконам — глупо, она как раз успеет вывести своих любовников и выйти сама. Из подъезда уходить нельзя. Он сел на ступеньки, усмехаясь, представляя, какой переполох сейчас там, в квартире: бегают по комнатам и одеваются, думают, как улизнуть. А вот это уж никак, никак у них не получится, потому что он здесь, сидит у двери



и все видит. Ему даже казалось, что он слышит за дверью их быстрые шаги и шепот, и Николай беззвучно смеялся — не выйдет, ничего не придумаете.

И вдруг он вскочил: а что если они сами полезут по балконам?! Тогда все пропало! Как он сразу не подумал об этом! Щелкнув задвижками, он распахнул окно и высунулся наружу: на их балконе никого не было. Но, может, они уже спустились? — И Николай посмотрел вниз.

От цветочного магазина по дороге к парку шла его жена. Она была в черном, в руках она несла цветы.

## Сержант Бертран. Кладбище.

Она шла быстро, наклонив голову, черные ее волосы были покрыты черной косынкой. На асфальте под ногами лежали первые желтые, еще не высохшие, листья. Иногда она исчезала за деревьями, но, ускорив шаг, он снова видел ее; за все время женщина ни разу не оглянулась.

Сразу за парком шла невысокая кладбищенская стена; в углу она была разобрана, и серые камни лежали рядом в траве. По тропинке женщина прошла к стене, остановилась ненадолго около старухи нищенки. Глядя ей вслед, старуха крестилась, словно отмахивалась от невидимых мух, кланялась. Постояв у последних деревьев с минуту, Николай вошел на кладбище и, пригибаясь, побежал к могилам. Над кладбищем стоял удушливый запах горелой кожи и пластмассы: вчера рабочие весь день собирали и жгли старые венки. Было жарко.

Его видели сидящим в траве между могилами. Потом перестали обращать внимание.

Вера нагибалась над могилой, делая вид, что срезает подсохшие цветы и отбрасывает их за ограду, в траву, но он, сидя от Веры всего в нескольких шагах, видел, как незаметно время от времени она поглядывала на пролом в стене, где стояла нищая. Нетерпеливо и взволнованно. Было жарко, и он, не поднимаясь, снял плащ. Тяжелое маленькое солнце висело в безоблачном небе. Он не знал, что должно было произойти и чего ожидал, сидя между могилами в сочной и сильной кладбищенской траве, он не думал ни о чем, он просто следил за проломом в стене, за Верой, одетой в черное, с черной косынкой на черных волосах, иногда поднимал голову и, не щурясь, смотрел на солнце, и потом в глазах его долго прыгал черный, маленький, закрывающий все шар. Ограда могилы, за которой сидел Николай, не была достроена, и в траве рядом с ним аккуратно были сложены металлические со сплюснутым наконечником прутья. В двух местах они были перетянуты проволокой, и он, напрягая все силы, не замечая боли — острые концы проволоки резали ему пальцы, — раскручивал ее.

Когда он снова посмотрел на Веру, она была уже не одна. Она стояла, улыбаясь взволнованно и смущенно, и грязно-коричневые, цвета засохшей крови цветы падали медленно из ее рук. Через калитку, спиной к Николаю, входил за ограду кто-то: Николай не видел отсюда его лица; он дернул

в последний раз проволоку, и черные, частые кровавые капли падали на прутья и траву, сгибавшуюся под их тяжестью, горели на солнце, скатывались на землю, исчезали. Поднимаясь на слабых ногах, он видел, как женщина протягивала руку, и тот целовал ее, и движения были бесконечны, мучительны. Николай видел, как рука коснулась ее щеки и пошла вниз, лаская шею, плечи, как закрыла Вера глаза, как застонала едва слышно, как прижалась к тому всем телом, слабым и зовущим. Сейчас она уже не могла заметить Николая, и скрываться теперь не было нужды. Николай бежал к ним, сжимая черной от крови рукой металлический прут.

Его видели сидящим в траве между могилами. Потом перестали обращать внимание. Никто не заметил, как этот человек вдруг вскочил и побежал к молодой женщине в черном, стоявшей у небольшой детской могилы. В руках его был металлический со сплюснутым наконечником прут от решетки. Обернувшись на крик, увидели только, как женщина падала, и он, размахнувшись, ударил ее в последний раз, уже лежавшую на земле. Потом он бегал между могилами, словно преследуя кого-то, кричал и бил своим прутком по воздуху. Никто не пытался остановить его или подойти к женщине, лежавшей неподвижно на детской могиле среди ярких астр; все молча, скованные ужасом, следили из-за могил за этим боем. Кто-то, наконец, побежал к телефону, оглядываясь назад и натываясь на ограды.

## Сержант Бертран.

Бросив прут, он вернулся к женщине. Он долго стоял над нею, оглядываясь равнодушно на людей, собиравшихся понемногу вокруг. Нищенка выглядывала из-за спин, крестилась, что-то беззвучно шептала.

От ограды, но не со стороны пролома, быстро, широким, сильным шагом шел человек. Его не видели, пока он не подошел к ним, стоящим кольцом вокруг той могилы. Не сбавляя шаг, он приближался к мужчине со шрамом через весь лоб, скрывающимся где-то в густых светлых волосах; к мужчине, стоявшему бессильно над окровавленной женщиной. Было какое-то движение — какой-то неуловимый удар или что-то еще, — никто из собравшихся не заметил, что именно сделал этот высокий, сильный человек в тот самый момент, когда убийца, обернувшись, протянул к нему руки и, казалось, вот-вот собирался заплакать, как ребенок, напуганный чем-то. И когда он упал как подкошенный, так, словно у него переломились ноги, мужчина нагнулся и, подняв легко женщину на руки — будто у нее совсем не было веса, — так же быстро, широким и сильным шагом прошел сквозь расступающихся перед ним в ужасе и отвращении людей, и скоро, скоро исчез где-то за могилами. Кто-то хотел пойти за ним, чтобы помочь этому человеку, и даже двинулся уже, но — куда было идти? — его не было видно среди могил. Над кладбищем стоял удушливый, словно еще более усилившийся горький запах горелой кожи. Слышно было, как подъехала и остановилась за стеною машина, как захлопали дверцы. Все обернулись к стене.

# ВЫ ХОП-ТЕ ЛУЧШЕ?



**ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОИ СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ—  
ЭТО ПРИЯТНО И ВЫГОДНО!**

НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖЕТ **ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ**

**ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРИСЫЛАЙТЕ  
КОНВЕРТ СО СВОИМ АДРЕСОМ 113556 МОСКВА М-556 А/Я 78 ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ**





**1941  
1991**

Сергей Иванович в прыжке.  
Химки. До начала войны  
несколько дней.



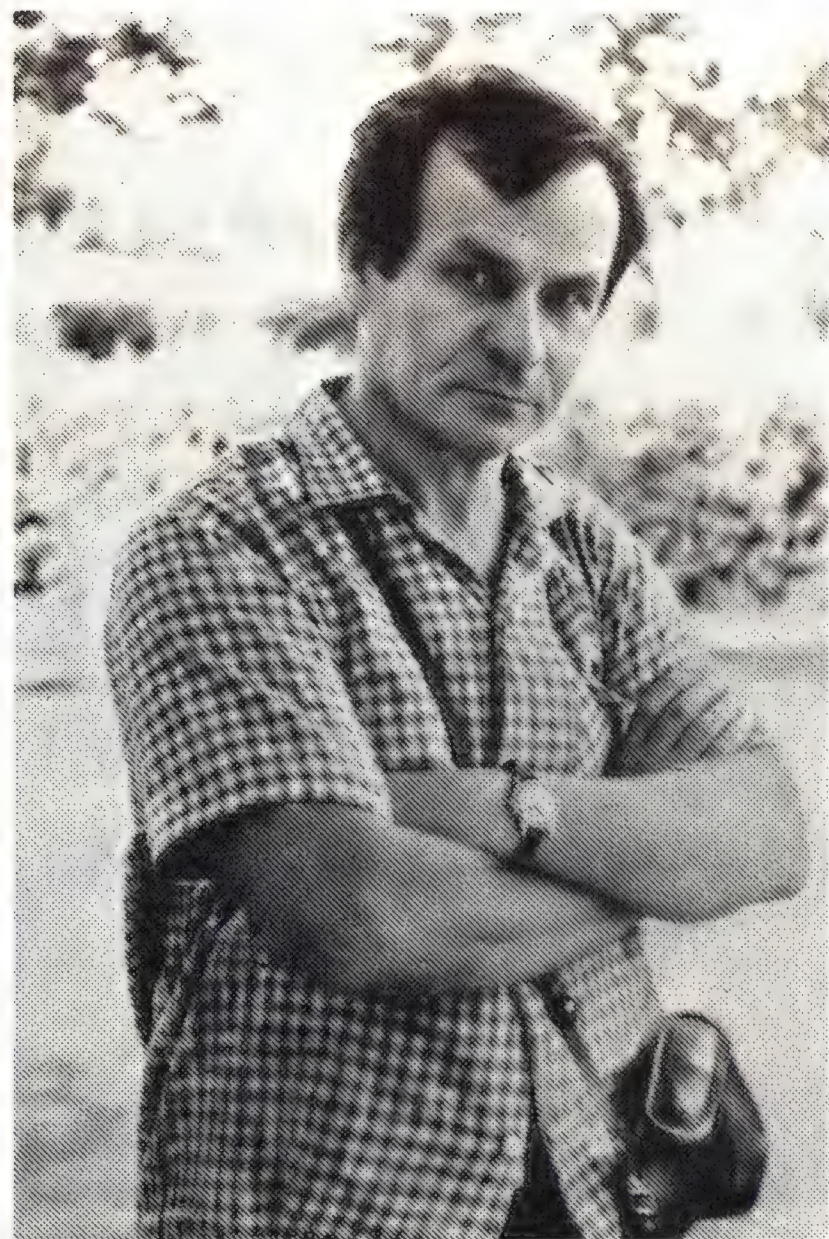
Московские школьницы 1941 года.  
Вглядитесь в этот снимок, может,  
узнаете себя через пятьдесят лет.







Новослободская улица у Бутырской заставы.  
Москва. Октябрь 1941 года.



— Алло, Сергей Иванович?! Сергей Иванович, где же снимки? Вы вечно опаздываете, мы опять нарушаем график сдачи материалов в типографию.

— Бегу, бегу,— отвечает голос на другом конце провода.

Положив трубку, я мысленно представляю себе небольшую фигурку нашего фото-корреспондента, нашего милого Сергея Ивановича Васина, нагруженного тяжелой сумкой с фотопринадлежностями, выходящего из подъезда своего дома, что рядом с гостиницей «Пекин», и не спеша пересекающего площадь Маяковского по направлению к нашей редакции. Войдя в отдел оформления, он заваливает рабочий стол десятками фотоотпечатков со множеством вариантов на заданную тему.

Уже нет с нами Сергея Ивановича, но у старожилов редакции жива память о нем, о 60—70-х годах — периоде нашей совместной работы. Бывали случаи, когда задор, очевидно, свойственный Сергею Ивановичу в молодости, как бы прерывал его невозмутимое спокойствие. Так, однажды во время переезда редакции в новое помещение в suite около беспорядочно расставленной мебели Сергей Иванович вдруг предложил, не сходя с места, перепрыгнуть через письменный стол. И когда все убедились, что наш Сергун, так звали его лучшие друзья, не шутит, так как он уже начал снимать пиджак, мы едва удержали его от столь рискованного в почтенном возрасте прыжка.

Размышляя о прошлом, хочу заметить, что Сергей Иванович все же совершил прыжок из своего далека в наше время. Он оставил фотоархив, где среди бесчисленных негативов мы нашли множество ценных исторических кадров, снимки улиц и площадей Москвы 30-х годов, памятников и скульптурных изваяний, часть из которых уже не существует, таких, как обелиск Свободы работы Н. Андреева, некогда стоявший перед зданием Моссовета. И наконец, большая серия, посвященная Москве периода Великой Отечественной войны. Будучи корреспондентом одной из центральных газет, Васин имел разрешение на запретную для многих съемку баррикад и заграждений на улицах нашей столицы. Эти снимки относят нас к тому незабываемому октябрю 1941 года, когда в центре города была слышна отдаленная артиллерийская канонада, когда Москва готовилась к уличным боям... К счастью, этого не случилось. А эти редкие кадры не были опубликованы до сих пор.

Пятьдесят лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Пятьдесят лет назад мы отстояли Москву! Читатель, внимательно всмотритесь в эти снимки. Это наша история.

Юрий ЦИШЕВСКИЙ





**Павел  
СУПРУНЕНКО**

**ВОЙНА  
УБИВАЕТ  
ПРАВДУ**

*В июне 1991 года  
исполняется полвека  
с начала Великой  
Отечественной войны.  
Срок долгий, а война эта  
все еще остается  
в нашем массовом сознании  
чуть ли не неизвестной.*

*О чем думал  
солдат-красноармеец  
в первые дни на войне,  
на что надеялся,  
что вспоминал?  
Над чем смеялся,  
если было время смеяться?  
Кричал ли «За Родину,  
за Сталина!»?  
Автор публикуемых ниже  
воспоминаний попал на войну  
со школьной скамьи.  
Он искренне воссоздает  
в своих рассказах —  
бытовую, психологическую —  
чисто человеческую  
историю войны.*

**1941  
1991**

Я врубился в фронтовые ряды летом 1942 года 17-летним юнцом. Нас вместе с безостановочно бегущими нашими войсками остановили под Сочи заградотряды. Прочитали знаменитый совершенно секретный приказ народного комиссара обороны № 227. Волосы дыбом поднимались от слов: «...народ проклинает Красную Армию, которая оставляет на растерзание врагу женщин, стариков и детей...» А армия что — не народ? Она состояла в основном из вчерашних крестьян. Их до того замордовали сплошной коллективизацией, налогами, голодовками, судами «за колоски», за неосторожное слово, что они, мягко говоря, в своей массе особенно в бой и не рвались.

Проехав летом в 1941 году эвакуированным на подводе Украиной и Россией, я сам был свидетелем, как при подходе немецких войск наши бойцы прятались по плавням, пустым зарослям, балкам. Я думал, что это характерно было больше для Украины с памятным людоведским 1933 годом. Нет, в беседах со многими фронтовиками из Подмосковья приходилось тоже слышать признание, что, как только наши части отступали к родным местам, они иногда даже «организованно» бросали винтовки и расходились по домам.

Допустим, это мои субъективные впечатления. Но пусть уважаемые историки объяснят, как появилось убогое число 5 миллионов 800 тысяч наших плененных? Подобных аналогов в истории войн, очевидно, не было.

Мы по праву гордимся Сталинградской битвой. Но еще более она станет ошеломляющей, если учесть, что ей предшествовало окружение немцами наших войск под Киевом в 1941 году: полумиллионный «котел», в два раза превосходящий сталинградский. Были и другие окруженные группировки с 200—300 тысячами наших плененных.

Вдумайтесь только в невероятные потери на советско-германском фронте: одиннадцать миллионов наших солдат и лишь три миллиона вражеских (это из «частных» подсчетов, ведь так и нет официальной статистики). Вспомним многотысячные братские могилы во второй, наступательный период войны, когда трупы сваливались без счета и зачастую бесследно, безвестно. Мне пришлось неоднократно быть свидетелем, как гнали в бой «чернорубашечников». Так пренебрежительно «особисты» называли мобилизованных в освобождаемых селах и городах мужиков. Среди них много юных, вовсе не обученных солдат. Их не находили нужным даже обмундировывать — в домашних черных одеждах они и шли в атаку под «прикрытием» заградотрядов с тыла. Считалось, что позор оккупации они должны были искупить кровью. Для их скоростной мобилизации при каждой стрелковой дивизии находились так называемые полевые военкоматы. Потери увеличивались и многочисленными штурмами укрепленных пунктов, станций, городов к определенным праздникам — 1 Мая, 7 Ноября, Новому году, Дню Красной Армии. Впрочем, и без этих дат многие бои походили на мясорубку.

Могли ли мы идти в бой с именем Сталина на устах? Я был участником многочисленных наступательных боев, пройдя путь от Кавказа до Праги. И могу сказать не кривя душой, что ни разу не слышал этих изъявлений преданности «вождю и учителю» в атакующих рядах. Не слышали и другие фронтовики-окопники, с кем мне приходилось говорить на эту тему. (Я не исключаю отдельных случаев, которые никак не могут определить массового явления, о котором стоило бы говорить серьезно.) Ни для кого не секрет, что даже в менее экстремальных условиях у нас принято проявлять свои чувства русской матерщиной. А уж говоря о боях, можно было поубавить выдумки политработников и пишущей братии тех времен.

Были и подвиги, и отвага, но выглядело это не так, как видится из политдонесений, наградных листов и безудержного потока последующих очерков и художественных описаний. Тот, кто мерз, голодал и соседствовал со смертью в окопе, наверное, помня о совести и долге перед погибшими, не станет славословить войну.

#### Дойдем ли до Индии?

Мы научились умело прятаться от немецких «мессеров». Еще до начала налета, как стая напуганных воробьев, разлетались подальше от дороги. На ней самая большая опасность, когда, отбомбившись, на бреющем полете чешут еще пулеметами. Выискивали скопления машин и повозок, но, бывало, охотились и за одиночными бойцами. Вокруг только и разговоров — о господстве гитлеровцев в воздухе да вопросов — где же наши хваленые сталинские «соколы» и «ястребки»?

Слухи ползли один краше другого. И не только по поводу немецких парашютистов или опасности перерезанной дороги. На одном привале услышали о крысах: рассказчик уверял, что несколько дней тому назад не только люди, но и машины, и подводы остановились. Дорогу запрудили тысячи этих тварей. Откуда и куда они передвигались — холера их знает. Омерзительное ощущение: никакой силой их не передавить. Пришлось задержаться с планомерным великим нашим отступлением.

Говорят, бои ведутся под Грозным, отрезаны нефтепромыслы. Да и на нашем участке не легче. Где находился фронт, никто толком не знал. Сводки Совинформбюро послушать было негде; да и они тоже мало что проясняли. Оставался самый верный ориентир — канонада. Она все чаще и чаще приближалась, будто нагоняла нас, а в последние дни что-то затихла. Это настораживало — не прорвали ли немцы фронт? Надо поскорее проскочить перевал, гору Индюк.

Наша группа бродяг, беженцев, эвакуированных — все определения годились для пестрой помятой оравы — заметно поуменилась. Не только девятиклассники, но и парни годом постарше из местных кубанских станиц постепенно отставали. И харчи домашние кончались, а главное, запахло порохом. Нам даже



не приходило в голову осуждать кого-то: немцев они не хвалили, не ругали. Просто у многих — наивная надежда пересидеть опасность в пристаничных камышах. Ну да Бог с ними, отставшими. У нас с дружкой, земляком днепропетровцем, свои тревоги. Не для того мы драпали с Украины, чтобы здесь оказаться в оккупации. А по всему видно, как говорили бойцы, «драп-марш» не прекратится. Разгон немцы взяли бешеный. И хоть нашего патриотизма не хватало для подвигов, описываемых в газетах, — обвешаться бутылками с горючей смесью и броситься под немецкие танки, — но кое-что мы придумали.

Нам нужно успеть добраться до южной границы, а там через Иран дойдем до Индии... А затем определимся к союзникам и будем совместно продолжать борьбу с фашистами. Бог свидетель: мы не собирались в такое серьезное время кататься на слонах или охотиться на тигров... Армия стремительно откатывалась, отходила, отступала, бежала на юг. Но мы не сумели осуществить свой замысел. Я стал полноценным красноармейцем.

### Обыкновенная атака

Подожли к своим окопам по узким ходам сообщения. Солдат лежал в траншее. Разойтись в ней никак нельзя — узкая. Лень ли ему было подняться, дремал ли он? Или боялся, что не миновать пули? «Вот Иван! Неужели лень подняться?»

Завязалась перебранка, сзади подгонял взводный, и заспанный и злой пехотинец, матерясь и сплевывая, вылез из хода сообщения. Как он ни принимал к земле, но заметил его немецкий снайпер: только успел ойкнуть и даже не стонал долго.

Смерть пехотинца вроде бы ложилась на нашу совесть: не появившись мы здесь — и жил бы человек. Но по цепочке передали команду — приготовиться к атаке.

Только теперь дошло до сознания: мы не просто временно приданы пехоте — нам предстоит самим стать пехотой, самими пойти навстречу пулям, разрывам, смерти...

Все нервно курили, обжигая пальцы. Даже те, кто никогда не брал в рот сигарку, просили табаку на закрутку. Изредка слышалась ругань — другого разговора уже не было.

«Ура-а-а! Вперед! Ур-а-а!» И опять отборный мат.

Крики раздались в соседнем подразделении. Крикнул что-то и взводный и выскочил на бруствер. Вылезать не хотелось, но не будешь же оставаться один, когда все поднимаются. Единственная забота — найти хоть маленькую ложбинку, хоть небольшой бугорочек, чтобы укрыться. Какой-то командир, пробегая рядом, поносил на чем свет стоит взводного.

— Долболоб ты, а не командир! Почему твои люди отстают?! Вперед!

— За мной! Вперед! — вырвался как ошпаренный лейтенант.

Не особенно дружно побежали и мы. Так, чтоб и не отстать, но и вперед далеко не забежать.

Атака успешно развивалась. Артиллеристы, нужно отдать им должное, пристрелялись и прямой наводкой заткнули глотку немецкому пулемету на правом фланге. А левый еще тархтел, но это уже не перекрестный огонь, не такой опасный...

Вместо касок в немецких траншеях показались не прикрытые броней задницы. Последний бросок к вражеской линии обороны.

Я потерял представление о времени. Переступая вражескую траншею, обратил внимание на уткнувшегося в землю немца. Он был босым — сапоги уже успели с него стянуть. Оперативно! А чуть дальше, под сараем, лежал другой гитлеровец. Его белое тело было бледным до желтизны, будто и не человек, а восковая фигура.

Не только сапоги, но и френч, и брюки, и нижние штаны были с него сняты.

Я забыл, что это был немец — злейший неприятель, заклятый враг. Что-то противоестественное человеческому существу было в этой картине.

Во рту я ощутил приторно-сладковатую слюну. Меня подташнивало. Проходивший мимо старый солдат поднял с земли кусок немецкой плащ-палатки в зеленых размывах и прикрыл ею голый труп.

Это была обыкновенная атака. Первая для меня и потому такая ошеломляющая, опустошающая. После нее — какое-то оцепенение. Не хотелось ни есть, ни пить, ни разговаривать, ни думать.

### Вместо ордена — штрафбат...

Я сидел на скамье подсудимых.

Возле меня не было конвоя. Но место мне определили в стороне от офицеров. Их немного здесь — все из нашего батальона. Председатель трибунала настоял, чтобы явились все. Очевидно, в назидание другим.

Служитель Феиды неторопливо перебирал бумаги, обстоятельно выяснял мою фамилию, имя, отчество, год рождения, хоть это давно было записано в его талмуде. Потом пошли вопросы по сути дела.

«Вы ставили мины на дороге, у высоты 263?» — «Да, я». — «Кому вы передали минное поле?» — «Передавать было некому: наши части отступали». — «Как положено по инструкции?» — «Инструкция не предусматривала прорыва немецких танков». — «Кого вы ознакомили с границами минного поля?» — «Командира стрелковой роты». — «А еще кого?» — «Других уже нельзя было догнать...» — «Есть его роспись на формуляре?» — «Нет». — «А как положено по инструкции?»

И вот так через каждое слово — «инструкция». Я, конечно, ее нарушил по всем статьям. Мне нужно было в то время, когда драпали стрелковые части, оставаться на месте, составлять схему расположения мин, привязывать ее к ориентирам, не обращать внимания на стрельбу и искать на поле боя, кто бы расписался в моем формуляре...

После контратаки гитлеровцы отступили. На моем минном поле был сделан проход другими саперами. Поставлены ограждения, предупреждающие таблички. Прошли стрелковые части, артиллеристы. Но разминированная дорога показалась узкой лихому нетрезвому начальству. На «виллисе» проезжал замкомдива. Он велел объехать лужу, чтобы не обрызгаться. На обочине и взлетела машина в воздух. Вместе с полковником на mine подорвались еще трое... Но с них спрашивать было уже поздно. Нужен был виновник. Укрывал меня долго мой комбат: постоянно посылал меня на задания. Но трибунальщики — ребята настырные.

Не помогли прекрасные характеристики. Комбат искренне жалел меня — в батальоне не хватало взводных. Не идти же ему самому резать проволоку и минировать поля. Меня пытались защищать, но председатель трибунала как бы даже оправдывался: кто-то же должен быть наказан...

Я ожидал приговора. Заседатели совещались с председателем трибунала. Хотелось, чтобы поскорее закончился этот фарс. Меня заверяли, что я отделаюсь каким-нибудь выговором, а объявили мне пять лет заключения. Правда, милостиво заменив двумя месяцами в штрафном батальоне. Впрочем, искупление кровью наступает гораздо раньше...

Еще недавно на моем минном поле подорвались немецкие бронетранспортеры — я был представлен к какому-то ордену. И вот такой поворот судьбы.

Каюсь, не выдержал я... Может, виновата пара кружек вина. (Меня не отправили сразу под конвоем.) Не выдержал и пустил слезу...

Приговор был отменен в трибунале фронта: меня вернули с полдороги...

### Анекдоты

Их поначалу на фронте ходило немного. Во время отступлений, паники, окружений, угрозы всеобщего поражения было не до смеха. «Крокодильский» юмор, правда, поддерживался в сатирических листках армейских газет, но он был вымученным. Когда текли реки крови, тут не до шуток.

Вот некоторые из них.

На передовой перед атакой солдата все-таки убедили подать заявление о приеме в партию. И он написал: «Иду в бой. Если убьют, прошу считать меня коммунистом, а если нет — так нет...»

Диалог: «Вы инвалид войны, руку на фронте потеряли?» — «Да нет, руку оторвали, когда в военкомат вели».

Осточертела война солдатам до чертиков. Они и просят шофера Жукова — ты, мол, выясни у него, когда же эта распроклятая война кончится. Шофер выбрал момент, только рот открыл, а Жуков к нему: «Эх, война, мать ее перемать. Ты не скажешь, Иван, когда она кончится?»

Поступает фронтовик в институт. На экзамене среди вопросов — об Отечественной войне. Он начал отвечать и попросил встать, почтить память погибших. Один член комиссии ставит ему «пятерку», другой удивляется. Тот объясняет: «Давайте его отпустим, а то он еще заставит нас петь «Интернационал».





# Марина ХЛЕБНИКОВА

Дебют в  
"ЮНОСТИ"

☆☆☆

Объясните льву, что он свободен  
за решеткой от забот случайных —  
сыт, напоен, значит, беспечален.  
Объясните льву, что он свободен.  
Осознав, простив, и все такое,  
он забудет край, где жили предки,  
запах ночи, радость водооя...  
Объясните льву, зайдите в клетку.

☆☆☆

Будто жизнь чужую проживаю,  
будто впереди еще рождение,—  
укушу свой палец — нет, живая!  
у зеркал застыну — привиденье...

Пахнет вечер ладанно и густо,  
певчий дрозд кого-то отпевает...  
у зеркал застыну — пусто, пусто...  
укушу свой палец — нет, живая.

Скука электрических каминов  
выгнала живой огонь из дома...  
от меня осталась половина:  
«сапиенс» остался — умер «гомо».

☆☆☆

Мы в детстве пахли рыбьей чешуей,  
все знали о ветрах и о теченьях,  
до синевы, до умопомрачения  
ныряя в ускользящий прибой.

Летели к переливчатому дну  
и вверх неслись стремительней дельфинов,  
земные в этот миг — наполовину,  
из двух стихий не выбрав ни одну.

А после на песке, как короли,  
прозрачных мидий жарили и ели,  
и открывались жаберные щели,  
и снова нас тянуло от земли,

туда, где серебрились косяки  
ставриды над лохматыми камнями,  
и крабы нам железными клешнями  
по-братски пожимали плавники.

## Отражение

Женщина и щенок стоят перед зеркалом.  
Женщина думает, что это — неудачное зеркало,  
а щенок думает, что за стеклом  
живет еще один щенок —  
и каждый из них по-своему прав,  
потому что законы оптики  
почти не распространяются на женщин  
и совсем недоступны щенкам.

И если в ваших очках  
отражаются  
мои глаза,  
то, может быть, в моих глазах  
отражается  
ваша близорукость?..

☆☆☆

Ни с того ни с сего  
острым ребрышком режется мир —  
там, где темень и пыль,  
где паук мастерит паутины...  
Из медвежьих углов  
да из черных прокуренных дыр  
пробивается Слово,  
и Вечность зовет на крестины...  
Освети мне углы —  
в них всегда интересней, чем в центре,  
где бушует война  
за пристойность,  
за «как у людей»...  
В самом дальнем углу  
деревенской запущенной церкви  
можно тихо заплакать,  
а больше не стоит нигде.

☆☆☆

Не итоги — так, мысли вслух,  
бормотанье, летучий лепет...  
тополей воробьиный пух  
летним снегом кружит и лепит,  
и прохожий — один из ста —  
смотрит пристально, словно будит,  
будто знает: на мне креста  
нет и не было, и не будет...  
Будет зреть виноградный сок,  
будет моря больничный запах,  
будут чайки крестить песок  
мелким крестиком тонких лапок,  
только я просвищу пращой,  
и прохожий меня осудит —  
он не знает: меня еще  
нет и не было, и не будет...

## Галатея-1990

Руки пачкаю мокрой глиной,  
злюсь, ломаю, всю ночь курю.  
Что ваяю?

Да вот, мужчину...

Мужичка для себя творю.

Неказистый?..

Так дело вкуса —

не плейбой, не делец-прораб,

а глядишь, не родит искуса

у других — незамужних баб.

В меру пьющий да в меру бьющий,

доминошник в штанах мешком,

курит «Приму», подсолнух лушит,

с мужиками засев кружком.

Нос — картошкой, а рот — подковой,

со спины — и совсем дебил,

а попробуй слепи такого,

чтоб, как душу, тебя любил...

## Маленькая веселая песенка

Руки в теплых карманах,  
ноги в теплом — «на манке»,  
я иду по Басманной,  
я иду по Лубянке,

по лубку на Арбате,

по кабацкому гною,

по ментовке, палате,

по лужайке весною,

по коричневым лужам,

по домов отраженьям,

и никто мне не нужен,

и плевать на служенье,



не прибьюсь — так отчало,  
не по нервам — по коже,  
ничего не печалит,  
ничего не тревожит...

### Идиллия

Когда-нибудь НЕКТО — ужасно ученый и добрый  
придумает НЕЧТО — и все станет в мире иначе.  
Сплошные удачи! Тотально сплошные удачи  
в системе отсчета из Времени, Чести и Долга.  
И к завтраку каждый себе сможет выписать устриц,  
и дети устанут болеть, и не высохнут реки,  
и все словари обозначат пометами «устар.»  
такие слова, как «несчастные» или «калеки»,  
и станет тепло, и народы забудут о нервах,  
любясь и резвясь, погоняя то серых, то чалых...  
Пока в этот рай не заявится новая стерва —  
за яблоком вроде. И все повторится сначала.

### Золушка

Внезапно, как сбегает молоко,  
сбежал покой, отбросив одеяло,  
и туфельки помчались так легко,  
что платье за ногой не успевало;  
и не гадалось: «Быть или не быть?» —  
спина несла ликующее тело...  
Что надо помнить?... К черту — все забыть!..  
Сказали, в полночь — ей какое дело?!.  
Когда кружатся, радужно блажа,  
слова, не уличенные в обмане,  
когда последний вечер куража  
на острие. На лезвии. На грани.

г. Одесса



ЛЕОНИД  
ГРИГОРЬЯН

### Порча

Сойтись бы вшестером, усесться тет-а-тет  
И, душу отворив, поговорить о всяком!  
Сойтись-поговорить? — не тот менталитет,  
И дружество не то в конце восьмидесятых.

Сойтись, как пращуры сходились за столом  
И время в буйных спорах коротали!  
Ведь есть у нас и свой Григорьев Аполлон!  
Сойтись-поговорить при пунше и гитаре!

Как сладостно витать среди высот-красот,  
Швыряя по углам опорожненной тарой!  
Да в голове свербит: А кто у нас сексот?  
Не тот ли говорун? Не этот ли, с гитарой?

Но времена не те! Но рядом все свои!  
И что у нас отнять, у болтунов завзятых?  
А в голове: «Молчи, скрывайся и таи!»,—  
Девиз сороковых тире семидесятых.

### 7 ноября, среда

Внезапно к ночи вырубили свет,  
Газ перекрыли, воду отключили,  
Как будто для того, чтобы ответ  
Мы на свои вопросы получили.

А он нейдет, как прежде, с языка,  
Анафемой углы не оглашает.  
Три друга, три потомственных зека  
Слух наострили и руками шарят.

Последняя фатальная среда,  
Когда уже и впрямь не нужно пищи.  
Библейская студеная вода  
Обстала стены малого жилища.

Три олуха, и каждый не юнец,  
Отчаянно, почти без сожаленья  
Спешат затеплить утлый каганец  
За несколько минут до затопленья.

И нечем оплатить последний чек,  
Вины не искупить последним горем.  
Но чудо из чудес!  
Плывет ковчег,  
Непотопляем и водоупорен...

### Инсургент

Не знаю, куда ты сегодня простер  
Десницу свою, сумасброд, волонтер,  
И что тебя сызнова манит,  
А завтра привычно обманет?

Как прежде, тебе не сидится. Успеть!  
Куда-то метнуться, пропеть, претерпеть!  
Пускай поражение, крушение,  
Но только б — движение, движение...

О да, ты не промах и не из комах,  
Ты свой в изоляторах и дурдомах,  
Бродило богемы и голи,  
И если невольник — то воли.

И снова тебе не сносить головы  
На стогнах Москвы и в пределах Литвы,  
Ты поочередно на плахе  
В Тбилиси, Баку, Карабахе...

Несешься бессмертной песчинкой в луче  
Без отдыха и интервала,  
То Рудин, то Овод, а может быть, Че  
Гевара...

☆☆☆

Все на свои возвращается крúги.  
Наши злодеи зело долгоруки.  
Те же повадки и те же ухватки,  
Тепленьких, сонных возьмут из кровати.  
Пыл их чудовищный неиссякаем.  
Авель есть Авель, а Каин есть Каин.  
Авель забудется — Каин разбудит.  
Каждый остался собой и пребудет.

Но, подставляя повинное темя,  
Радуйся: с этими ты, а не с теми,  
И никогда поменяться ролями  
Ты не хотел бы с лихими псарями.  
Как ни зовут нас — Иван или Хаим —  
Каин и Авель, Авель и Каин,  
Верные пращурам ветхозаветным,  
Семенем стали несметным, всесветным.

г. Ростов-на-Дону



РУКСПЕЦТУРГРУППЫ

ДРУГ НАРОДОВ

СПЕЦКОР



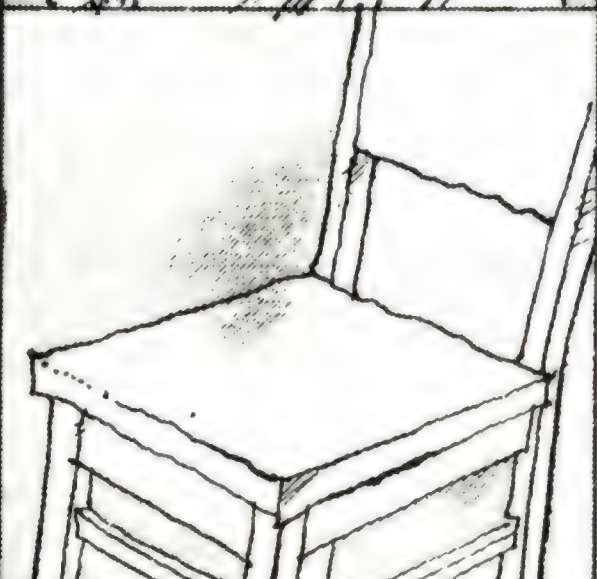
ГЕРЕМОН ТОЛЯ

ДИАМАТЫЧ



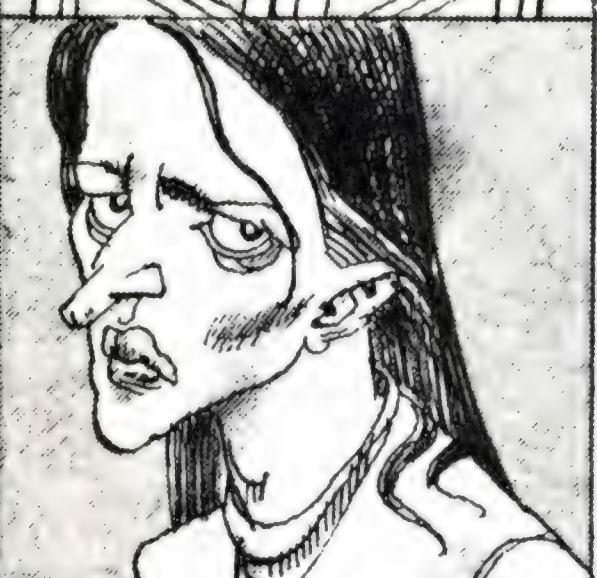
ПИЛА ЦУРИНАМСКАЯ ГОВАРЫЦА ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Я



ПОСТ-МЕТЕОРИСТ

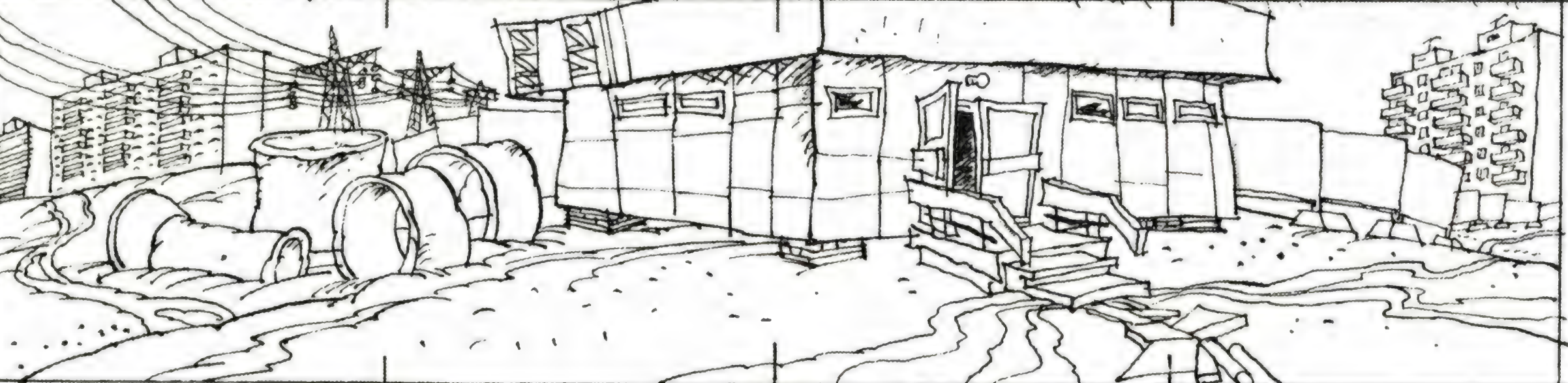
АЛЛА С ФИЛМАЛА



ТОРГОНАВУ

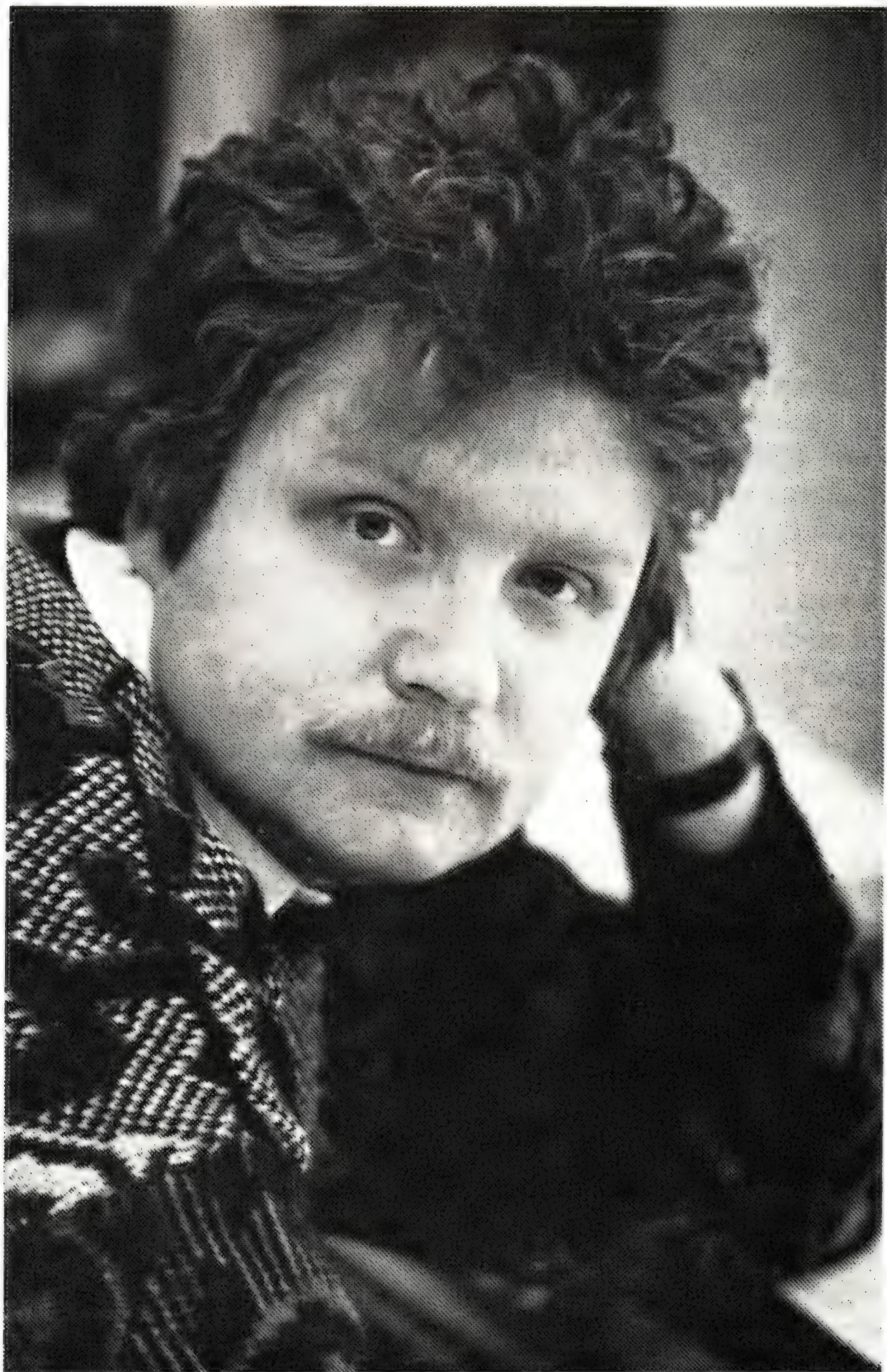


ПЕЙЗАНКА



РЫГА ЛЕТО





Юрий ПОЛЯКОВ

# ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА

Повесть

Рисунок Виктора Скрылёва  
Фото Леонида Шимановича

«...Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где же тут Париж?»

Федор Достоевский.  
«Зимние заметки о летних впечатлениях».

## I.

Наш пивной бар называется «Рыгалето», хотя на самом деле он никак не называется, а просто на железной стене возле двери можно разобрать полустершуюся трафаретную надпись:

Павильон № 27  
Часы работы: 10.00 — 20.00  
Перерыв с 13.00 до 14.00  
Выходной день — воскресенье

Павильон! Это мы умеем: вонючую пивнушку называть павильоном, душную утробу автобуса — салоном, сарай с ободраным киноэкраном — Дворцом культуры. Павильон... Его сооружали прямо на моих глазах: варили из металлических труб и листового железа, а потом красили в ненавязчивый серый цвет. Но тогда никто и не догадывался, что это будет пивная! Думали, ну — вторсырье, ну, в лучшем случае, овощная палатка. Даже спорили на бутылку, но никто не выиграл, никому даже в голову не залетало: ПИВНОЙ ПАВИЛЬОН!

А происходило все это пятнадцать, нет, уже шестнадцать годиков назад. Я только-только окончил институт и распределился в только-только созданный вычислительный центр «Алгоритм». Если помните, страна в то время переживала эпоху всеобщего «асу-чивания», и казалось, наконец-то найдено совершенное и безотказное средство против нашего неодолимого бардака: мол, ЭВМ не проведешь и не обманешь!

Первым весть о пивной, будто бы открывающейся в железном сооружении, принес Букин, наш местный алгоритмовский правдоискатель, отдававший все силы делу борьбы за справедливость, разумеется, в рамках господствующего беззакония. К тому же, страдая почками, он абсолютно не пил — и это придавало его деятельности оттенок мученичества.

— Поздравляю! — горько сказал Букин, входя в машинный зал. — Будет пивная. Я видел, как разгружали автоматы!

— Ура-а! — завопили мы, вскочив со своих мест.

— Чего — ура?! — затрясся наш правдолюб. — Будет вам теперь — «Все об АСУ»...

Мы дружно заржали, ибо второй, сокровенный, смысл названия этого популярного в те годы справочника являлся предметом издевательств для целого поколения программистов. Но, конечно, тревога Букина была обоснована: жил он от «Рыгалето» неподалеку, а во что превращаются подъезды домов вблизи пивных точек, общеизвестно. Но нам, молодым, веселым, умеренно выпивающим и живущим у черта на рогах, эти опасения Букина казались смешными, а грядущие нерукоотворные моря в подъездах — по колено!

Зато только представьте себе: выйдя в 17.15 из нашего стеклянного ВЦ, где даже мыши не размножаются по причине всеобщей прозрачности, вы как бы между прочим заглядываете в свою пивную, привычно вдыхаете табачно-дрожжевой запах, бросаете в светящуюся щелку монетку, предварительно подставив под кран свою кружку (гигиенично, да и посуду искать не нужно) и нежно наблюдаете, как автомат, утробно крякнув, выдает вам одним пенным плевком 385 граммов жигулевского пива, а поскольку ваша собственная кружка в отличие от казенной вмещает целый литр, можно повторить, как говорится, не отходя от первоисточника.

Конечно, нашу пивную павильоном мы не называли



никогда. Смешно! Сначала безыскусно именовали «точкой», потом некоторое время — «гадюшником». Года полтора держалось название «У тети Клавы» — по имени уборщицы, одноглазой старушки, которая смело бросалась разнимать дерущихся с криком: «У тети Клавы не поозоруй!» Но вот выявился один замечательный завсегдатай — спившийся балерун из Большого театра. Интересно, что даже в совершенно попаламском состоянии он все равно ходил по-балетному — вывернув мыски. За дармовую кружку пива балерун охотно крутил фуэте и кричал при этом дурным голосом: «Р-риголетто-о-о!» Почему «Риголетто», а не, допустим, «Корсар» или «Щелкунчик», — никто не знал. Пивную начали называть «Риголетто», потом «Рыгалето», что в общем-то более соответствовало суровой общепитовской действительности. Сам балерун вскоре, весной, умер прямо на пороге нашей забегаловки, не дожив пяти минут до открытия, до 10.00, до реанимационной кружки пива. А название намертво пристало к нашему железному павильону, и, вспоминая того несчастного фуэтешника и видя, как все вокруг переименовывается вспять, я думаю о том, что не каждому удастся оставить после себя такой прочный след в жизни.

Заглянуть после напряженного рабочего дня в «Рыгалето» стало доброй и прочной традицией нашего ВЦ, конечно, в основном его мужской части. Нарушить этот обычай могло только стихийное бедствие или замызганная фанерка на двери:

#### «ПИВА НЕТ»

Если когда-нибудь задумают построить памятник жертвам великого эксперимента и даже объявят все-союзный конкурс, я обязательно пошлю им свой вариант: циклопическая железная дверь, гигантский заржавленный замок и огромная фанерина с надписью: «ПИВА НЕТ».

Но тогда, в середине 70-х, эта табличка появлялась не так часто, как нынче, и в «Рыгалето» мы — нет, не отмечали, а именно обмывали пивом все мало-мальски заметные события нашей жизни: дни рождения, именины, повышения по службе, свадьбы, отпуска, прибавления в семьях, увольнения, разводы, торжественные проводы на пенсию и — в лучший мир...

В особенно торжественных случаях в пиво добавлялось немного водки, и от «ерша» мир становился звеняще-легким и восхитительно простым. Правда, ненадолго. Здесь, в «Рыгалето», мы обмыли и мою негаданную свадьбу, мои служебные взлеты и падения, рождение моей первой и последней дочери Вики, получение малогабаритной двухкомнатной квартиры в Южном Чертанове, обретение шести соток под Волоколамском... Одним словом, все те события, которые превращают молодого безответственного циника в ответственного циника средних лет, готового поддерживать любой, самый идиотский режим, если тот гарантирует незыблемость очередного отпуска. Да, мы были шумливы, веселы и нетребовательны: пьяные байки какого-нибудь полпреда-расстриги заменяли нам дальние странствия, а треск ломаемых соленых сухешек — щелканье кастаньет.

Но вот уже несколько лет, как я стал тяготиться коллективными заходами в «Рыгалето». Знаете, хочется покоя и вдумчивости. И еще после работы нужно как-то перестроиться: из энергичного ведущего программиста, покрикивающего на симпатичных молоденьких операторш, плавно превратиться в тихого, точно доходяга, экономящего каждый свой поступок, каждое свое движение отца семейства. Супруга моя суровая Вера Геннадиевна и не догадывается, что почти каждая практикантка, направленная к нам в сектор, обязательно, хоть ненадолго, влюбляется

в меня, точнее в то, что от меня осталось с тех шикарных институтских времен, когда мои кавээновские шуточки повторялись на всех факультетах и курсах, а Ленка Пековский, беззастенчиво пользуясь принадлежащими мне каламбурами, хохмами и примочками, пытался охмурять даже аспиранток, не говоря уже об однокурсниках.

Итак, почти каждый вечер, прежде, чем до утра сгинуть в ненасытной прорве семейного благополучия, я полчаса, а то и часик провожу здесь, в «Рыгалето». Стою и потихоньку из своей баварской кружки производства Дулевского завода фарфоровых изделий прихлебываю мутный желтый напиток, способный раз и навсегда лишить профессиональной чувствительности любого западного дегустатора пива. Но я не просто пью — я думаю. Мои размышления похожи на слоеный пирог: мысли существуют в некоем последовательно-слипшемся единстве. Ну, вот, например, только несколько сегодняшних слоев:

— как усыпить бдительность доглядчивой супруги моей Веры Геннадиевны и так непринужденно отдать ей квартальную премию, чтобы она не заподозрила меня в сокрытии четвертака, необходимого мне для регулярных медитаций в «Рыгалето»;

— как уговорить дочь Вику продолжать посещение музыкальной школы, если она ненавидит ее примерно так же, как я некогда ненавидел хор мальчиков, куда меня воткнули родители, переболевшие в свое время страшным, с галлюцинациями и маниями недугом под названием «Робертино Лоретти»;

— как понадежнее присобачить в ванной отвалившийся кафель, если клей БФ не держит, а под раствор нужно соскабливать окаменевший цемент, что приведет к повальному отлетанию плиток;

— как объяснить тот факт, что Ад и Рай очень легко представить в виде двух блоков памяти некоего гигантского компьютера? Причем первый блок хранит информацию о достойно прожитых жизнях, а второй, соответственно, — о прожитых паскудно. И благодать заключается в том, что хорошую информацию берегут. А возмездие — в том, что плохую информацию стирают. Хотя, возможно, все обстоит как раз наоборот. Именно в этом смысл воздаяния...

— как объяснить супруге моей опасливой Вере Геннадиевне, что нежелание иметь второго ребенка еще не повод для того, чтобы превращать брачное ложе в лабораторию противозачаточных исследований;

— как выпутаться из дурацкой ситуации с заказчиком, одним гнусным трестом, который хочет свои липовые квартальные отчеты выдавать не в убогой, ветхозаветной машинописи, а для достоверности и радости начальства распечатывать свое бессовестное вранье на ЭВМ. Послать к чертям нельзя — Пековский голову оторвет, а делать — противно...

Ну, и так далее.

«Слой» можно продолжать до бесконечности, но зачем? Во время размышлений я люблю оглядывать пивной зал, похожий на большой вокзальный сортир, где вместо писсуаров установлены пивные автоматы. Все остальное: запах, толчея, антисанитария — полностью соответствует вышеуказанному помещению. Впрочем, пиво сегодня неплохое, с горчинкой, наверное, останкинское, а бадаевское — кислятина.

Еще мне нравится вслушиваться в шум переполненного зала, выхватывать обрывки разговоров, а если попадется интересный, постараться вычленив его из душного гула, словно русскую речь из шипения, писка, скрипа и бусурманской скороговорки радиоприемника. В «Рыгалето» можно услышать что угодно: от сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой-бригадиром до душераздирающей любовной истории, от парнокопытного мыча-



ния до искрометной полемики вокруг воззрений Пьера Тейяра де Шардена... Пиво, как и жизнь, любят почти все, поэтому здесь можно встретить и собирающего опивки бомжа, и доктора философии, интеллигентно пригубливающего из особым образом обрезанного молочного пакета.

— Ну, и грязища! — кротко возмущается пожилой мужичок, с виду командировочный; в одной руке он держит мыльно пузырящуюся кружку, в другой — чемоданчик, похожий на те, что бывают у электромонтеров. — Ну, и грязища!

— Не в Париже! — беззлобно отвечает ему человек с фиолетовым лицом.

И мне совершенно ясно, что «Париж» — последнее географическое название, чудом зацепившееся в его обезвреженных алкоголем мозгах.

— Да уж... — соглашается командировочный и, зажав чемодан между колен, чтобы не ставить его на загаженный пол, присасывается к кружке. — Да уж, точно — не в Париже!.. — добавляет он, оторвавшись от пива, чтобы перевести дух.

Надо ли объяснять, что ни тот, ни другой в Париже никогда не были. Для них это — просто звучный символ, таинственное место, вроде Беловодья или Шамбалы, где люди существуют по иным, замечательным законам, где пол в пивных настолько чист, что можно безбоязненно ставить чемодан, и где посетители никогда не допивают до дна, давая возможность лиловым бомжам поправиться и захорошеть.

А вот я в Париже был. Честное слово! Обычно я никогда не рассказываю об этом, особенно здесь, в «Рыгалето». Грустная история. Помните, у Маяковского:

**Неудачник не тот,  
                        кого  
                        рок грызет**

**И соседки  
                        пальцем тычут,  
                        судача.**

**Неудачник — тот,  
                        кому повезет,**

**А он  
                        не сумеет схватить  
                        удачу!**

Сказано точно про меня. Про мою парижскую любовь. Знаете, я иногда думаю, что удачливость — это не стечение жизненных обстоятельств, а просто черта характера, как, например, искренность, злобность, отходчивость... Вы согласны? Да? Значит, у нас много общего. И я, пожалуй, расскажу вам... Только подождите — сначала схожу налью еще пива, а вы держите мое место, никого не пускайте, если будут лезть, говорите: «Он сейчас придет!» Моя кружка вмещает литр... А ваша?..

## II.

В Париж меня направили единогласным решением профсоюзного собрания. Ей-богу! Было это в 1984-м, в усть-черноярский период нашей колготной истории. Помню, я даже не хотел идти на это самое собрание. Дело в том, что у одного завсектором тогда родился ребенок, и младенца нужно было срочно обмыть в «Рыгалето». Я, разумеется, вызвался тут же проследовать в пивную, занять места и охранять их, покуда не кончится вся эта профсоюзная говорильня. Но мне возразили, что каждый из нашей компании уже выступил с подобным предложением, что я не умнее других и что если заседать, то всем вместе, а если линять, то тоже сообща. Сами понимаете, восемь человек, мимо актового зала идущие пить пиво,— это уже политическая демонстрация. Но я, между прочим, к нашим тогдашним идеологическим играм относился вполне лояльно: мы томились на

собраниях три-четыре раза в месяц, а мусульмане творят намаз по нескольку раз на дню. Как говорится, от добра добра не ищут.

Как сейчас помню, в президиуме за кумачовым столом сидели секретарь партбюро, председатель профкома, престарелый директор ВЦ и его заместитель Леонид Васильевич Пековский, а также некоторое количество рядовых сотрудников в качестве физиологического раствора. Первым докладывал председатель профкома. Он толково разъяснил нам принципы распределения благ, которыми общество щедро осыпает наш «Алгоритм», и, надо отметить, полностью убедил меня в родниковой справедливости этих принципов, но я так и не понял, почему тем не менее блага непременно оказываются в загребущих руках наших начальников и их ближайшего окружения. Мне, грешному, например, за последние пять лет один-единственный раз выдали профкомовскую путевку в дом отдыха «Березки», зимой, на 12 дней. Оттуда я привез домой ужасных рыжих тараканов, вывести которых было просто невозможно, так как в доме отдыха их регулярно травили и, видимо, наконец вывели популяцию, абсолютно невосприимчивую к любым ядохимикатам. Опасливая супруга моя Вера Геннадиевна заявила, что сегодня я принес в дом тараканов, а завтра притащу какую-нибудь заразу похлестче, и на две недели отлучила меня от своего белого тела. Эту форму внутрисемейного воспитания она освоила еще в первые годы нашего супружества, но с тех пор воспитательный эффект сильно ослабел. Кстати, дочь Вика шепнула мне: если я принесу домой что-нибудь похлестче, например, котенка или щенка, то она будет просто счастлива!

После профорга выступил по вопросам трудовой дисциплины заместитель директора ВЦ Леонид Васильевич Пековский. Ленка Пековский. Пека. Мы выросли с ним в одном дворе, где возле старинного тополя тихо ржавел и разворовывался «оппель», привезенный из поверженной Германии каким-то офицером, вскоре после этого умершим. Мы учились в одном классе, где на стенах висели неизменные портреты основоположников: две окладистые бороды и одна поменьше — клинышком.

Потом мы поступили в один и тот же институт, где хохотали над чудачествами одних и тех же профессоров и заглядывались на одних и тех же длинноногих однокурсниц. А вот однокурсницы, вы не поверите, поглядывали на меня, а не на Пековского, хотя стараниями внешторговского дяди одет он был всегда изрядно, даже под брюками в морозы носил не темно-синие треники, как мы, грешные, а разымпортные мужские колготы. Но в те бескорыстные студенческие времена это не вызывало ничего, кроме молодого буйного смеха. Не то что теперь...

После института распределили нас в одно и то же место — в «Алгоритм». Наши столы стояли рядом, мы засиживались допоздна, мучась над какой-нибудь трудной задачей, тайком распечатывали для друзей гороскопы и руководства по сексуальной гармонии, а вечерами вместе заходили в «Рыгалето».

Но потом Пека стал расти не по дням, а по часам — старший, ведущий, заместитель заведующего, заведующий и так далее. Еще в институте на последнем курсе он женился на трогательной морской свинке — дочке крупного партийного босса. За развал работы в регионе впоследствии босса законопатили в заместители председателя Всесоюзного комитета информатики, чего Пека, естественно, предвидеть не мог, а просто ему, как всегда, повезло. Ранний брак обременял Пеку примерно так же, как тонюсенькое обручальное кольцо на безымянном пальце, он сибаритствовал, тщился вовлекать в интимную близость наших алгоритмовских дам, вслед за мной называя это бескоры-



стной гормональной поддержкой одиноких женщин.

Я к тому времени тоже окольцевался — женился на девушке только за то, что она совершенно не реагировала на мое общепризнанное остроумие. Сравнивая ее с разными доступными хохотушками, я вдруг понял: эта утонченная серьезность есть знак высшей душевной и нравственной организации. Результатом стал марш Мендельсона, сыгранный ленивыми музыкантами в Грибоедовском дворце. Когда же выяснилось, что эта утомительная серьезность есть всего лишь признак отсутствия чувства юмора, в кровати за веревочной сеткой уже пищал вырвавшийся на свободу эмбрион по имени Вика, а я сам каждое утро мчался на соседнюю улицу, звеня маленькими младенческими бутылочками, так как у невозмутимой супруги моей Веры Геннадиевны помимо чувства юмора отсутствовало еще и молоко. В семь часов вечера мне нужно было возвращаться домой и заваривать в кастрюльке череду для купания дочери, однако и в те трудные времена я умудрялся заглядывать в «Рыгалето» хотя бы на минуточку. Но Пековского я там больше не встречал: по мере служебного роста он приохотился к фешенебельным «Жигулям», что на Арбате, задружился с тамошними мэтрами и проходил в труднодоступный бар, минуя постоянную длинную очередь.

И вот Леонид Васильевич Пековский, одетый в серый твидовый пиджак, вишневый пуловер и нежно-фисташковую рубашку, постукивая по красной скатерти зажигалкой и скашивая глаза на свои швейцарские часы, с иронической полуулыбкой вещал нам о трудовой дисциплине как основе социалистического производства. Женщины слева от меня, отложив вязанье, с придыханием обсуждали изумительный галстук Пековского и тот неоспоримый факт, что от него всегда пахнет дорого и волнительно; а мужчины справа от меня, оторвавшись от кроссвордов, спорили, сколько может стоить его электронная японская зажигалка.

— Вопросы есть? — в заключение лениво любопытствовал Пековский и притронулся к губам носовым платком, совершенно случайно совпадавшим по тону с галстуком. Обращение носило чисто риторический характер, ибо все разговоры о трудовой дисциплине были жалким ритуальным осколком полузабытого мистического энтузиазма первых пятилеток.

— Есть вопросы! — вдруг вскочил со своего места наш правдолюб Букин. Он всегда напоминал мне дружинника, который бросается защищать подвергшуюся нападению хулиганов девушку именно в тот момент, когда честь, возможно, уже утрачена, но зато из-за угла как раз показался «москвичок» с нарядом милиции.

— Пожалуйста, — недоуменно кивнул Пековский и вынул из кармана записную книжечку с золотым обрезом.

— Доколе?! — возопил Букин, сжимая в карманах кулаки.

— Конкретнее! — поморщился секретарь партбюро.

— Доколе, — гневно уточнил Букин, — вы, товарищ Пековский, будете беспардонно использовать в корыстных целях свое служебное положение, занятое вами исключительно благодаря кумовству и протекционизму?!

Представьте себе на минуточку хлипкого молодого человека, который, отнаблюдав схватку двух каратистов, демонстративно подошел к победителю и плюнул ему в глаз! Представили? А теперь вообразите последствия. Вообразили? Примерно то же самое я подумал и о Букине.

— Что вы имеете в виду? — спокойно спросил Пековский.

— Что я имею в виду? — с истерическим сарказмом передразнил Букин, двигая кулаками в карманах. — Нет, я не имею в виду вашу четырехкомнатную квартиру, полученную вне всякой очереди. Я не имею в виду служебную дачу, которая — я выяснял! — вам не положена. Я не имею в виду «трешку», купленную вами в обход всех списков. Но я имею в виду тот факт, что из двух туристических путевок во Францию, выделенных на «Алгоритм», одну вы втихоря присвоили себе! Извольте объясниться!!

Извергнув все это из недр своей алчущей справедливости души, Букин вынул из карманов побелевшие от напряжения кулаки и сел на место. В зале воцарилась полная тишина, и лишь слышался шорох передаваемой из рук в руки газеты. Когда измятые листы дошли до меня, я прочитал отчеркнутое красным фломастером малюсенькое извещение о том, что заместитель председателя Всесоюзного комитета информатики имярек освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Пековский, конечно же, уловил движение в зале, заметил газету, открыто улыбнулся и сказал, что товарищ Букин напрасно волнуется — со следующего месяца все путевки будут распределяться гласно, на собраниях...

— А почему со следующего? — взвился Букин. — Вы сколько раз в этом году за рубеж выезжали?!

— Ну, четыре... — вздохнул Пековский и сделал скучное лицо.

— Нет, пять! — поправил кто-то из зала.

— Да, действительно... Я забыл про Болгарию... — согласился он, немного смущенный такой широкой осведомленностью своих подчиненных.

— Пять! — по всем правилам ораторского искусства подхватил неугомонный Букин. — Пять! А вот... — Он пошарил глазами по залу. — А вот... ты... — Его лицо напряглось в поиске. — А вот ты, Гуманков, ты хоть раз в жизни выезжал за рубеж?

— Я? — переспросил я.

— Да, ты!

Почему он выбрал именно меня? Ведь в зале сидели почти две сотни советских граждан, никогда не пересекавших государственную границу СССР. Может быть, он выхватил меня, потому что в тот день я был при ярко-зеленом галстуке, который где-то оторвала добычливая супруга моя Вера Геннадиевна? «Он тебя освежает», — отводя взгляд, диагностировала она. Эту хитрость — включать в мою одежду элементы, специально призванные отпугивать других женщин, я разгадал давно: сорочка с жеваным воротничком, брюки с двойной стрелкой, куцые носочки, но в том памятном случае, как вы сами понимаете, галстук цвета взбесившегося хамелеона.

На вопрос вошедшего в раж Букина я скорбно сообщил, что за рубежами Отечества не бывал ни разу.

— Ни разу! — зловещим эхом повторил Букин. — Гуманков! Лучший программист! Ни разу! Где социальная справедливость?

— Неужели ни разу? — огорчился Пековский и приветливо кивнул мне головой из президиума. — Но ничего не поделаешь — документы ушли на оформление. Я сожалею...

— Неужели мы допустим, чтобы Пековский поехал в шестой раз, а Гуманков...

— Не допу-у-стим! — взревел зал. — Гуманков! Гуманков! Гу-ман-ков!

Я подумал, что именно так некогда поднимали людей на баррикады. Моя фамилия неожиданно превратилась в лозунг, знамя, призыв, наподобие «Мир — хижинам, война — дворцам!», в результате чего одинаково хреново пришлось и дворцам, и хижинам.

— Голосуем! — скомандовал Букин, полностью



узурпировавший власть у президиума во главе с оцепеневшим от неожиданности директором ВЦ. Как говорится, взметнулся лес рук. Единогласно. Букин смотрел на меня с торжеством. Пековский — с тоской, смысл которой стал мне ясен лишь позже.

— А кто едет по второй путевке? — вдруг послышался из зала голос, полный надежды на еще одно чудо.

— Муравина... — ответил председатель профкома.

— Кто такая? Не знаем...

— Она работает в филиале. Отличный программист. Активная общественница. К тому же мать-одиночка...

На мать-одиночку рука не поднялась ни у кого.

### III.

После собрания, совершенно забыв про новорожденного, мы обмывали в «Рыгалето» мою будущую поездку в Париж. Даже непьющий Букин увязался за нами, чтобы послушать восторги по поводу собственного мятежного красноречия и подольше полюбоваться мною — мучительным плодом его любви к справедливости. Захорошев, друзья начали давать мне советы, суть которых сводилась к тому, что самое главное в групповом туризме сразу разобраться, кто из органов, а кто собирается «соскочить», — и держаться подальше от обоих.

— А как узнать? — недоумевал я.

— Ничего сложного: увидишь — догадаешься!

Вернувшись домой, я застал бдительную супругу мою Веру Геннадиевну гонящуюся с тапочком в руке за одним из тех неуморимых тараканов, импортированных из «Березок».

— Картошки не было! — доложил я первым делом, так как с утра имел приказ купить пять килограммов.

— А картошки в пивных никогда и не бывает! — пожалала плечами жена.

— Прости, я просто забыл... Мне сегодня на собрании... выделили путевку!

— Ты хочешь к рыжим тараканам добавить черных?

Кстати, воспользовавшись моим появлением, гонимое насекомое юркнуло под диван, который, вероятно, в их тараканьей картине мироздания именовался «Великий свод спасения» или еще как-нибудь в этом роде.

— Думаю, там, куда я еду, тараканов нет! — по возможности загадочно ответил я.

— Будут. А куда ты едешь?

— В Париж!

— Вы переименовали «Рыгалето» в «Париж»? — предположила язвительная супруга моя Вера Геннадиевна, вставая с пола и надевая тапочек.

— Нет, честное слово, я еду в Париж. По турпутевке. Вместо Пековского...

— Почему именно ты? Тебя же никогда никуда...

— Именно поэтому.

— М-да... Послушай, Гуманков, давай лучше по этой путевке поеду я...

— Нельзя. Она именная! — ответил я наобум и, видимо, убедительно.

— Ну, конечно... Я не подумала. Иди мой руки — будем ужинать...

Когда мы поженились после полугода томительного скитания по вечерним киносеансам и незнакомым подъездам, моя молодая неулыбчивая жена умела только варить суп из концентратов и жарить яичницу-глазунью. Многомудрая теща, с которой мы жили первые годы, считала, что чрезмерная подготовленность женщины к браку развращает мужа, отесняя его от полезного семейного труда. Со временем Вера

Геннадиевна, конечно, освоила и борщи, и котлеты, и пироги, но делала все это без души, словно тяжкую повинность, наложенную на слабый пол самой природой.

Итак, я дернулся в ванную, чтобы ополоснуть руки, но там было занято.

— Кто это? — послышался изнутри голос моей единственной дочери Виктории — грядущей жертвы женского равноправия.

— Дядя Вася с волосатой спиной! — ответил я раздраженно. — Открой, мне нужно вымыть руки.

— Я голая! — жеманно сообщила мне моя восьмилетняя дочь.

— Одетым не купаются...

— Я стесняюсь...

— У тебя там и смотреть-то не на что!

— Откуда ты знаешь?

— Видел.

— Когда?

— В детстве.

— Значит, ты тоже подглядывал за девочками?!

— Конечно.

— Тогда мой руки в кухне, подсмотрщик.

На кухне меня ожидала тарелка гречневой каши, политой остатками печеночной подливки. Гречневую кашу я ненавидел с детства, с тех самых пор, когда посещал детский сад завода «Пищеконцентрат», где нас кормили почти исключительно гречкой и укормили на всю оставшуюся жизнь.

— Опять? — не удержавшись, спросил я и был крайне удивлен, ибо вместо привычного ворчания о том, что она тоже ходит на службу и к каторжным работам на кухне ее никто не приговаривал, непредсказуемая супруга моя Вера Геннадиевна вдруг предложила поджарить отбивную и отварить картошечки. Еще удивительнее было то, что она даже намеком не коснулась своей излюбленной темы — моего обозначившегося живота. Нет, пока только животика.

— От картошки толстеют... — засомневался я.

Но вместо того чтобы уесть меня традиционным сарказмом по поводу исключительной малокалорийности пива, она молча вывалила в мойку последние корнеплоды и начала срезать кожуру. Тогда — окончательно проясняя ситуацию — я подошел к холодильнику, достал банку консервированных огурцов и, не спросив позволения, открыл ее. Я-то знал, что огурцам уготована иная, празднично-салатная судьба и ждал взрыва негодования, но его не последовало.

— Гуманков, — абсолютно ласково спросила Вера Геннадиевна. — Ты меня разыгрываешь с Парижем?

— Клянусь!

— Тогда я должна позвонить! — серьезно ответила она, покидала в кипящую воду кубистически оструганные картофелины и ушла к своему ненаглядному, обожаемому, нежно любимому аппарату. Думаю, если наладить выпуск телефонов определенной формы, множество женщин полностью откажутся от общения с мужчинами.

Тем временем из ванной появилась Вика — в длинном материнском халате и тюрбане, сооруженном из мокрого полотенца. Она изумленно посмотрела на початую банку огурцов и, запустив туда руку, выловила два, покрупнее. Любит соленое, как и отец: все-таки мои гены покрепче Веркиных оказались!

— Игрушки из ванны вынула? — строго спросил я.

— Вынула, — кивнула она, рассматривая зернистую полость огурца. — У меня есть вопрос!

— Если уроки сделала, то — пожалуйста! — разрешил я.

Дело в том, что по заключенной между нами конвенции каждый вечер она имела право задать мне один вопрос на любую волнующую ее тему. На любую! Идя на этот отцовский подвиг, я побаивался, но



оказалось, аистово-капустные вопросы занимают совершенно незначительное место среди волнующих ее детское воображение проблем.

— Как ты думаешь, — спросила Вика, — в следующей жизни у меня будут такие же волосы или другие?

Вика получилась у нас светленькой.

— В следующей жизни ты вообще можешь оказаться лягушкой, если будешь вести себя кое-как!

— Ну, а если я буду снова человеком, — поморщилась она от моей дешевой дидактики. — Какие у меня будут волосы?

— Любые. Никто не знает. Может, ты вообще родишься курчавой негритянкой... или индианкой...

— Но если я буду негритянкой, то это буду уже не я?!

— Конечно!

— Тогда это просто глупо!

— Что именно?

— Хорошо себя вести, прилежно учиться, помогать маме... А волосы твои достанутся какой-нибудь негритянке!

Поздно вечером позвонил Пековский, чего давно уже не случалось. Трубку, естественно, сняла Вера Геннадиевна, нетерпеливо ожидавшая звонка своей подружки-сплетницы. Но и с Пековским у нее нашлись общие темы. Ворковали они долго, и по тому, как моя благоверная охала, вздыхала и похохатывала, я догадался, что Пеке от меня что-то нужно. Наконец к нагревшемуся аппарату был допущен и я. Пековский с заливистым смехом вспомнил сегодняшнее собрание, передразнивая возмущенные бормотания нашего полуживого директора, а потом заверил, что искренне рад за меня и даже готов помочь с оформлением документов.

— Сам ты не успеешь, — предупредил он. — Неси шесть фотографий для загранпаспорта. Не перепутай — для загранпаспорта, в овале. Заполняй анкеты. Остальное я беру на себя. Жаль, если никто не поедет — все-таки Париж!

— Спасибо! — ответил я таким тоном, дабы он понял: мне за тридцать, и я давно усвоил, что просто так на этой земле ничего не делается.

— Ерунда! — засмеялся он. — Мы же давние друзья...

— Давнишние... — на всякий случай уточнил я.

— Ну, если ты такой щепетильный, — посерьезнел Пека. — Я тебя тоже кое о чем попрошу...

— О чем?

— Узнаешь... Потом...

В последний раз он просил меня лет семь назад: речь шла о симпатичной и веселой практиканточке, чрезвычайно ему понравившейся. Я, конечно, не стал мешать, но у него все равно ничего не вышло, потому что девушку страшно смешила манера Пековского заглядывать в попутные зеркала и проверять незыблемость своего зачеса...

#### IV.

Пековский сдержал слово: документы были оформлены на удивление быстро и легко. Пара собеседований, пяток справок, трижды переписанная анкета, маленькая неразбериха с фотографиями — все это, как вы понимаете, просто пустяки. Кроме того, он настоял на том, чтобы профком, к радости скаредной супруги моей Веры Геннадиевны, оплатил мне не пятьдесят, как обычно, а сто процентов стоимости путевки, нажимая на то, что в поездку меня выдвинул коллектив — а значит, ее можно считать одноразовым общественным поручением. «Какой благородный мужчина!» — взволнованно шептали собравшиеся перекурить алгоритмовские дамы, когда Пековский, обдав их волной настоящего «Живанши», деловито

проходил по коридору. «Что же он за все это у меня попросит?» — гадал я.

Организационно-инструктивное собрание нашей спецтургруппы происходило в белокаменном городском доме политпросвета, в просторной комнате для семинарских занятий, где все стены увешаны картинками из жизни Ленина, который, как известно, лучшие свои годы провел в дальних странах. За полированным преподавательским столом капитально возвышался руководитель нашей спецтургруппы товарищ Буров — человек с малоинформативным лицом и райсоветовским флажком в петличке, сразу дающим понять, какое положение занимает его обладатель в обществе, — так же, как размер палочки, продетой сквозь ноздрю, определяет иерархию папуаса в племени чу-мү-мри. Товарищ Буров, очевидно, лишь недавно научился говорить без бумажки и потому изъяснялся медленно, но весомо. Он так и отрекомендовался: «Руководитель специализированной туристической группы товарищ Буров». И хотя я с детства люблю давать людям разные забавные прозвища, в данном случае пришлось, открыв блокнот, записать кратко и уважительно:

1. Товарищ Буров — рукспецтургруппы.

А возле нашего могущественного начальника, изнывая от подобоострастия, вился довольно-таки молодой человек, одетый с той манекенской тщательностью и дотошностью, которая лично у меня всегда вызывает смутное предубеждение. Похожие ребята на разных там встречах в верхах, протокольно улыбаясь, услужливо преподносят шефу «паркер» или нежно прикладывают пресс-папье к исторической подписи. Но у заместителя руководителя спецтургруппы Сергея Альбертовича — а это был именно он — улыбка напоминала внезапный заячий испуг, что, видимо, резко сказалось на его карьере: какой-то референт в каком-то обществе дружбы с какими-то там странами, — представил его нам товарищ Буров.

Я немного подумал и записал в блокноте:

2. Друг Народов, замрукспецтургруппы.

Я огляделся: в комнате, кроме меня и руководства, сидело еще пять человек — четверо мужчин и одна женщина. В проходе, между столами, виднелась ее наполненная хозяйственная сумка, и женщина явно нервничала, так как инструктивное собрание все никак не начиналось, а ей, очевидно, нужно было поспеть в детский сад и забрать ребенка еще до того, как молоденькие воспитательницы, торопящиеся домой или на свидание, начнут с ненавистью поглядывать на единственного оставшегося в группе подкидыша. А может быть, подумал я, она торопится, чтобы забрать ребенка не из детского сада, а из школы, из группы продленного дня? Трудно сказать наверняка: блондинки иногда выглядят моложе своих лет.

— А кого ждем? — решил я прояснить обстановку.

— Вопросы будете задавать, когда я скажу! — сурово оборвал товарищ Буров.

В этот миг дверь распахнулась и в комнату вступила пышная дама лет пятидесяти с высокой, впросинь, прической, еще пахнувшей парикмахерской. Одета она была в тот типичный импортный дефицит, который является своеобразной униформой жен крупных начальников.

— Разве я опоздала? — удивилась вошедшая.

По тому, как засуетился Друг Народов, а товарищ Буров привел свое лицо в состояние полной уважительной приветливости, я утвердился в догадке, что вновь прибывшая дама — жена большого человека. Именно жена, для самодостаточной начальницы на ней было слишком много золотища и ювелирщины.

— О чем вы говорите! — вскричал замрукспецтургруппы, целуя Н-ской супруге руку. — Как раз собирались начинать...



— Везде такие пробки... Даже сирена не помогает! — приосанившись, объяснила она.

3. Пипа Суринамская, — записал я. Это такая тропическая лягушка (ее недавно показывали в передаче «В мире животных»), она в зависимости от ситуации может раздуваться до огромных размеров, но, бывает, и лопается от натуги.

— Ну что ж, начнем знакомиться? — радостно выпростав зубы, спросил Друг Народов и выжидающе глянул на рукспецтургруппы, а тот, помедлив для солидности, разрешающе кивнул головой, как лауреат-вокалист кивает нависшему над клавиатурой концертмейстеру.

— Я буду читать список, — объяснил Друг Народов. — А вы будете откликаться. Договорились? Войцеховский Николай Иванович, летчик-космонавт...

Никто не отозвался, а товарищ Буров, нацепивший очки, чтобы следить за переключкой по личному списку, раздраженно поглядел на заместителя поверх оправы.

— К сожалению, — спохватился Друг Народов, — товарищ Войцеховский... Одним словом, вопрос, полетит ли он с нами в Париж или без нас в космос, решается... Он в дублирующем составе... Поэтому... Следующий — Дудников Борис Захарович...

Встал толстенький, молодящийся дядя с ухоженной лысиной, одетый в лайковый пиджак и украшенный ярким шейным платком. Всем видом он так напоминал творческого работника, что я сразу догадался: из торговли. Так и оказалось — заместитель начальника Кожгалантерейторга.

— В случае чего мы вас за космонавта выдадим! — хохотнул Друг Народов, но, не найдя отзыва на лице товарища Букова, осекся.

А я записал в блокноте:

4. Торгонавт.

— Епифанов Михаил Донатович, — продолжил Друг Народов. — Заведующий кафедрой философии. Профессор.

На эту фамилию откликнулся седоволосый субъект в реликтовых круглых очках, академически залоснившимся костюме и даже с авторучкой в нагрудном кармане пиджака.

— Учтите, — предупредил его товарищ Буров. — В случае дискуссий вы как специалист по истмату...

— Диамату, — вежливо поправил профессор.

— Не имеет значения. Как специалист — вы наш главный боец!

— Не подведу! — с какой-то непонятной для философа готовностью отозвался Донатыч.

5. Диаматыч, — записал я.

— Муравина Алла Сергеевна. Вычислительный центр «Алгоритм». Инженер-программист, — объявил Друг Народов.

Поднялась блондинка, торопившаяся в детский сад или школу, и оказалась весьма стройной.

— Это я, — сказала она.

— Мы видим, — одобряюще кивнул товарищ Буров. — Языком владеете?

— Немного...

— Будете в активе руководства.

— А что это значит?

— Вам объяснят. Садитесь.

6. Алла с Филиала — пометил я в блокноте и подумал, что женобес Пековский не случайно хотел прокатиться в Париж вместе с этой симпатичной блондинкой, более того — в последнее время он постоянно пропадает на Филиале якобы в связи с острой производственной необходимостью. Теперь все встает на свои места. К тому же гражданка Муравина — мать-одиночка, а Пековский смолodu специализируется на брошенках: никаких ревнивых недоразумений и слезы благодарности по утрам.

— Мазуркин Анатолий Степанович, рабочий Нижне-Тагильского трубопрокатного комбината, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, — прочитал Друг Народов.

— Тут! — вскочил маленький жилистый мужичок с огромным кадыком, норовившим все время уползти и спрятаться за огромный галстучный узел.

— Вот и гегемон у нас появился! — улыбнулся заячьими зубами Друг Народов.

— Как с планом? — с государственной заботой поинтересовался рукспецтургруппы.

— А куда на хрен он денется? — ответил гегемон прокуренным голосом.

7. Гегемон Толя, — тут же записал я.

— А еще? — спросил товарищ Буров. — Кто у нас еще из основных категорий?

— Еще у нас колхозное крестьянство представлено! — сообщил замрукспецтургруппы. — Парщина Мария Макаровна, бригадир доярок колхоза «Калужская заря». Еще не приехала. Председатель пока не отпускает — коров доить некому...

Я поразмыслил и решил отсутствующей бригадирше дать условное имя:

8. Пейзанка.

— А теперь у нас пошла творческая интеллигенция, — сообщил Друг Народов. — Кирилл Сварщик, поэт, лауреат премий имени Элиота Йельского университета и имени Василия Каменского Астраханского обкома комсомола.

— Приветик!

Поэт встал и раскланялся с добродушием своевременно похмелившегося человека. Одет он был в ярко-желтую замшевую куртку, но воротник и плечи по причине длинных жирных волос выглядели словно кожаные. Между прочим, про этого парня я слышал. Он входил в группу поэтов-метеористов, которые объявили: все предыдущие поколения просто входили в литературу, а они ворвались в нее что ваши метеоры.

9. Поэт-метеорист, — зафиксировал я.

— Учтите, главное за границей — дисциплина! — предупредил товарищ Буров, недоверчиво оглядывая Поэта-метеориста.

— Мне уже говорили! — отозвался тот довольно независимо.

— И наконец — Филонов Борис Иванович, специальный корреспондент газеты «Трудовое знамя»! — объявил Друг Народов голосом конференсье, старающегося замаять какую-то накладку в представлении.

Это был бородатый плечистый молодой человек в джинсах, штормовке и с фоторепортерским коробом через плечо. Он встал и шутливо поклонился на все четыре стороны, как боксер на ринге.

— В каком отделе работаете? — смерив его взглядом, спросил товарищ Буров.

— В отделе коммунистического воспитания.

— Понятно... — кивнул наш руководитель, взглядом осуждая цепочку на шее спецора (10. Спецкор, — успел записать я.) — Будете, товарищ Филон, в активе руководства! Пропагандистом.

— Лучше контрпропагандистом! — подсказал Спецкор.

— Не возражаю. Поможете составить отчет о поездке.

— Запросто! Мне все равно в конторе отписываться...

— Товарищи! — вдруг воззвал рукспецтургруппы, медленно вставая, и я понял, что начинается тронная речь. — Каждый советский человек, выезжающий за рубеж, — это полпред нашего советского образа жизни...

Пока он нудил о пропагандистском значении предстоящей поездки и о взглядах всего прогрессивного



человечества, обращенных на нас, я поймал себя на мысли, что — хоть убей — не могу вот так, с ходу определить, кто из собравшихся в комнате стукач, а кто собирается соскочить. Любого можно было заподозрить как в том, так и в другом. За исключением, пожалуй, Аллы с Филиала.

— ... так что прежде всего мы едем в Париж работать! — закончил товарищ Буров, пристукнув ладонью по столу. — Вопросы есть?

— А я? — спросил я.

— А вы разве в списке?

— Нет.

— Откуда вы?

— Из ВЦ «Алгоритм»... Вместо Пековского...

— Так вы же не успели оформить документы...

— Успел...

— М-да, — буркнул товарищ Буров, нехорошо глянув на своего заместителя, а потом конфузно на Пипу Суринамскую, которая, в свою очередь, с таким гневным интересом углубилась в разноцветный «Огонек», словно нашла там антисоветчину.

— Я вообще не понимаю, как на одну организацию могли выделить две путевки! Это нонсенс! — громко возмутился Друг Народов.

— Помолчите! — перебил его товарищ Буров.

Вот и все. Спецтургруппа смотрела на меня с состраданием и облегчением, будто в меня только что угодила шальная пуля «дум-дум», а могла ведь попасть в любого.

— До свидания! — сказал я, вставая.

— Обождите, — остановил меня товарищ Буров. — Это вас собрание выдвинуло?

— Меня...

— Ладно, будем считать вас в резерве.

— Как это?

— А так. Если космонавт Войцеховский полетит... Вернее, если он не полетит... Одним словом, слушайте ТАСС.

— Понял, — усмехнулся я и с негодованием посмотрел в сторону Аллы с Филиала.

Она покраснела и отвернулась к окну. Мне было совершенно ясно: на мое кровное место вперли эту толстомясую Пипу Суринамскую, чтобы подмазаться к ее крупняку-мужу, но злился я почему-то именно на уставившуюся в окно очередную пассию любово-страстного Пеки.

— Теперь записывайте, — распорядился Друг Народов. — Водка (или коньяк) — две бутылки. Колбаса сухая — один батон. Белье — три пары...

## V.

Буквально до последнего момента я пребывал в полной неизвестности: еду — не еду... Непонятно... Я исправно ходил на все лекции, беседы, инструктажи в Дом политпросвета, с меня даже взяли пятнадцать рублей на общественные сувениры, но красную шапочку с надписью «СССР — Франция» в отличие от других я не получил. Спецкор, оказавшийся остроумцем, называл меня резервистом, а Алла с Филиала при встрече отводила глаза, и я никак не мог определить, какого они у нее цвета. Космонавт Войцеховский в Доме политпросвета не появлялся, но и от поездки тоже не отказывался, хотя однажды его показали по телевизору крутящимся на центрифуге. На работе меня дожимали предложением написать куда-нибудь коллективный протест, Пековский уверял, что все будет тип-топ, а дома супруга моя недоверчивая Вера Геннадиевна смотрела на меня как на дауна, сожравшего по рассеянности выигранный лотерейный билет.

За два дня до отъезда поздно вечером позвонил Пека. Трубку совершенно случайно взял я.

— Он на орбите. Завтра о нем будет в газетах.

— Врешь! — не поверил я.

— У парня из основного состава обнаружили простатит. Представляешь, как обидно! Говорят, он уже чехлы для «Волги» купил. Им за успешный полет, кроме цацок, «Волгу» выдают...

— Откуда ты все это знаешь?

— У меня приятель в Звездном живет. А там, как в коммуналке... Они за эти полеты, как мы за «загранки», глотку рвут... А ты ведь понял, о чем я тебя попрошу?

— Конечно.

— Догадливый. Попробуем тебя на сектор двинуть.

— Не надо. Уже пробовали... А она очень приятная женщина...

— Так чего же ты на нее волком смотришь?

— Жаловалась?

— Она никогда не жалуется. Просто сказала: жаль, что такой милый человек, как ты, на нее обижен...

— Виноват. Но быть в резерве — очень вредно для нервов, — попытался отшутиться я. — Теперь буду смотреть на нее с обожанием!

— Не надо. — Голос Пеки посерьезнел. — Не надо смотреть на нее с обожанием. Твое дело присматривать...

— Шпионить, что ли?

— Н-да, быть в резерве — вредно не только для нервов. Шпионить там будет кому. Твое дело, повторяю, присматривать. Она женщина легкоранимая, тонкая, а в поездках, сам знаешь, ситуации разные случаются. Особенно мне не нравится этот ваш Буров...

— Мурло аппаратное...

— Вот именно, — подтвердил Пека. — Значит, понял?

— Понял, понял... — дурашливо согласился я. — Мое дело — сторожить.

— Кончай придуливаться!

— Охранять.

— Гуманков, ты неблагодарная свинья!

— Оберегать.

— Почти правильно.

— Беречь.

— Точно.

— Для тебя.

— Для меня.

— Ты гигант гормональной индустрии! Я тебя уважаю! — Мне удалось сказать это почти беззлобно.

— Это не гормональная поддержка. Это серьезно, — каким-то не своим голосом ответил Пековский.

— Ты откуда говоришь?

— Из автомата. С собакой гуляю. Понимаешь?

— Понимаю. Не беспокойся. Можешь положить-ся на меня, как на себя самого!

— А вот этого не нужно! — засмеялся он и повесил трубку.

Сколько раз я ездил в командировки, но никогда супруга моя беззаботная Вера Геннадиевна не собирала меня в путь-дорогу. В этот раз все было по-другому. Жена трижды ездила за консультацией к своей двоюродной сестре, вышедшей замуж за сантехника-международника. Я не шучу: в наших посольствах работают только свои, вплоть до дворника и посудомойки. Кроме того, Вера Геннадиевна посвятила несколько часов обзваниванию тех наших знакомых, которые так или иначе имели дело с заграницей. Обобщив все советы и рекомендации, она тщательно укомплектовала мой чемодан с таким расчетом, чтобы любую свою нужду или потребность вдали от родины я мог удовлетворить, не потратив ни сентима из тех трехсот франков, каковые нам обещали выдать по



прилете в Париж. На случай продовольственных трудностей в чемодан были заложены несколько банок консервов, два батона сухой копченой колбасы, три пачки галет, упаковка куринобульонных кубиков, растворимый кофе, чай, сахар, кипяtilьник, две бутылки — водка «Сибирская» и коньяк «Белый аист». Отдельно, в специальном свертке, таилась железная банка черной икры — на продажу. Имелся и небольшой тульский расписной электросамовар — для целенаправленного подарка.

— С икрой не торопись! — поучала предусмотрительная супруга моя Вера Геннадиевна. — В отеле она идет дешевле, сдай в городе...

— Не умею... — хныкал я.

— Ничего сложного: делай, как все. Самовар подарить в семье. Должны отдарить. У них так принято.

Поздно вечером накануне отъезда, когда Вика, получив заверения, что ей будет доставлено не менее десяти пачек надувной фруктовой, с комиксами внутри, жевательной резинки, ушла спать, а я, последний раз проверив оба будильника (второй для надежности заняли у соседей), завалился в постель, ко мне, благоухая всевозможными шампунями, дезодорантами и духами, пришла супруга моя обольстительная Вера Геннадиевна. Действовала она четко, слаженно, деловито, точно выполняла какую-то, лишь ей одной ведомую, показательную программу. Я мысленно поставил ей 5,7: все-таки не хватало артистизма.

А потом она включила ночник, достала из тумбочки листок бумаги, развернула — и я увидел нарисованную фломастером карту, напоминающую те, по которым в детских книжках ищут сокровища пиратов. Место, где спрятано сокровище, было обозначено, естественно, крестиком.

— Это магазин, — объяснила жена. — Хозяин — мсье Плюш. Он говорит по-русски. Передашь ему привет от Мананы... У него можно купить дубленку за триста франков.

— У меня есть плащ.

— Дубленка нужна мне. 300 франков — очень дешево. Потому что с брачком. Но ты его даже не заметишь. Это у нас, если брак, то рукав оторван или воротник, а у них: шовчик где-нибудь косит или фактура кусков немножко не совпадает. Только не перепутай размер. Вот я тебе все написала — рост, грудь, талия, бедра... На всякий случай...

— А если я не найду этот магазин?

— Найдешь. Все находят.

— А если времени не будет?

— Не волнуйся — я узнала. На Лувр — туда поведут обязательно — дается два часа. Час тебе на музей. Потом побежишь в магазин. Туда-обратно — полчасика. В магазине полчасика. Хватит за глаза — очередей у них нет. Возвращаешься с дубленкой и ждешь группу на выходе. Отработано... Все так делают...

— А если...

— Тогда лучше не возвращайся! — всерьез предупредила непреклонная супруга моя Вера Геннадиевна, а потом рассмеялась и поцеловала меня в нос...

В шесть часов утра мы стояли на безлюдной темной улице и ловили такси. С вечера обещали заморозки, и выбоины в асфальте были затянуты белым струпчатым ледком, лопавшимся под ногой с каким-то барабанным звуком. Ветер шевелил кучи опавших листьев и продувал даже мой утепленный плащ, в котором я хожу всю зиму.

Такси не было. Вообще. Только черные московские «Волги» мчались куда-то, высокомерно не обращая внимания на протянутую руку Веры Геннадиевны.

— Надо было заказать по телефону, — посетовал я.

— Пробовала. Глухо, — ответила она.

Хорошенькое дельце: быть единодушно избанным

коллективом, победить в безмолвной схватке с космонавтом Войцеховским и не попасть в Париж из-за такси! Вот уж действительно страна вечнозеленых помидоров!

Судьба приходит к нам в разных обликах. Это может быть письмо, телефонный звонок, стук в дверь. Ко мне в то знобящее утро судьба приехала в виде большой помойной машины. Честное слово! Огромный грузовик с оранжевым резервуаром вместо кузова выскочил неизвестно откуда и остановился возле нас. Сверху из кабины свесился водитель и спросил:

— Куда?

— В Шереметьево-2, — вяло ответили мы.

— Садись, поехали!

Одной рукой цепляясь за поручень, а другой влача за собой чемодан, забыв даже попрощаться с женой, я полез наверх, в пахнущую помойкой и бензином кабину. Усевшись и устроив между ногами чемодан, я глянул вниз: осиротевшая супруга моя Вера Геннадиевна махала мне рукой, а я, сжав кулак, ответил ей приветствием испанских республиканцев: «Они не пройдут! Но пассаран!»

В пути выяснилось, что рядом с аэропортом расположена большая городская свалка — туда и ехал мусоровоз.

— Куда летим? — спросил водитель.

— В Париж, — смущенно ответил я.

— А-а-а, — протянул он, точно я сказал: «В Пермь». — Говорят, там винище дешевое.

— Посмотрим...

— А чего смотреть — ты попей! Хоть память останется...

Никогда прежде я не ездил в кабине такого грузовика. С верхотуры казалось, что попадавшие на встречу легковушки проскакивают чуть ли не у нас между колес. Когда мы проезжали пост ГАИ на Окружной, водитель по-приятельски помахал постовому, а тот отдал честь, словно бронированному правительственному лимузину.

— Друг? — спросил я.

— Нет. Иногда домой подбрасываю...

Возле Шереметьева навстречу нам попала темнокфейная «трешка» Пековского: обознаться было невозможно из-за уникальной наклейки на лобовом стекле и клептоманского количества дополнительных фар и прочих бирюлек на бампере. «Жене, конечно, наврал, что повез к самолету периферийного заказчика! — подумал я. — А может, теперь, после низложения тестя, он ей вообще не докладывается? Но светиться в аэропорту, хитроныра, все равно не стал...»

Мы затормозили в том месте, где от шоссе ответвляется эстакада, ведущая прямо к стеклянным самораскрывающимся дверям аэропорта: дальше на мусоровозе было нельзя. Я расплатился, пообещал пропустить сквозь печень максимальное количество французских винопродуктов и спрыгнул на землю, слегка подвернув ногу.

Когда через пять минут, прихрамывая и перекладывая чемодан из руки в руку, я появился под табло в зале вылетов, то увидел монументального товарища Бурова в официально темно-синем плаще и мятущегося возле него Друга Народов, одетого в длиннополое кожаное пальто.

— Почему опаздываете? — сурово спросил рукспецтургруппы.

— Понимаете, такси...

— Это ваши трудности! — перебил меня Друг Народов. — Срочно заполняйте таможенную декларацию.

— А где? — не понял я.

— Это там, — махнул рукой замрукспецтургруппы, безгловито принимаясь ко мне.



Размышляя о том, как, должно быть, страдают от своей профессиональной пахучести водители мусоровозов, я двинулся в указанном направлении. Кстати, потом выяснилось, что наши предусмотрительные руководители назначили сбор группы на час раньше, чем нужно. На всякий случай...

## VI.

Следуя указанию, я подошел к круглому, как у нас в «Рыгалето», столику, где уже расположились Алла с Филиала и Торгонавт. Всем своим видом я старался продемонстрировать, что оформить декларацию для меня такое же привычное дело, как, например, заполнить приходно-расходный ордер в сберегательной кассе, куда по указанию накопительной супруги моей Веры Геннадиевны вкладываются все мои явные премии. Удивительно, как глубоко сидят в нас подростковые комплексы: гораздо проще опозориться, отдав девчонке ноги, чем честно признаться, что вальса-то ты как раз танцевать и не умеешь.

Чтобы, не привлекая к себе внимания, сообразить, откуда они добыли чистые бланки, я принялся оглядываться с видом пресыщенного экскурсанта.

— Вот, пожалуйста! — Алла с Филиала протянула мне листочек. — Я на всякий случай взяла лишний...

— Благодарствуйте! — вместо человеческого «спасибо» отчебучил я.

— Извольте! — в тон мне ответила она и сделала еле заметный книксен.

Достав ручку, я лихо вписал в соответствующие графы свои Ф. И. О. — Гуманков Константин Григорьевич, а ниже свое гражданство — СССР. Но зато в следующем пункте столкнулся с непреодолимыми трудностями: «Из какой страны прибыл?» Дальше опять было понятно: «В какую страну следует?» В Париж, с вашего позволения. Потом шли дотошные вопросы про оружие и боеприпасы, наркотики и приспособления для их употребления, предметы старины и искусства, советские рубли и чеки, золотобриллианты и зарубежную валюту, изделия из драгоценных камней и металлов, а также лом из этих изделий... Все это более-менее ясно, если не считать оставшихся у меня после расчета с мусорщиком тридцати четырех рублей с мелочью. Но иррациональный вопрос: «Из какой страны прибыл?»... А если я никогда, даже в материнской утробе, не покидал пределы Отечества? Тогда что? Я осторожно посмотрел на Торгонавта, который, почесывая лысину, напряженно вглядывался в декларацию, словно это был кроссворд из «Вечерки».

— Как вы думаете, — уловив мой взгляд, спросил он, — золотые зубы вписывать?

— Не надо. Вы же не в Бухенвальд едете! У моего друга платиновый клапан в сердце — он и то никогда не вписывает! — Но это сказал не я, а появившийся Спецкор. Одет он был точно так же, как в день, когда я увидел его впервые, только, кроме фотокоровского короба, имелась еще большущая спортивная сумка.

— Я так и думал! — облегченно вздохнул Торгонавт.

— А вот перстенок запишите. За контрабанду могут в Бастилию посадить!

— Бастилию сломали... — грустно отозвался Торгонавт и покосился на свой массивный золотой перстень с печаткой в виде Медного всадника.

— Какие еще трудности? — в основном к Алле с Филиала обратился жизнерадостный Спецкор. — Заполняю декларации. Оказываю другие мелкие услуги. Плата по таксе. Такса — пять франков...

— А в рублях берете? — спросил я.

— По-соседски... На чем застряли? — Он пробежал глазами мой бланк и достал ручку. — Типичный

случай... Запомните: прибыли вы из СССР.

— Странно...

— Ничего странного. На обратном пути напишете: «Прибыл из Франции». Если, конечно, вернетесь... И не ищите логики в выездных документах. Это сюр! А сколько у вас рубликов с собой?

— Тридцать четыре... с мелочью...

— Больше тридцати нельзя. Строго карается. Пишем — ровно тридцать.

— А если проверят? — ненавида себя за трусость, тем более в присутствии Аллы с Филиала, проговорил я.

— Нужно уметь рисковать! — подмигнул Спецкор. — Оружие спрятали надежно?

— Мое оружие — советский образ жизни!

— Неплохо, сосед! Декларацию сами подпишете или тоже доверите мне?

Я подписался под десятком «нет» и спросил:

— А почему вы называете меня соседом?

— Потому что в отеле мы будем с вами жить в одном номере.

— Откуда вы знаете?

— Пресса знает все. Списки проживания составлены и утверждены в Москве, а я подполз и разведаль.

— А я с кем буду жить в одном номере? — спросила Алла с Филиала.

— Обычно такие очаровательные женщины живут вместе с руководителем...

— Вот как? — произнесла она с таким холодным недоумением, словно понятия не имела не то что о Пековском — вообще о принципиальных физиологических различиях между мужчиной и женщиной.

— Виноват! — покраснел Спецкор. — Не рассчитал-с! Просто не знаю, с кем... Не интересовался. Но если предположить, что наша генералиссимусша будет жить, естественно, одна, то вам остается во-он та юная женщина, которая еще есть в русских селеньях...

И Спецкор показал на румяную плотную девушку, одетую в ярко-синюю куртку-алюску и белые кроссовки, вроде тех, что в магазинах потребительской кооперации продают колхозникам в обмен на определенное количество сданных мясoproдуктов. Рядом с ней стоял болотного цвета чемодан, надписанный совсем как для выезда в пионерский лагерь: «Паршина Маша. К-3. «Калужская заря».

Это была Пейзанка, значившаяся в моем блокноте под номером девять.

— Я очень рада! — призналась мне Алла с Филиала. — Очень приятная девушка, правда? Вы знаете, я боялась, что меня поселят...

И тут легка на помине появилась Пипа Суринамская. Точнее, сначала в зал вбежал прапорщик, огляделся и, зачем-то придерживая отъехавшую стеклянную дверь, крикнул:

— Здесь, товарищ генерал!

Тогда состоялся торжественный вход царственной Пипы Суринамской в сопровождении полного генерала, на красном лице которого были написаны все тяготы и излишества беспорочной многолетней службы. Следом за ними перекобачившийся сержант, очевидно, водитель, впер гигантский чемоданище, имеющий к обычным чемоданам такое же отношение, как динозавр к сереньким садовым ящерам.

— Здорово, хлопцы! — поприветствовал генерал хриплым басом и, небрежно отдав честь, поздоровался за руку с вытянувшимися во фронт Буровым и Другом Народов. — Как настроение?

— В Париж торопимся! — тонко намекнул на непунктуальность вновь прибывших Друг Народов.

— Ничего — теперь уже скоро, — утешил генерал Суринамский. — Три часа — и там. Десантируетесь прямо в Париже... А мне на танке три недели ехать!



Полководческая шутка вызвала дружный и старательный смех.

— Ну, мамуля, давай прощаться! — поскучев, сказал генерал и придвинул к себе Пипу для прощального поцелуя. — Отдыхай. Осваивай достопримечательности. На Эйфелеву башню не лезь — хлипковата для тебя. В магазинах с ума не сходи — у нас в Военторге все есть. Ну и за дисциплинкой в подразделении приглядывай! — Обернувшись, он пояснил: — Я, когда в командировку убывал, часть всегда на супругу оставлял. И полный порядок!

Пока генерал Суринамский со свитой покидал зал вылета аэропорта Шереметьево-2, товарищ Буров стоял навытяжку и преданно улыбался, но как только стеклянные двери сомкнулись, он повернулся в нашу сторону, нахмурился и приказал Другу Народов:

— Список!

Провели перекличку. Все были на месте, кроме Поэта-метеориста, но и его вскоре обнаружили: он стоял и зачарованно смотрел на фоторекламу холодного баночного пива «Гиннес».

— Без моего разрешения не отлучаться! — строго предупредил рукспецтургруппы. — Накажу! Сейчас проходим таможенный досмотр!

Вялый таможенник в форме, похожей на железно-дорожную, глянул на нас, как китобой на кильку:

— Откуда?

— Спецтургруппа, — гордо сообщил Друг Народов.

— Разрешение на валюту!

— Пожалуйста.

— Проходите, — дозволил таможенник и брезгливо проштамповал наши декларации, удостоив вниманием одного лишь Торгонавта. — Перстень записали?

— Обижаете! — ответил тот.

Честно говоря, до последнего момента я боялся: а вдруг таможенник прикажет: «Всем вывернуть карманы!» И выяснится, что вместо положенных тридцати рублей я везу тридцать четыре с копейками...

При регистрации билетов и багажа случился казус с Пипиным чемоданом-динозавром, тащить который, между прочим, товарищ Буров молчаливым кивком приказал Гегемону Толе. Так вот, чемодан никак не лез в отверстие, куда на транспортной ленте уезжал весь остальной багаж. В конце концов его утолкали на специальной тележке, а Гегемону Толе была доверена Пипина дорожная сумка, тоже довольно вместительная.

Паспортный контроль прошли быстро, правда, и тут не обошлось без волнений. Сержант, сидящий в застекленной будочке, принял мой паспорт и стал его внимательно рассматривать. Я постарался воспроизвести на своем лице выражение сосредоточенного испуга, зафиксированное на фотографии. «А вдруг, — с ужасом думал я, — произошла непоправимая ошибка: подписи важной нет или печати? Говорят, так иногда случается! Тем более что покуда все шло подозрительно гладко... А вдруг моя беда в этих проклятых тридцати четырех рублях с копейками?! Кто знает, какая у них тут техника? Может, уже и кошельки научились просвечивать? А таможенник специально меня пропустил, чтобы потом...»

— Куда летите? — спросил сержант.

— Что? — растерялся я.

— Куда летите?

— В Париж...

— Зачем? — не отставал он.

Вопрос был на засыпку, и я в ответ только пискнул.

— Спецтургруппа! — солидно объяснил за меня Друг Народов.

— Проходите! — помиловал сержант и просунул мои документы в щель между краем стекла и полированной полочкой. Раздался щелчок, и, толкнув ма-

ленький никелированный шлагбаум, я оказался на свободе.

— Счастлив приветствовать вас за рубежом! — встретил меня Спецкор. — Ностальгия еще не началась?

— Вроде нет... — ответил я.

Ответил бездарно. И, сравнив себя с языкастым Спецкором, я вдруг ощутил всю степень своего одеревенения. А ведь были времена, когда я мог отшутиться так, что все, включая и Аллу с Филиала, просто покатались бы со смеху. Я был искрометен и непредсказуем. Но потом... Потом, раскуражившись в какой-нибудь теплой компании, я вдруг наткнулся на неподвижный взгляд неулыбчивой супруги моей Веры Геннадиевны — так жена обычно взглядывает на неспособного мужа, пустившегося в разглагольствования о секретах плотской любви. «Зачем ты перед ними паясничал? — упрекала она меня уже дома. — Ты разве клоун?» И мне начинало казаться, будто я и впрямь вел себя нелепо и постыдно, точно седой массовик-затейник на подростковой дискотеке. Очевидно, жена меня постоянно сравнивала с кем-то другим — молчаливым, величественным и серьезным, а теща однажды проговорила-таки про соискателя Игоря Марковича, по пустякам не балаболившего и обладавшего руками, произрастающими оттуда, откуда они и должны расти у настоящего мужчины. Вместо того чтобы послать их вместе с Игорем Марковичем туда, откуда не должны расти руки у настоящего мужчины, я, наивняк, решил соответствовать! Вот и досоответствовался... Одна радость — Вика. Очень смешливая девчонка! Вот недавно...

— Список!

Товарищ Буров, замыкавший наш организованный переход государственной границы, поправляя ондатровую шапку, пытливо осматривал вверенную ему спецтургруппу.

— Все на месте, кроме поэта, — на глаз определил Друг Народов.

— Где он? — осерчал рукспецтургруппы.

— Сказал, в туалет пошел, — доложил Диаматыч.

— Вы плохо знаете психологию творческих работников! — покачал головой Спецкор. — Наверху бар, где наливают за рубли.

— Ну да? — изумился Гегемон Толя.

— Привести! — рявкнул товарищ Буров.

— Я сбегаяю, — вызвался Друг Народов.

— А я помогу, — прибавил Спецкор. — Одному не донести...

Вернулись они через десять минут, неся на себе, как раненого командира, тяжело пьяного Поэта-метеориста, который мотал головой из стороны в сторону и с завываниями бормотал какие-то стихи. Мне удалось разобрать лишь строчку:

«Мы всю жизнь летаем над помойкой...»

— Я вас выведу из состава группы и оставлю в Москве!.. — угрожающе начал товарищ Буров.

— Не надо пугать человека родиной, — заступился Спецкор. — Он исправится...

Мне казалось, теперь нас загрузят в автобусы и, как в Домодедове, повезут к самолету, но я ошибся: прямо вовнутрь ИЛа вел телескопический трап — огромное полое щупальце, присосавшееся к округлому самолетному боку. Рядом с овальным входом на борт стояли улыбающаяся стюардесса и хмурый прапорщик с рацией.

Я с детства люблю сидеть у окошка и тут тоже не смог отказать себе в этом удовольствии. Рядом со мной устроилась Алла с Филиала, а еще ближе к проходу — Диаматыч. Впереди нас определили тело Поэта-метеориста, которое охранял Спецкор, тут же начавший заливать Пейзанке, будто любой наш самолет, следующий за границу, сопровождают два истребите-



ля, но из иллюминаторов их не видно, потому что один летит сверху, а второй снизу, под фюзеляжем.

— Не боитесь летать? — спросил я свою соседку, щелкая пристегнутым ремнем.

— Нет, — ответила она, что-то озабоченно выискивая в своей сумочке.

— Может быть, хотите к окну? — самоотверженно предложил я.

— Нет, спасибо, я боюсь высоты...

Стюардесса походкой, напоминающей манекенщицу и моряка одновременно, прошла вдоль рядов, проверяя, кто как пристегнулся.

— Ему плохо? — спросила она, остановившись возле расставшегося Поэта-метеориста.

— Ему хорошо! — успокоил Спецкор.

Самолет, беспомощно потряхивая длинным крылом, пополз к взлетной полосе. Радиоголос сначала по-русски, а потом по-французски поприветствовал нас на борту авиалайнера «Ильюшин-62». И я вспомнил, что на внутренних линиях говорят почему-то просто — «ИЛ-62»... Потом стюардесса показывала, как в случае чего нужно пользоваться оранжевым спасательным жилетом, хотя, конечно, отличные летные качества лайнера гарантируют полную безопасность.

— В каждом жилете в непромокаемом пакете по сто долларов, — объявил Спецкор. — На случай непредвиденных расходов...

— Уй, ты! — восхитилась Пейзанка.

...Наконец мы вырулили на взлетную полосу, несколько мгновений простояли неподвижно и вдруг рванули вперед так, что задребезжали откидные столики и с треском стали открываться крышки багажных антресолей.

— Истребители взлетают вместе с нами? — спросила доверчивая Пейзанка.

— Нет, с Шереметьево-1, — объяснил Спецкор.

Дребезжание прекратилось.

— Летим! — вздохнул Торгонавт и вытер лицо шейным платком.

— Взлет — это лишь повод для посадки! — успокоил его Спецкор.

Я глянул в иллюминатор: внизу виднелись лес из крошечных декоративных деревьев (как на японской выставке растений), поселки из кукольных домиков и малюсенькие автомобильчики, наподобие тех, что начала недавно коллекционировать Вика, окончательно забросив собирание кошачьих фотографий. Решив поделиться своими наблюдениями, я повернулся к Алле с Филиала: в ее глазах было отчаяние.

— Я забыла фотографию! — пожаловалась она.

— Чью? — спросил я, подразумевая, конечно, Печковского.

— Моего сына...

(Продолжение следует)



ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

НОВЕЙШИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ

учебный центр «РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ»

- АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРСАНТОВ И СЕКРЕТАРЕЙ-РЕФЕРЕНТОВ. СРОК ОБУЧЕНИЯ — 8 МЕСЯЦЕВ.
- ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО АНГЛИЙСКОМУ, НЕМЕЦКОМУ И ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКАМ. СРОК ОБУЧЕНИЯ — 8 МЕСЯЦЕВ.
- РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ. СРОК ОБУЧЕНИЯ НА ОДНОМ ЦИКЛЕ ОТ 2 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСОВ ВЫДАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЗАЯВКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:  
121069, Москва, ул. Воровского, д. 14  
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «Реальные знания»

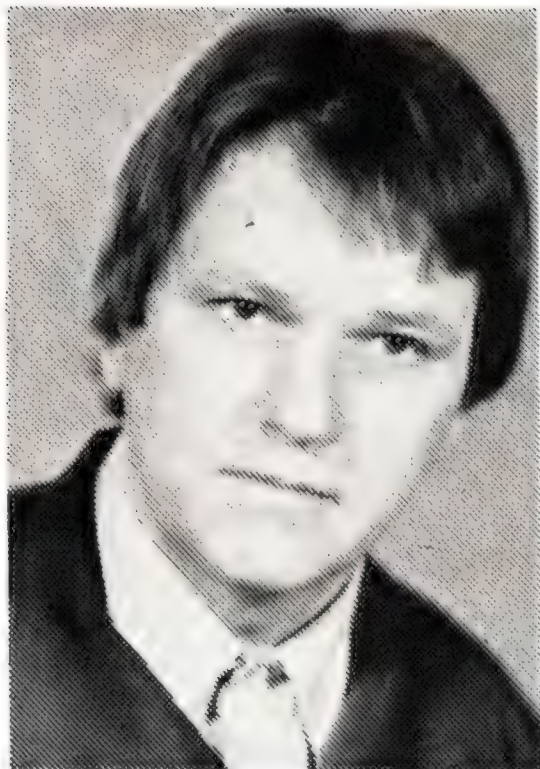
ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ



РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

тел:  
2919587, 3180166  
3614836, 1642722





Николай  
ДМИТРИЕВ

## Дни литературы

Орловщина. Тургеневские дни.  
Коробится фанерная трибуна.  
Рубашку дождик прилепил к спине,  
А слева нарисованный Тургенев  
О чем-то плачет.  
Надо выступать.  
Но не дает он, плачущий беззвучно  
И беспрерывно. А народ течет.  
Обронишь фразу, глядь: другие лица,  
Как будто это — смена поколений;  
А ты — пророк, бичуемый дождем.

Нет, нынче столько рухнуло пророчеств,  
Что лучше — палец приложить к губам.

О чем ты плачешь, классик?  
О Муму?  
О том, что драму тощей собачонки  
Оплакать нашим детям не дано?  
(Я слышал: во дворе московской школы  
Устроена собачья живодерня,  
И ежедневно души братьев меньших  
Уносятся к созвездью Гончих Псов.)

А может, о степеннейшем Хоре,  
В тридцать (каком?) за лишнюю телушку  
Запихнутом в ознобную теплушку  
И сгнившем в ссылке, в глиняной норе?  
А может, о Базарове, решившем  
Природы храм пустить под мастерскую  
И подарившем правнукам Чернобыль  
И смертные кислотные дожди?

Но грянул гром. И всех смело отсюда,  
И понял я, что скорбные вопросы  
Ни в чьей не угнездились голове.

Потом, чтоб не сломать железный график,  
Уселась наша группа в теплый «рафик»  
И на колхозном вылезла току.  
Успеха там добиться, чтоб вы знали,  
Трудней гораздо, чем в Колонном зале  
(На Библии поклясться я могу).

Полулежали бабы под навесом,  
Как лепестки ромашки почерневшей,  
Им было чуть за тридцать всем, пожалуй,  
А может быть, чуть-чуть за пятьдесят.  
Зажмурившись, поэт орловский Крохин  
Решил спасти сие мероприятие,  
Он сыпал прибаутками умело,  
Соперничая с дедом Шукарем.  
Но бабы лишь чуть-чуть поулыбались  
Растресканными серыми губами.  
— У них вчера корова утонула,—  
Шепнул мужик, стыдящийся за нас.

И тут я от отчаянья, наверно,  
Некрасова прочел — про столб гудящий  
И жалящий,  
И кислый квас, и крик  
Младенца у соседней полосы.  
Что началось!

— Спасибо вам, спасибо,  
Как правильно вы описали нас!  
Вы разве заезжали к нам и раньше?  
...Иронию ищу в глазах, но слезы  
Людей, себя узнавших, нахожу.

О классика! Всегда была ты рядом,  
За нас молилась, предостерегала,  
Но словно бы в четвертом измерении  
Была всегда: у сердца и — вдали.

Ты в ужасе детей своих незрячих,  
Неслышащих повсюду окликала,  
А век жестокий меж тобой и ними  
Расчетливо копал огромный ров.  
Но — мост явился.  
Миллионы трупов  
Без всяких инженерных ухищрений  
Его образовали. И теперь  
Торопимся назад — к вершинам духа.

Помимо рва — еще канавы были,  
Я сам края одной такой бороздки  
Учительским дипломом, как совочком,  
Подравнивал — от лени души.  
Учительствовал, к счастью, я недолго,  
Но все ж нарушил, как тут ни крути,  
Из чувства ложно понятого долга  
Святой завет врача:  
«Не навреди!»

Вот две мои стыдобинки оттуда,  
Я их вслепую вытащил сейчас:  
— Пульхерия Ивановна, простите,  
Что заклеил я Вас перед детьми.  
Считались Вы господствующим классом  
Без ощущения классовой вины,  
Хоть и тогда, конечно же, представить  
Вас на Сенатской площади не мог.  
Вы с мужем просто жили друг для друга,  
С годами понял я, как это много,  
И умер он не от переедания —  
От ужаса потери, от любви.  
Творилось что-то у меня со слухом,—  
Ведь старый сад шумел как раз об этом  
С великих и непонятых страниц.  
Я думаю, что Гоголь плакал даже,  
Дописывая строки этой драмы,—  
В конце все фразы чуточку дрожат.

...Прости и ты, Иудушка. Хоть дико  
Звучит вот это словосочетанье.  
Кощунственно! Иудушка, прости.  
Взвалил Щедрин всю мерзость человечью  
На хилого, плюгавого тебя.  
И ты заковывал под этой ношей,  
И ты служил плевательницей мне,  
Пока я не нашел святую фразу,  
Мигнувшую болотным огоньком:  
— О бедная моя, тебя я мучил! —  
В секунду 300000 километров  
Проходит свет. И весь роман промозглый  
Пронзило тем признанием навек.  
И кто простить Иудушку не может —  
Сам носит срам сокрытого греха.

...Я мог бы этот список продолжать,  
Но что-то губы начали дрожать.

Да, я отвлекся. Знаю, нынче модно  
В грудь колотить и каяться, но нет —  
Я в грудь стучу, чтоб внутренняя боль  
На внешнюю немного отвлекалась.

Мне памятны тургеневские дни.  
Нам надо землю очищать, и воду,  
И воздух — чтобы «Бежин луг» понять,  
И душу — чтоб и над Муму рыдать.

Пора, пора — какие наши годы!

г. Балашиха, Московская обл.





коммерческое представительство

# КРЕДО-АСПЕК

СП „АСПЕК“

СССР - ИСПАНИЯ

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НА ЛЬГОТНЫХ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ:

- НОВЕЙШИЕ ФИЛЬМЫ — СОВЕТСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ — НА ЛЮБОЙ ВКУС  
С ГАРАНТИЕЙ ИХ ПРОКАТНОГО УСПЕХА
- ВСЕ ВИДЫ КИНОРЕКЛАМЫ И ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

**ПОМНИТЕ !**

«Кредо-Аспект» — это оперативность и точность в выполнении обязательств !

*Это ваш коммерческий успех!*



121883 Москва пр-т Калинина 19

тел. 291-72-69, 291-73-70





Василий АКСЕНОВ

# МОСКОВСКАЯ САГА

Вадим Вуйнович, придерживая хлопающий по бедру планшет, стремительно сбегал по лестнице навстречу только что подъехавшим Базилевичу и двум его помощникам из штаба Московского Военного Округа.

— Разрешите доложить, товарищ Базилевич. Нарком принял решение идти на операцию. Предложение Политбюро подкреплено большинством консилиума. Сейчас уже идет подготовка...

Командующий МВО медленно, как будто желая сбить ритм запыхавшегося нервного комполка, растегивал шинель, обводил взглядом вестибюль, лестницу, окна, в которых в осенней серости выделялись черные стволы деревьев и белые полосы первого снега.

— Караулы ГПУ продублировать нашими людьми,— тихо сказал он одному из своих помощников.

— Есть,— последовал короткий ответ.

Вадим не смог скрыть вздоха облегчения. С приходом Базилевича ему показалось, что все еще может обойтись, мощная логика РККА скажет свое слово, и странная зловещая двусмысленность, собравшаяся под сводами Солдатёнской больницы, окажется лишь плодом его воображения.

К полуночи добрая половина гостей, то есть рес-



пектабельная публика, разъехалась с дачи Градовых, что навело неиссякающего тамаду Галактиона Гудиашили на новые грустные размышления о природе «старших братьев», россиян. «С пэчалю я смотрю на этих москвичей, какие-то, понимаешь, стали слишком европэйцы, прямо такие нэмцы, нэ умэют гулять», — говорил он, забыв свои недавние пассажи о скифских варварах. Все-таки он продолжал верховодить за опечаленным столом, стараясь хотя бы оставшихся напить допьяна.

Еще больше, чем респектабельная публика, огорчала дядю Галактиона молодежь: она и не разъехалась, и на великолепные напитки мало обращала внимания. Забыв о том, что молодость в жизни бывает только один раз («Только один раз, Мэри, дорогая, ты знаешь это не хуже меня»), молодежь сгрудилась на кухне и галдела, как кинто на базаре, спорила по вопросам осточертевшей всем народам средиземноморского бассейна мировой революции.

Споры эти вспыхнули как бы стихийно, однако никто и не сомневался, что они вспыхнут. Было бы странно, если бы в конце концов не были забыты все второстепенности, флирт и вино, анекдоты, поэзия, театральные сплетни и если бы не вспыхнул на кухне — вот именно и непременно на кухне, среди немых тарелок — характерный для интеллектуальной, партийной и околопартийной молодежи спор на политические темы. Страстные революционеры тут были, разумеется, в полном и подавляющем большинстве, однако сколько голов, столько и разных путей для скорейшего достижения счастья человечества. «Органов» пока эта молодежь не так уж и боится, ибо полагает ЧК — ГПУ отрядом своей собственной власти, а потому можно и голосовые связки надрывать, и руками размахивать, и не скрывать симпатий к различным фракциям, к троцкистам ли с их «перманентной революцией», к какой-нибудь до сего вечера неизвестной «платформе Котова — Усаченко», к антибюрократической ли «новой оппозиции» и даже к «твердокаменным» сталинистам, которые при всей их унылости все-таки тоже ведь имеют право высказаться, ведь никому же нельзя зажимать глотку, ребята, ведь в этом-то как раз и состоит смысл партийной демократии.

Из общего шурум-бурума мы вытащим пока всего лишь несколько фраз и предложим читателю вообразить их гулкое эхо, проходящее по студенческим аудиториям того времени.

«...Пора покончить с нэпом, иначе мы задохнемся от сытости...»

«...Социализм погибнет без поддержки Европы!..»

«...Ваша Европа танцует чарльстон!..»

«...ЛЕФ — это фальшивые революционеры! Снобы! Эстеты!..»

«...Бухарин поет под дудку кулаков!..»

«...Слышали, братцы, в Мюнхене появилась партия «национал-большевиков»? Нет предела мелкобуржуазному вздору!..»

«...Почему от народа скрывают завещание Ленина? Сталин узурпирует власть!..»

«...Вы плететесь в хвосте троцкизма!..»

«...Лучше быть в хвосте у льва, чем в заднице у сапожника!..»

«...В старое время за такое бы по морде!..»

Время было пока еще «новое», и обошлось без мордобоя, хотя Ниночкин «пролетарский друг» Семен Савельевич Стройло не раз вожделенно взвешивал в руке непочатую банку «царских рыжиков».

Автоматически растирая щеткой кисти рук и предплечья, профессор Градов старался не смотреть на коллег. Впрочем, и остальные участники операции — Греков, Рагозин, Мартынов и Очкин —

мылись молча и самоуглубленно. Никому и в голову не приходило этой ночью демонстрировать какие-либо излюбленные «профессорские штучки» — юмор ли, мычание ли оперной арии, хмыканье, фуканье, все эти чудачества, до которых всегда были охочи московские светила, столь обожаемые средним, полностью женским хирургическим персоналом. Никогда еще в этих стенах не проходили антисептическую обработку одновременно пять крупнейших хирургов, и никогда еще здесь не было такого напряжения.

Из операционной вышли анестезиологи, доложили, что дача наркоза прошла нормально. Больной заснул. Градов, которому предстояло начать, то есть открыть брюшную полость наркома, распорядился, чтобы ни на минуту не прекращался контроль пульса и кровяного давления. Подготовлены ли все стимуляторы сердечно-сосудистой деятельности? Это главный аспект операции.

Он уже держал на весу руки в резиновых перчатках, когда Рагозин, тоже закончивший обработку, попросил его на секунду в сторону.

— Что с вами, Борис Никитич?

— Все в порядке, — пробормотал Градов.

— Вы мне сегодня не нравитесь, дорогой. У вас дрожат лицевые мышцы. У вас, кажется, и пальцы дрожат...

— Нет, нет, я в порядке. Помилуйте, ничего у меня не дрожит. Не стоит, право, перед началом операции... как-то странно... не очень-то этично...

— Да-да, — проговорил Рагозин, как бы разглядывая его лицо складку за складкой. — Пожалуй, вам не стоит, мой дорогой, непосредственно участвовать. Будьте рядом на случай чего-нибудь непредвиденного, а мы начнем, помолясь...

«Боже, — подумал Градов, — не участвовать в этом». Ничего толком не понимая, замороченный и растерянный, однако уже отстраненный от этого, освобожденный, он пожал плечами, стараясь не выказать своих эмоций.

— Что ж, вы начальник. Прикажете размыться?

— Э, нет, батенька! — жестко проговорил Рагозин. — Начальников здесь нет. Мы все, и вы тоже, равноправные участники операции. Будьте наготове!

Градов сел на диван в углу предоперационной, откинул голову и закрыл глаза. Он уже не видел, как четверо хирургов, держа на весу «обработанные» руки, будто жрецы какого-то древнего культа, проходили за матовое стекло.

К концу ночи молодежь, персон не менее дюжины, отправилась на берег Москвы-реки. Под ногами хрустели льдинки мелких лужиц. Меж соснами, в прозрачном космосе еще пылали звезды, стоял «и месяц, золотой и юный, ни дней не знающий, ни лет...».

— Я слышал, он читал это недавно в Доме архитекторов, — сказал Степан Калистратов.

— А помнишь, там же! — вскричала Нина. — Никогда не забуду этот голос... «Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...» Семен, ты слышишь, Сема?!

Она как бы влекла под руку, как бы тащила, все время теребила своего долбоватого избранника Стройло, а тот как бы снисходил, как бы просто давал себя влечь, хотя временами Нинины порывы сбивали его шаг и переводили в какую-то недостойную пролетария трусцу. То кочки, то лужи под ногами, чего поперлись на реку, корни какие-то, стихи этого Мандельштама, бзики профессорских детишек...

— Что это за таборы, капоры, ребусы какие-то, — пробасил он.

— Ну, Семка! — огорченно заскулила Нина. — Это же гений, гений...



— Семен, пожалуй, прав,— сказал Савва Китайгородский. Он шел в длинном черном пальто, накрахмаленная рубашка светилась в ночи.— Черемуха и снег, как-то не сочетается...

Какое великодушие к сопернику, лукаво и радостно подумала Нина и крикнула идущему впереди Калистратову:

— А ты как считаешь, Степа?

— С ослами вступать в полемику не желаю! — сказал не оборачиваясь поэт.

У Нины едва ли не перехватило горло от остроты момента. Эти трое, все они влюблены, все это игра вокруг нее, все это... Она отпустила руку Семена, побежала вперед и первая достигла обрыва.

Внизу серебрилась и слегка подзолочивалась излучина реки. За ней в предрассветных сумерках обозначились редкие огни Хорошева и Сокола. До рассвета еще было далеко, однако дальние крыши и колокольни Москвы уже образовали четкий контур, а это означало, что первый день ноября 1925 года будет залит огромным светом нечастого гостя России — звезды, именуемой Солнцем.

Нина обернулась к подходящей группе. Вот они приближаются, влюбленные и друзья: Семка, Степа, Савва, Любка Фогельман, Миша Канторович, брат Кирилл, кузены Отари и Нугзар, Олечка Лазейкина, Цилия Розенблюм, Мариам Бек-Назар... Их лица отчетливо видны, освещенные то ли луной, то ли предстоящим восходом, то ли просто юностью и революцией. «Какое счастье,— хотелось закричать Нине Градовой,— какое счастье, что именно сейчас! Что все это со мной именно сейчас! Что это я... именно сейчас!»

Утро застало их в окрестностях парка Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии, на Инвалидном рынке. Хохоча, пили квас, когда вдруг захрипел на столбе раструб радиорепродуктора. Сквозь хрипы наконец пробилось: «Гражданам Советского Союза...» Послышались какие-то какофонические шумы, постепенно оформляющиеся в траурную мелодию «Гибели богов» Вагнера. Наконец началось чтение:

«...Обращение ЦК РКП(б)... Ко всем членам партии, ко всем рабочим и крестьянам...

...Не раз и не два уходил товарищ Фрунзе от смертельной опасности. Не раз и не два смерть заносила над ним свою косу. Он ушел невредимым из героических битв гражданской войны и всю свою кипучую энергию, весь свой созидательный размах отдал делу строительства нашей победоносной Красной Армии...

...И теперь он, поседевший боец, ушел от нас навсегда... Умер большой революционер-коммунист... Умер наш славный боевой товарищ...»

— Кирилл! — закричала Нина брату.— Быстрее! Вон трамвай! Домой! Домой!

Так и всегда, при всех поворотах истории и судьбы, Градовы пытались прежде всего броситься домой и собраться вместе. Только позднее, в тридцатых, дом стал казаться им не крепостью, но западней.

Борис Никитович стоял на крыльце хирургического корпуса в ожидании машины. Его била дрожь, как будто в страшном похмелье, он боялся окинуть взглядом это неожиданно золотое утро. Уже на лестнице его догоняли какие-то люди, в халатах и без оных, совали на подпись какие-то листки все новых и новых протоколов. Он все подписывал, не читая, думал только об одном — домой, скорей домой.

Подошла машина, из нее выпрыгнул красноармеец. Прошел комполка Вуйнович. Градова будто качнула волна от его мощного и враждебного тела. Послышался голос:

— Фокин, отвезешь домой это дерьмо!

## Антракт первый. ГАЗЕТЫ.

...затемнение сознания началось за 40 минут до кончины. Смерть произошла от паралича сердца после операции...

...Образована похоронная комиссия в составе: тт. Енукидзе, Уншлихт, Бубнов, Любимов, Михайлов...

...в лице покойного сошел в могилу виднейший член правительства...

...Состоялось заседание Реввоенсовета, председательствовал заместитель тов. Фрунзе Уншлихт, присутствовали члены РВС Ворошилов, Каменев, Бубнов, Буденный, Орджоникидзе, Лашевич, Баранов, Зоф, Егоров, Затонский, Элиава, Хадыр-Алиев...

...в Кронштадте и Севастополе салют произвести из береговых батарей и судовых орудий, в первом — 50 выстрелов, во втором — 25...

...в похоронной церемонии участвовать отряду комполитсостава, авиаотряду МВО и Первой сводной роте Балтфлота. Ответственный — комкор XVII тов. Фабрициус...

...Унынию не должно быть места! Теснее ряды!..

Из протокола вскрытия: в брюшной полости 200 см<sup>3</sup> слегка кровянистой, гноевидной жидкости... Бактериоскопически обнаружен стрептококк... Анатомический диагноз: зажившая круглая язва 12-перстной кишки... Острое гнойное воспаление брюшины... Ненормально большая зубная железа... Операция вызвала обострение хронического воспалительного процесса, тянувшегося с 1916 года после аппендэктомии, что в сочетании с нестойкостью организма в отношении наркоза вызвало быстрый упадок сердечно-сосудистой деятельности и смертельный исход.

Кровотечения последнего времени были следствием поверхностных изъязвлений.

Проводил вскрытие профессор А. И. Абрикосов...

...Телеграмма тов. Троцкого ЦК партии: «Потрясен! Какая жестокая брешь в первой шеренге партии! Какой страшный удар к восьмой годовщине Октября!..»

...После бальзамирования тело перенесено в конференц-залу... В почетном карауле генштабисты, близкие товарищи Рыков, Каменев, Сталин, Зиновьев, Молотов... Охрану несут курсанты школы ВЦИК...

...Соболезнования — японского посольства, исполняющего обязанности турецкого военного атташе г-на Беды-Бей, эстонского военного атташе г-на Курска...

Н. Бухарин: ...Воплощенная мягкость, Фрунзе был громовым полководцем...

С. Зорин: ...Светящийся след...

М. Кольцов: ...Ядро большевистской гвардии несет неизгладимый отпечаток царского преследования... ЦК должен обратить серьезное внимание на редкие ряды...

...Ввиду интереса публики и в связи с разговорами об операции печатаем выписки из истории болезни...

...Консультации шли непрерывно, начиная с 8 октября, при участии Н. А. Семашко, Бурденко, Градова, Мартынова, Рагозина, Ланга, Канеля, Крамера, Левина, Плетнева, Обросова, Александрова и других профессоров... Наклонность к кровотечениям требовала оперативного вмешательства...

...подъезжают автомобили. Вот приехал китайский генералиссимус Ху Хань-Минь... делегации заводов... на крышке гроба золотое оружие... в Колонном зале весь состав Политбюро... «Гибель богов» сменяется «Интернационалом»... Второго ноября...



снег... речь Сталина: «...Товарищи, этот год был для нас проклятьем. Он вырвал из нашей среды целый ряд руководящих товарищей... Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу. К сожалению, не так легко и далеко не так просто поднимаются наши молодые товарищи на смену старым... Будем же верить, будем надеяться, что партия и рабочий класс примут все меры к тому, чтобы облегчить выковку новых товарищей на смену старым...»

Тухачевский: «...Дорогой, любимый друг!.. Я встретился с Михаилом Васильевичем в период развала Восточного фронта... Спокойствие, уверенность сквозили во всей славной фигуре тов. Фрунзе... Прощай!..»

...ЦИК СССР постановил назначить наркомом-военмором тов. Ворошилова; первый заместитель М. М. Лашевич, второй заместитель И. С. Уншлихт...

## Антракт второй. ПОЛЕТ СОВЫ.

Четырехсотлетний Тохтамыш редко покидал насиженное гнездо под шатром Водовзводной башни. Казалось, одна была задача у старой птицы — пересидеть в сонливой задумчивости все эти столетия. С какой целью их следовало пересидывать, боюсь, ему (ей) самому (самой) было неведомо. И только тогда, когда в крепости вдруг ломался порядок дней, Тохтамыш по ночам вываливался через одному ему знакомую апертуру в поток московского воздуха и совершал облет стен, как бы желая удостовериться: устоят ли? Так и в ту ночь, уловив какой-то своей ускользнувшей от внимания орнитологии мембраной волнений новых князей, называемых комиссарами, Тохтамыш пустился в свой неслышимый, не ахти какой грациозный, однако исполненный онтологической уверенности полет.

Поднявшись саженей на полста — в воздухе, кроме пары заштатных ворон, никого не замечалось, пахло дымком, дерьмом, как обычно, пороху не учуял, — он описал широкий круг над своим пристанищем, потом, снижаясь, миновал Боровицкую, пролетел, если не проплыл, над Оружейной палатой и Потешным дворцом, приблизился к Арсеналу...

Все было тихо, вязко и сыровато, караулы на местах, двери на запорах, внешне ничто не выдавало волнения комиссаров, которое Тохтамыш уловил своей таинственной мембраной, и только во дворе Арсенала металось нечто.

Тохтамыш опустил на желоб водостока, брезгливо отвернулся от валявшегося там воробышного трупика — он уже лет сто пятьдесят не жрал падаль — и устоял на мечущемся нечто, а именно на здешнего придворного поэта Демьяна, который называл себя «бедным», хотя и был богаче многих.

Сыч уже видел как-то мельком этого человечка, невзлюбил его сразу и запомнил. Мышиную суетливость свою Демьян прикрывал, анамсыгымтуганда, революционной романтикой, бездарность виршей — актуальностью.

Чего же это он так мечется, будто барсук, нажравшийся волчьей ягоды? Ах да, вдохновение! В громовые дни набега, еще в том, прежнем обличье, Тохтамыш отличался остротой слуха. Сейчас он попробовал к ней вернуться и уловил бормотание.

«...Друг, милый друг... — бормотал Демьян, заламывая руки и подымая горé мясистое лицо, то ли ища луну, то ли принимая два светящихся совиных глаза за ободряющее созвездие. — ...Давно ль?.. Так ясно вспоминаю (аю, аю, аю): Агитку настрочив в один присест (сест, сест, сест), Я врангелевский тебе читаю (аю, аю, аю) Манифест (фест, фест, фест)... Их фанге ан, я нашинаю... Как над противником смеялись мы вдвоем (ем, ем, ем)! Их фанге ан!.. Ну, до чего ж похоже (оже, оже, оже)! Ты весь сиял: у нас среди бойцов подъем (ем, ем, ем), Через недели две мы «нашина-

ем» тоже (оже, оже, оже)... Потом... мы на море смотрели в телескоп (коп, коп, коп)... Железною рукой в советские скрижали Вписал ты «Красный Перекоп» (коп, коп, коп)... А где же жали-жали-жали?..

...Потом, потом, сейчас главное — не упустить вдохновения, рифмы потом... И вот... неожиданно роковое свершилось что-то... Не пойму (му, му, му), Я к мертвому лицу склоняюсь твоему (му, му, му) и вижу пред собой лицо... какое? ...живое! (вое, вое, вое)... Стыдливо-целомудренный герой (рой, рой, рой), и скорбных мыслей рой (ой, ой, ой)... совсем неплохо, по-пушкински получается... нет сил облечь в слова прощального привета... звонить в «Правду» немедленно... (ета, ета, ета)...

Больше такого надругательства над ночными словосочетаниями Тохтамыш терпеть не мог и потому нырнул вниз, овеял поэта страшноватым крылом, дабы заткнулась грязная пасть.

## Глава третья. ЛЕЧЕНИЕ ШОПЕНОМ.

Год завершился в шелесте вечно двусмысленных газет, в грохоте все расширяющейся трамвайной сети Москвы, в кружении будто обугленных обитателей московского неба, во все нарастающих синкопах чарльстона, бросающего вызов триумфальному, хоть иногда и расползающемуся, словно мазут, гулу пролетарских труб.

Пришли снега, и сошли снега, накрылись и прошумели сады перед тем, как в начале октября 1926 года наше повествование вновь, вслед за молочницей Петровной, въехало на дачу Градовых в Серебряном Бору.

Двери всех комнат внизу открыты. Пусто, чисто, светло. Из библиотеки разносится Шопен. Мэри Вахтанговна играла, как всегда, бурно, с вдохновением, как бы придавая средневропейским равнинным пассажирам некое кавказское стаккато. Время от времени, однако, она бросала быстрые внимательные взгляды на мужа, который сидел в глубоком кресле, закрыв глаза ладонью.

Рядом с хозяином в классической позе молодого послушного пса сидел Пифагор. Его высокие уши тоже улавливали поток непротивных звуков. Иногда неслышно, в шерстяных носках проходила по комнатам Агаша, раскладывала по полкам чистое белье, поглядывала на хозяина, вытирала платочком уголки глаз.

Борис Никитович в щелку между пальцами созерцал вдохновенный профиль жены. «Странно, — думал он, — ее княжеский профиль меня никогда эротически не тревожил. Но вот когда она поворачивалась ко мне лицом, с этими высокими крестьянскими скулами и пухлыми губами... Почему я думаю об этом в прошедшем времени, мы еще молоды в конце концов, наши либидо еще...»

Молочница Петровна с тяжелыми бидонами, корзиной и ведром шумно размахалась дверьми и увидела утреннюю идиллию. «Ишь ты, — с умилением подумала она, — жив буржуй».

— Господь с тобой, тише, Петровна! — бросилась к ней Агаша. — Пошли, пошли на кухню!

На кухне, выгружая сметану и творог, Петровна поинтересовалась:

— Чего-сь тут у вас такое?

— Профессор музыкой лечится, — значительно пояснила Агаша.

— Простыл, что ли?

— Ах, Петровна, Петровна, — покачала головой утонченная Агаша.



— А мой-то от всего стаканом лечится,— вздохнула Петровна.— Не поможет стакан, второй берет. Тогда порядок.

— Ну, иди-иди, Петровна.

Сунув деньги, Агаша спровадила пышущую здоровьем и чистотой бабу за дверь, а сама остановилась у притолоки — внимать.

Мэри закончила концерт блестящим глissандо и встала.

— Как ты себя чувствуешь, Бо?

Борис Никитович тоже поднялся из кресла.

— Спасибо, Мэри! Ты же знаешь, мне этот прелюд всегда помогает.— Он подошел к жене и обнял ее за плечи, деликатнейшим образом стараясь повернуть ее к себе лицом. Мэри Вахтанговна уклонилась и показала в окно.

— Смотри, Пулково уже приехал!

От калитки к дому под пролетающими желтыми листьями не торопясь шел Леонид Валентинович Пулково в своем английском «шерлок-холмсовском» пальто.

— При всем своем разгильдяйстве Ленка всегда точен — улыбнулся профессор.

— Ну, отправляйтесь все гулять,— распорядилась Мэри Вахтанговна.— Пифагор, ты тоже идешь с папочкой.

Пес радостно закружился вокруг, временами, будто заяц, поджимая задние ноги.

Агаша уже стояла в дверях с пальто и шляпой для профессора.

— Позвольте напомнить, Боренька и Мэричка, Никитушка и Вероникочка к ужину прибывают прямо с вокзала,— сказала она.

— Да-да, Бо, ты не забыл? Через два часа у нас полный сбор,— строго, пытаясь сдержать какое-то экзотическое чувство цельности, произнесла Мэри Вахтанговна.

Пес не мог сдержать, очевидно, очень похожего чувства, подпрыгнул и лизнул хозяйку в подбородок.

— Да-да, Пифа, ты не забыл! — восхитилась она.— Я вижу, вижу! Напомни в крайнем случае своему папочке, если он вместо оздоравливающей прогулки вдруг отправится со своим другом на ипподром.

Весь прошедший год Борис Никитович, невзирая на сильнейшие приступы уныния, работал как оглашенный. За операционным столом он уже, по сути дела, не знал себе равных — то, что называется мастерством, давно ушло, уступив место высочайшему классу, виртуозности. Он и в самом деле ощущал себя с ланцетом и кохером в руках чем-то вроде дирижера и скрипача-солиста одновременно. В минуты вдохновения — да-да, он испытывал иной раз истинное хирургическое вдохновение! — ему казалось, что вся сфера жизни, находящаяся в эту минуту под его господством — ассистенты, сестры, инструменты, распростертый пациент,— в эту минуту вся жизнь улавливает не только его слова, хмыканья, покашливания, малейшие жесты, но и мысли, никак не выраженные, чтобы немедленно им подчиниться, и не ради подчинения, а ради общего согласного звучания, то есть гармонии. Лекции его всегда собирали битковую аудиторию.

Врачи из столичных клиник и из провинций ссорились со студентами из-за мест. Говорили, что даже университетские филологи приезжают якобы для того, чтобы удостовериться на его примере в жизнеспособности и идейной цельности сохранившейся части российской интеллигенции.

Еще большие успехи были достигнуты в теории и в создании школы. Статьи, направленные на развитие его оригинальной концепции хирургического вме-

шательства, вызывали немедленные живые дискуссии на заседаниях Общества и в печати, как отечественной, так и, да-с, зарубежной. Молодые врачи, идущие по его стопам, и среди них прежде всего талантливейший Савва Китайгородский, гордо называли себя «градовцами». Словом... да что там... как бы там ни было... ах, черт возьми...

Кто из этих «градовцев», кроме, может быть, Саввы, когда-либо догадывался, что их кумир время от времени со стоном и скрежетом зубовым валится на диван, набок, скатывается по кожаной наклонности на ковер, стоит там на коленях, дико исподлобья оглядывает углы, умоляюще вскидывает бородку к потолку, будто ищет икону, коих по наследственному позитивизму уж, почитай, столетие Градовы в доме не держат. Еще и еще раз спрашивает он себя: что же тогда произошло в Солдатёнской больнице? «Ничего не произошло, я просто был отстранен, со мной не считались,— говорит он себе сначала в дерзкой гордыне,— как угодно, мол, думайте, Ваша Честь Верховный Судия, но я себя ни лжецом, ни трусом не признаю».

Повыв, однако, немного и подергавшись, и если Мэри вовремя не войдет и не ринется к роялю, он начинает сдавать позиции. Ну, спраздновал труса, да; ну, испугался «чека», но кто ж этих извергов не боится, ну... Ну вот и все, Милосердный! И только на третьей фазе, опять же если Мэри умудрится прохлопать развитие кризиса, Борис Никитович позволял себе кое-какое рукоприкладство по отношению к своему гардеробу — то рубашку рванет на груди, как кронштадтский матрос, то располосует жилет — и громко выкликает: «Соучастник! Соучастник!»

Да, в эти минуты он себя полагал прямым соучастником убийства главкома Фрунзе, и тут уж Мэри непременно появлялась с настойкой брома, со своей теплой грудью и со спасительным Шопеном.

И не потому, конечно, так казнился Борис Никитович, что убит был нарком, герой, могучий человек государства — ничем он был не лучше их всех, такой же изверг, расстреливал пленных,— а потому, что это был пациент, святое для врачебной совести тело.

К счастью, приступы такой несправедливости, вот именно несправедливости по отношению к самому себе становились все реже. В спокойные же дни, если и вспоминал профессор Градов про ту октябрьскую ночь прошлого года, то думал только о том, что же фактически сделали Рагозин и другие, чтобы отправить комиссара в нереальные реальности. Даже и сейчас, невзирая на почти неприкрытый цинизм этих людей, коему он был свидетель, он не мог допустить, что кто-нибудь из коллег оказался способен попросту, скажем, пересечь артерию. Ведь не буденновцы все-таки, врачи же все-таки, врачи!

Звенел отдаленный трамвай. Счастливые дети проskalывали на велосипедах. Менее счастливые, но тоже счастливые донельзя, разгоняли самодельные самокаты. К небу взлетает грай грачей, мгновенно порождая вихрь листопада.

Два друга с гимназических лет, профессора Борис Никитович Градов и Леонид Валентинович Пулково, прогуливаются в классическом стиле московской интеллигенции — шляпы чуть сдвинуты назад, пальто расстегнуты, руки за спиной, лица освещены мыслью и обоюдной симпатией. Они то идут вдоль долгих заборов, то удаляются в рощи, то выходят к трамвайной линии и тогда подзывают Пифагора — он тут же подсказывает с раскрытой лукавой пастью — и берут его на поводок.

— Да, Бо,— чуть приостановился Пулково.— Третьего дня натолкнулся в «Вечерке» на сообщение



о тебе. Что же ты не хвастаешься? Назначен главным хирургом РККА! Ну, не гигант ли?

Градов слегка поморщился, однако принял предложенный гимназический тон.

— Да-с, милостисдарь, мы теперь в генеральских чинах, не вам чета. Мое превосходительство! Ты, жалкий физик, не можешь велосипеда себе купить, а у меня персоналка с шофером-красноармейцем! Слопал? На здоровье!

Пулково залез безил вокруг с услужливой шляпой подхалима.

— Мы, ваше превосходительство, это дело даже очень понимаем и уважаем, с нашим полным уважением...

Градов вдруг остановился и сердито ткнул тростью в ствол ближайшей сосны.

— Я знаю, что ты имеешь в виду, Лё! Эти мои внезапные выдвижения последнего года! Вчера еще без всяких чинов, а нынче уже и завкафедрой, и главный консультант наркомздрава, вот теперь и РККА...— Он все больше волновался и обращался уже вроде бы не к своему закадычному «Лё», а будто бросал вызов некоей большой аудитории.— Ты, надеюсь, понимаешь, что мне плевать на эти чины?! Я всего лишь врач, только лишь русский врач, как мой отец, и дед, и прадед! Ничего дурного я не сделал, решительно ничего героического, но я всего лишь врач, а не... не...

Пулково ухватил друга под руку, повлек дальше по пустынной аллее. Слева уже кружил, подпрыгивая и заглядывая в лицо, Пифагор.

— Ну, что ты так разволновался, Бо? От тебя не героизма ждут, а добра, помощи...

Градов с благодарностью посмотрел на Пулково — этот всегда найдет нужное слово.

— Вот именно,— сказал он уже мягче.— Вот только оттого я и принимаю эти посты, ради больных. Ради медицины, Лё, ты понимаешь, и, в частности, ради продвижения моей системы местной анестезии при полостных операциях. Ты понимаешь, как это важно?

— Объясни, пожалуйста,— серьезно, как ученый ученому, сказал Пулково.

Градов мгновенно увлекся, в лучших традициях ухватил друга за пуговицу, потащил.

— Понимаешь, общий наркоз, во всяком случае, в том виде, как он сейчас у нас применяется, весьма опасная штука. Малейшая передозировка, и последствия могут быть...— Он вдруг осекся, будто пораженный догадкой — ...малейшая передозировка и...— Он оперся плечом о ствол сосны и тяжело задышал.

«Как это я раньше не догадался,— думал он.— Эфир в смеси с хлороформом. Вогнали в своего командарма лишнюю бутылку проклятушей смеси, и дело было сделано. Да-да, припоминаю, тогда еще мелькнуло, что пахнет эфиром сильнее, чем обычно, но...»

Теперь уже опять Пулково тянул его.

— Ну, пойдем, пойдем, Бо! Давай-ка просто подышим, помаршируем, разомнем старые кости!

Не менее четверти часа они быстро шли по просеке и не разговаривали. Потом свернули в редкий березняк и разошлись среди высоких белых стволов. Пифагор сновал между ними, как бы поддерживая коммуникацию. Вскоре, впрочем, и другая коммуникация возникла, звуковая. Ее завел Леонид Валентинович, явно напоминая Борису Никитовичу те времена, когда они, гимназисты, вот так же бродили по лесу, время от времени затевая оперные дуэты.

— Дай руку мне, красотка,— гулким басом запрашивал Пулково.

— Нет, вам не даст красотка,— тенорком ответил Градов, ну, сущий Собинов.

Лес вскоре кончился. Оказавшись на обрыве над Москвой-рекой, они пошли по его краю в сторону дома. Пулково, как с чувством выполненного долга — находился, мол, надышался,— теперь раскуривал трубочку.

— Ну, а что у тебя, Лё? — спросил Градов.

— Со мной происходят странные вещи,— усмехнулся Пулково.— С некоторого времени стал замечать за собой хвост.

— Хвост женщин, как всегда? — тепло улыбнулся Градов. Вечный холостяк, физик пользовался в их кругу устойчивой репутацией сердееда, хотя никто не мог бы вспомнить никаких особенных фактов сердеедства с его стороны.

— Если бы женщины,— усмехнулся снова Пулково.— Пока что за мной ходят мужчины с явным отпечатком Лубянки на лицах. Впрочем, может быть, у них есть и женщины для этой цели.

— Они! Опять они! — воскликнул Градов.— Какого черта им надо от тебя, Лё?

Физик пожал плечами.

— Просто понятия не имею. Неужто моя поездка в Англию, переписка с Резерфордом? Право, смешно. Кого в ГПУ интересуют теоремы атомного ядра?

Борис Никитович посмотрел сбоку на своего всегда такого уверенного в себе и ироничного друга и вдруг подумал, что у того, возможно, нет никого ближе, чем он, на свете.

— Слушай, Лё, хочешь я поговорю с кем-нибудь там у них, наверху, попытаюсь узнать?

— Нет-нет, Бо, не нужно... Я, собственно, просто так тебе сказал. Ну, на всякий пожарный...

— Слушай, Лё, почему бы тебе к нам не переехать? Скажем, на полгода? Пусть они увидят, что ты не один, что у тебя большая семья.

Леонид Валентинович растроганно положил руку на плечо друга.

— Спасибо, Бо, но это уж лишнее. Сейчас все-таки не военный коммунизм.

Вечером на даче состоялся один из тех ужинов, что становились как бы вехами в жизни маленького клана — полный сбор. Чаще всего он объявлялся в связи с приездом из Минска комбрига Никиты и Вероники; однако возможность всем увидаться была только внешним поводом. Каждый понимал, что главная ценность «полного сбора» состоит в проверке прочности основ, в оживлении того чувства цельности, от которого у мамы Мэри иногда просто перехватывало дыхание.

Итак, все уже, или почти все, собрались вокруг стола, нет только Нинки; егоза, разумеется, опаздывает.

— Где же эта чертова Нинка? — надувает губы капризная Вероника.

Красавица за истекший год весьма раздулась, еле помещается в широченном, специально сшитом полесском платье. Губы и нос у нее припухли, каждую минуту она готова заплакать.

«Я старше Нинки на каких-нибудь несколько лет,— думает она,— а вот сижу тут брюхатая, как деревенская дура, а Нинка небось где-нибудь слушает Пастернака или у Мейерхольда крутится... И все Никита, это все он, эгоист противный...»

Борис Никитович, сияя, потянулся к невестке, кольнул бородашкой в щеку, поднял бокал, обращаясь к ее огромному животу.

— Уважаемый сэр Борис Четвертый! Надеюсь, вы меня слышите и готовы подтвердить, что в отличие от нынешнего поколения революционеров вы собираетесь восстановить и продолжить градовскую династию врачей!



Вероника скривила рот — шутка тестя показалась ей тошнотворней всей расставленной на столе великолепной кулинарии. Никита встревоженно к ней повернулся, но она все же преодолела отвращение и вдруг неожиданно для себя ответила тестю вполне сносной, в позитивном ключе, шуткой же:

— Он спрашивает, в какой медицинский институт поступать, в Московский или Ленинградский?

Все вокруг замечательно захохотали.

— Что за вопрос?! — грозно взревел Борис III, то есть профессор Градов. — В мой институт, конечно, к деду под крыло!

Все стали шумно чокаться и закусывать, а Вероника, опять же к полному собственному изумлению, вдруг взалкала маринованных помидоров и придвинула к себе целое блюдо.

Тут захлопали входные двери, протопали быстрые шаги, и в столовую вбежала Нина; темно-каштановые волосы растрепаны, ярко-синие глаза пылают в застойном юношеском вдохновении, воротник пальто поднят, под мышкой портфель, на плече рюкзак с книгами.

— Привет, семейство!

Взвизгнув, бросилась к Веронике, поцелуй в губки и животик, плюхнулась на коленки к брату-командиру, с трагической серьезностью пожала руку брату-партизану — «Наше вам, товарищи твердокаменные!» — будто английская леди протянула руку для поцелуя Леониду Валентиновичу Пулково и, наконец, всех остальных одарила поцелуями. Самый нежный поцелуй достался, конечно, Пифочке, Пифагору.

— Хотя бы по случаю приезда брата могла прийти вовремя, — проворчала Мэри Вахтанговна.

Нина, еще не отдышавшись то ли от бега, то ли от буффонады, а может быть, от «исторического возбуждения», вытащила из рюкзака свежий номер «Нового мира», швырнула его на стол — пироги подпрыгнули.

— Ну-с, каково?! В городе дикий скандал! Сталинысты рычат от ярости. Вообразите, ребята, весь тираж «Нового мира» с «Непогашенной луной» конфискован! Совсем с ума посходили! У них почва уходит из-под ног, вот в чем дело!

Все собравшиеся улыбались, глядя на возбужденную девчонку. Даже мама Мэри хмурилась только притворно, с трудом скрывая обожание. Всерьез хмурился лишь Кирилл. Он сурово постукивал пальцами по столу и смотрел на сестру суженными глазами, едва ли не в стиле следователей ГПУ.

Нина же с изумлением вдруг поняла, что присутствующие «не в курсе». То, что буквально ярило факультет да и вообще всю «молодую Москву» здесь, в Серебряном Бору, было лишь каким-то отдаленным звуком, вроде погромохивания трамвая.

— Позвольте узнать, мисс, что это за «Луна», что наделала такого шуму? — поинтересовался Пулково.

— Повесть Пильняка, неужели не слышали?

— А о чем эта повесть, малыш? — спросил отец.

— Ну, вы даете, народы! — захохотала Нина. — Помните, прошлой осенью? Смерть командарма Фрунзе в Солдатёнской больнице? Ну вот, я еще не читала, но повесть именно об этом. Пильняк намекает на подозрительные обстоятельства...

Она осеклась, заметив вдруг, что все лица за столом окаменели.

— Что такое с вами, народы?

За столом воцарилось неуклюжее молчание. Нина переводила взгляд с одного на другого. Отец сидел неподвижно, глаза его были закрыты. Мать тревожно смотрела на него, дрожащим голосом бормотала что-то растерянное, можно было уловить: «...какие, право, неуместные... странные... такой вздор... глупые сплетни...» Пулково застыл с не донесенной до рта

рюмочкой водки. Тихо поскуливал Пифагор. Агаша с поджатыми губами терла полотенцем совершенно чистое блюдо. Кирилл углубился в тарелку с винегретом. У Никиты на лице было написано почти открытое страдание. В глазах беременной красавицы быстро скапливалась влага.

Напряжение было прервано звонком в дверь. Агаша просеменила открывать и вернулась с дюжим и румяным военным. Тот стукнул каблуками, прямо по старорежимному, отдал честь, заорал:

— Младший командир Слабопетуховский! По вашему приказанию, товарищ профессор, машина из Первого военного госпиталя!

Борис Никитович посмотрел на часы, слабо вздохнул:

— Ой, уже половина восьмого, — встал, поцеловал Мэри Вахтанговну. — Я вернусь сразу после операции.

Младший командир Слабопетуховский направился к двери, на ходу подкрутив карикатурный ус, что-то шепнул тут же зардевшейся старой девушке Агафье. Профессор вышел за ним.

Мэри Вахтанговна резко поднялась из-за стола.

— Не вижу никакой необходимости! Нет ничего, что нуждается в объяснении! — Драматически сжав руки на груди, она быстро вышла из столовой.

Никита, шепнув сестре: «Поговорим завтра», — пошел вслед за матерью. Весело начавшийся ужин дымился в развалинах.

Кирилл как бы с некоторой брезгливостью кончиками пальцев оттолкнул от себя номер «Нового мира» и исподлобья уставился на Нину.

— Если этот клеветнический номер был запрещен, где ты его достала, позволь спросить?

Нина схватила журнал, выпалила прямо брату в лицо:

— Не твое дело, сталинский подголосок!

Кирилл совсем уже в партийном стиле шархнул кулаком по столу.

— Ты считаешь себя идейной троцкисткой?! Дура! Пиши лучше свои стишки и не лезь в оппозицию!

Отшвырнув стулья, оба молодых отпрыска Градовых вылетели из столовой в разные стороны.

Агаша, вскрикнув уже даже и не в стиле МХАТа, а прямо в своей природной замосквореченской, то есть Малого театра, манере, скрылась на кухне.

В полной растерянности разъехался четырьмя лапами по паркету Пифагор.

За недавно еще густонаселенным столом остались только Пулково и Вероника. Она приложила платок к глазам, стараясь не расплакаться, но потом высморкалась в этот же платок и неожиданно рассмеялась.

— Наш Кирка совсем уже очумел по партийной линии, — сказала она.

Пулково налил себе рюмочку и подцепил треугольничек соленого груздя.

— Мда-с, и всюду страсти роковые, — произнес он как раз то, что и должен был произнести холостяк-джентльмен, глядя на ссору в большом семействе.

Вероника улыбнулась ему, показывая, что помнит, как год назад в этом доме они едва ли не флиртовали.

— Вот видите, Леонид Валентинович, еще год назад здесь, помните, Мэричкин день рождения, я крутилась, кокетничала, а сейчас... — Она показала ладонями, будто крылышками, на живот. — Вот видите, как изуродовалась.

— Ваша красота, Вероника Александровна, немедленно восстановится после родов, — сказал он.

— Вы думаете? — совсем по-детски спросила она и тут же накуксилась. — Ох, какая я дура!

Пулково глянул на часы, встал прощаться, взял руку Вероники в обе ладони.

— Между прочим, я сейчас часто играю на би-



льярде с одним интересным военным, комполка Вадимом Георгиевичем Вуйновичем. Он нередко вспоминает вас с Никитой... вас особенно...

— Не говорите ему, что мы приехали! — воскликнула она.

В следующий момент оба вздрогнули: из кабинета начали разноситься бурные драматические пассажи рояля. Пифагор бросился к дверям, ударил в них передними лапами. Выскочила Агаша, схватила его за ошейник.

— Тише, Пифочка, тише! Теперь наша мамочка сами лечатся!

Мэри Вахтанговна музицировала весь остаток вечера. Нине в ее комнате наверху иногда казалось, что рояль обращается прямо к ней, то требует, то просит сойти вниз и объясниться. Она злилась на эти воображаемые призывы: сами что-то скрывают от нее, а потом устраивают сцены. Обвиняют в равнодушии, а самим наплевать на жизнь дочери! Разве хоть раз мать или отец, не говоря уже о братьях, спросили, что происходит в «Синей блузе», в «Лито», в отношениях с друзьями, с Семеном?... Все разговаривают с ней только каким-то раз навсегда усвоенным дурашливым тоном, как будто она не вырастет, не мучается проблемами революции. Да и что для них революция? Они просто счастливы, что она отходит на задний план в жизни страны, что прежняя их комфортная обыденщина так быстро восстанавливается. Чем, по сути дела, мои родители отличаются от нэпачей, от какого-нибудь Нариман-хана из «Московского Восточного общества взаимного кредита», о котором недавно писал Михаил Кольцов? Тот ликовал в своем банке под защитой швейцаров в зеленой униформе, здесь — дворянские фортепианные страдания, вечерние туалеты для выездов в оперу... «Нормальная жизнь» возвращается, какое счастье!

Не раздеваясь, она валялась на своей кровати, пытаясь читать «Повесть непогашенной луны», но не читалось никак, строки ускользали, набегали одна за другой досадные мысли: «Как-то не так я живу, что-то не то я делаю, почему я позволяю Семену так себя вести со мной, почему я стесняюсь своей романтики, своих стихов, почему я не откровенна сама с собой и не могу сказать себе, что на ячейке мне скучно, почему...»

Она заснула с открытой книжкой «Нового мира» на животе и очнулась только от шума подъезжающего автомобиля. Хлопнула калитка. Нина выглянула в окно и увидела своего любимого отца. Веселый, в распахнутом пальто, он шел в свете луны по тропинке к дому. Значит, операция прошла удачно. Стукнула дверь, застучали каблучки. Любимая мать пробежала навстречу мужу. Слышны их веселые голоса.

Нина погасила лампу, но продолжала сидеть, прижавшись лбом к стеклу. Луна парила в чистом небе над серебряноборскими соснами. По тропинке к дому теперь шествовал, поводя гвардейскими плечами, младший командир Слабопетуховский. Послышался его паровозный голос: «А я гляжу, печка-то у вас на кухне малость дымит, Агафья Власьевна».

«Ой, не говорите, товарищ Слабопетуховский! — отвечал пронзительный от счастья голос Агаши. — Не печь, а чистый бегемот! Сажень дров на неделю!»

Нина вытащила тоненькую книжечку Пастернака, открыла наугад и прочла:

**«Представьте дом, где пятен лишена  
И только шагом схожая с гепардом,  
В одной из крайних комнат тишина,  
Облапив шар, ложится под бильярдом».**

Тишина в конце концов действительно улеглась.

Сквозь дремоту Нине почудилось, что по соседству, в спальне родителей, кто-то занимается любовью. «Но этого же не может быть», — улыбнулась она и заснула.

## Глава четвертая. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ.

Неверное, бабье лето на утро обернулось сильным холодным дождем, лишенным какого-либо поэтического контекста. Кирилл Градов в кургузом пальтишке и рабочей кепчонке, спасая книги за пазухой, быстро шел по улице поселка к трамвайному кольцу. На полпути его догнала легковая машина. Рядом с водителем сидел старший брат, Никита, в полной форме комдива. Машина притормозила, Никита открыл дверь и пригласил Кирилла:

— Слушай, я еду в Наркомат. Садись, подвезу!

Не замедляя шага, Кирилл махнул рукой.

— Нет, спасибо! Я на трамвае!

Никита сделал знак шоферу, и автомобиль медленно поехал вровень с идущим. Красный командир с улыбкой смотрел на нахохленного парторботника.

— Перестань дурить, Кирка! Ты же промокнешь!

— Ничего, ничего, — пробормотал Кирилл и вдруг осерчал: — Езжайте, езжайте, Ваше Превосходительство! Мы к генеральским авто не приучены!

Никита тогда тоже немного разозлился.

— Ух ты, какие гордые нынче у нас марксисты! Да ведь ты и сам сейчас в ранге градоначальника, шутила ли, второй секретарь Краснопресненского райкома!

Не ответив, Кирилл резко свернул за угол. Шофер посмотрел на комдива: прямо или направо? Никита показал — езжайте за ним! Автомобиль повернул за Кириллом; невзначай пересек большую лужу, обдав идущего мутной водой. Никита не поленился наловину вылезти и встать правой ногой на подножку.

— Послушай, Кирка, я давно тебе хотел сказать. Зачем ты культивируешь этот псевдопролетарский стиль? Ну, где ты откопал этот пальтукан? Дома висят без дела по крайней мере три хороших драповых пальто, а ты ходишь в рогоже! Штаны у тебя на задку так вытерлись, что можно как в зеркало смотреться! Кому и что ты хочешь доказать?

— Ровным счетом ничего и решительно никому! — рявкнул в ответ младший брат. — Оставьте вы все меня в покое! Я получаю партмаксимум 123 рубля в месяц и должен одеваться и питаться в соответствии с этим. В партии еще сохранился здравый революционный смысл! Мы не пойдем за теми, кто внедряет в РККА дух старорежимного офицера!

Задетый за живое, Никита вызывающе захохотал. Он даже забыл о присутствии шофера с треугольниками в петлицах.

— Ха-ха, ты думаешь, твои любимые вожди такие же аскеты, как ты?

Кирилл ткнул в его сторону гневным указательным.

— Повторяешь мелкобуржуазные сплетни, комдив!

В этот момент в конце улицы появился трамвай, неся на борту рекламу известного лефовца Александра Родченко: «Не грустили, вкусно ели Макароны-Вермишели!» Не глядя больше на брата, Кирилл опрометью пропустил к кольцу. Никита сердито захлопнул дверцу машины. Проезжая мимо остановки, он смотрел, как граждане бросаются на вагон, стремясь захватить сидячие места. Признаться, он уже забыл, как это делается.

В сухую погоду в трамвае, несмотря на давку, все шелестят газетами, умудряются их разворачивать над головами или между ног. Нынче намокшие газеты не шелестели и не спешили разворачиваться, однако граждане все равно хорошо читали. Прогрессивные



иностранцы постоянно отмечают, что в СССР самая читающая публика. Кирилл недавно дискутировал вопрос о печати с помощником отца Саввой Китайгородским. Собственно говоря, он даже не дискутировал — что можно дискутировать с типичным буржуазным либералом? — а проверял на Савве правильность партийных установок.

Естественно, мусье Китайгородский недоволен. Чего стоят все послабления нэпа, если печать осталась в руках у правящей партии, если ни одна дореволюционная газета не восстановлена?

Вот чего они хотят: не только нэповских лавок, но разнузданной прессы. Значит, в этом направлении мы держим правильный курс. Никаких поблажек. Пресса, в этом отношении Троцкий прав, — острейшее оружие партии!

Кирилл стоял в углу трясущегося вагона, зажатый с трех сторон мокрыми, хмурыми пассажирами, такого же, как и у него, пролетарского обличья. Газетные заголовки маячили у него перед глазами. Пресса партии богата событиями. И очень хорошо, что они даются в партийной интерпретации: человека не бросают в одиночку на съедение факту, наоборот, учат человека потреблять факты, оценивать их с классовых позиций.

Расстрел за растрату; избирательного права лишены кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники; увеличивается экспорт леса; за покупку жилплощади — выселение; «Рычи, Китай!»; футбол: сборная сахарников и совторга бьет «Пролетарскую кузницу»; центральный аэродром им. т. Троцкого, новые аэропланы «Наркомвоенмор», «Л. Б. Красин», «Имени тов. Нетте», полет шара, аэронавт — слушатель академии воздухофлота тов. Федоров... Много, много фактов, жизнь в красной республике бурлит; вот еще — отповедь Пилсудскому; а вот вам и реклама — краски, хнабасма, тройной одеколон, вежетьаль... на потребу мешчанству...

Отвернувшись к окну, Кирилл вытащил свое чтение — толстую книгу. Он делал вид, что не замечает, как две его постоянные попутчицы, девчушки лет двадцати, совсем непротивные на вид секретарши-машинисточки, поглядывают на него и хихикают.

— Все-таки он очень хорошенький, не находишь? — сказала одна.

— Очень уж серьезный, — сказала другая. — Что же он читает? — Она вполне бесцеремонно заглянула Кириллу под локоть. — Ну и ну, «Учебник хинди»!

Кирилл молчал, стискивал зубы, хиндусские слова мельтешили перед ним без всякого смысла, будто только добавляя вздору в общий вздор вокруг его столь цельной личности: споры с Нинкой и Никиткой, мокрая, гнусная одежда, идиотизм газет, волнение и трусость от близости двух этих девиц.

Трамвай подходил к Песчаным, там пересадка. Пассажиры готовились еще к одной атаке.

Причина, по которой комдива Градова в этот раз вызвали в Москву, была, с его точки зрения, несколько надуманной. Новый наркомвоенмор Климент Ефремович Ворошилов делал большой доклад о современной военной стратегии, что ж, прекрасно, в добрый час, но зачем же отрывать такое количество командиров на местах от неотложных практических дел, в частности от отработки взаимодействия кавалерии и танкеток в условиях наступательных действий на лесостепной равнине? Да и в личном смысле эта поездка была в высшей степени не ко времени — Вероника на последнем месяце беременности. Никита надеялся, что она на этот раз останется в Минске под присмотром привычных и вполне опытных врачей окружного госпиталя, которые к тому же знали все

ее «бзики», но она и слышать ничего не хотела. «Упустить поездку в родную Москву, в бурлящую столицу, вырваться хоть на неделю из этого затхлого Минска; даже не думай об этом!»

Провинциальное прозябание, бессмысленная трата «лучших лет» были едва ли не главными темами их домашних разговоров. В лучшие дни он шутил с женой, называя ее «четвертой чеховской сестрой» с этим их вечным журавлиным кличем: «В Москву, в Москву!»; в худшие, когда она впадала в крошечный мрак, Никита иной раз попросту выскакивал из дома и отправлялся без всякого дела в штаб, где часто сидел в темном кабинете и отгонял свои собственные, кронштадтские мраки.

И вот теперь он сидит в большом конференц-зале Наркомата, смотрит на лоснящуюся физиономию докладчика, а думает только о жене, о том, что, не дай Бог, это начнется у нее в каких-нибудь Петровских линиях или в Лубянском пассаже, куда она, конечно же, отправилась инспектировать модные лавки.

Ворошилов, похоже, просто наслаждался своей ролью главнокомандующего, военного философа и стратега. Плотненький, цветущий, с маленькими, аккуратными усиками, он даже в своей идеальной, явно сшитой на заказ форме выглядел преуспевающим купчиком с Кузнецкого моста. При внимательном наблюдении в его лице со смышленными глазками можно было уловить промельки исключительной глупости. Время от времени, как бы напоминая себе, кто он такой, Климент Ефремович на мгновение застыл, фиксировал монументальность.

После лекции в коридоре Никиту окликнули трое храбрых командиров. Одного из них он сразу узнал — Охотников! Они обнялись. Охотников бросил взгляд на его петлицы:

— Ого, ты уже комдив, Никита!

— Вот уж не ожидал тебя увидеть, Яков, — сказал Никита. — Давно из Закавказья?

— Да я сейчас на курсах, в Академии. Набираюсь премудрости, — смеялся Охотников. — Знакомься с моими однокашниками. Аркадий Геллер, Володя Петенко.

По манере рукопожатий Никита с удовольствием опознал кадровых крепких бойцов.

— Очень рад. Позвольте, Аркадий, а вам не кажется, что мы уже встречались?

— Конечно, — сказал Геллер. — На Польском фронте, в октябре 1920-го. Бронепоезд «Гроза Октября».

— Совершенно верно! — воскликнул Никита.

Из конференц-зала в этот момент вышел в сопровождении высших чинов Ворошилов. Под мышкой у него была папка с только что прочитанным докладом. Круглая физиономия поворачивалась, очевидно, ожидая восторженных взглядов со стороны курящих в коридоре командиров. Охотников довольно небрежно мотнул головой в сторону наркома.

— Ну, как тебе доклад нового командующего?

Никита дипломатически пожал плечами.

— Ну, не новый ли Карл Клаузевиц? — насмешливо процедил Геллер.

— Бо-о-льшой теоретик! — хохотнул Петенко.

Никита засмеялся.

— Я вижу, друзья, Москва и на вас действует своей крамолой.

Охотников взял его под руку, заглянул в лицо.

— А что же? Оппозиция, конечно, слишком горлопанит, но во многом она права. Армия лучше других знает хватку бюрократов.

Вспоминая потом этот короткий разговор, Никита пришел к выводу, что он открыл ему сразу несколько важных тем, которые бередили столицу. «Бюрократами» здесь называли сталинистов, то есть большинство



существующего Политбюро. Слушатели Военной Академии имени М. В. Фрунзе близки к высшим военным кругам. Высказывания Охотникова, Геллера и Петенко явно показывают, что в этих кругах зреет раздражение против навязывания РККА «бюрократического» стиля руководства. Если эти круги еще не стали союзниками оппозиции, то, во всяком случае, они симпатизируют ей, хотя бы уж потому, что она выступает против тех, кто после двух блестящих личностей, Троцкого и Фрунзе, продвинул на высший военный пост страны бездарного Ворошилова. Ну, а симпатии армии — это всегда достаточно серьезно.

По сути дела, разговор прервался в самом интересном месте, сожалел потом Никита. Он увидел проходящего мимо по коридору комполка Вуйновича. Он даже столкнулся с ним взглядом, но тот немедленно отвернулся, не проявляя ни малейшего желания останавливаться.

— Вадим! — крикнул Никита.

Вуйнович, не оборачиваясь, прошел по коридору и свернул за угол.

— Вадим, черт тебя дери!

Оставив «академиков», Никита побежал по коридору, тоже повернул за угол и остановился. Теперь они были одни в пустом крыле здания. По паркету четко стучали удаляющиеся шаги Вуйновича.

«Как это глупо,— думал Никита,— порвать с лучшим другом из-за какой-то двусмысленной ситуации, в которую попал отец друга. Даже если бы он был замешан в то темное дело, я тут при чем? А он к тому же и не замешан вовсе, а просто... просто... Эх, как это глупо!»

— Вадим, это глупо! Давай поговорим!

Не оборачиваясь, Вуйнович открыл дверь на лестницу и исчез.

Секретарши, делопроизводители и охрана Московского городского комитета ВКП(б) без излишнего восторга, мягко говоря, взирали на вторжение рабочих партийных масс в кожанках и коротайках, кепках и красных косынках. В учреждении давно уже все было доведено до вполне приличного уровня — паркетные натерты, ковровые дорожки расстелены и на мраморных лестницах закреплены медными прутьями, буфетчицы в белых наколках разносили по кабинетам чай и свежайшие бутерброды, разговоры велись приглушенно, пепельницы немедленно очищались, бюсты великого Ленина протирались самым тщательным образом, может быть, даже лучше, чем предшествовавшие им мраморные нимфы Коммерческого общества, и вдруг явился пролетариат, как еще иначе скажешь, громко окликают друг друга, топают, сморкаются, с подошв слетают ошметки грязи, распространяется запах неумытости и махры; как будто военный коммунизм вернулся.

Конференц-зал на третьем этаже забит работниками горкома и райкомов, партактивом крупнейших предприятий. Кирилл Градов в своей вечной затрапезе, люстриновом «спинжаке» и ситцевой косоворотке по внешнему виду гораздо ближе к людям окраин, чем к холеным людям центра, и этим он чрезвычайно доволен. Впрочем, старшие товарищи высоко ценят его теоретическую «подкованность», а к маленьким псевдодемократическим чудачествам относятся снисходительно: у молодого человека впереди достаточно времени, чтобы постигнуть неписанные правила «партийного этикета». Державший речь секретарь МК как раз являл собой идеальный тип растущего партийца середины двадцатых годов: сталинского фасона френч, рыковская борода, бухаринская всезнающая усмешка.

«Товарищи,— говорил он,— оппозиция предприни-

мает отчаянные усилия обратиться к рабочим через голову партии. Группа их лидеров явилась в ячейку завода «Авиаприбор», была предпринята попытка прямого срыва партийных решений. Другая группа организовала собрание ячейки группы тяги Рязанской железной дороги, и рабочие вынуждены были принять председательство таких сомнительных товарищей, как Ткачев и Сопронов! Там выступал член Политбюро Троцкий. В ячейке Наркомфина выступал Рейнгольд.

Оппозиция также разослала своих гастролеров по заводам «Богатырь», «Каучук», «Морзе» и «Икар». С прискорбием следует заметить, что Госплан и Институт красной профессуры стали настоящими форпостами оппозиции, их люди совершают постоянные вылазки и агитируют рабочих Трампарка и Завода Ильича.

То же самое происходит в Ленинграде, но это сейчас не наша забота. Главная задача коммунистов Москвы — пресечь все контакты вождей оппозиции с рабочими. Говоря откровенно, лучшим решением вопроса было бы подключение органов ГПУ, но мы сейчас не можем пойти на это: поднимется страшный вой. Сегодня мы должны разослать группы нашего актива по всем предприятиям, где по надежным сведениям...

Секретарь МК ухмыльнулся. Красноречивая ухмылка, подумал Кирилл, сугубо чекистская, всеильная, наглая и темная ухмылка. Он вдруг почувствовал, что ненавидит этого человека, но тут же отогнал это предательское «либеральное» чувство. Зачем мне видеть в нем гадкого человека, вообще отдельного человека? Это представитель партии, и сейчас у нас одна задача — не допустить раскола!

«...по надежным сведениям,— продолжал секретарь МК,— вечером будут предприняты новые попытки срыва партийных решений. Товарищ Самоха, немедленно приступайте к распределению товарищей по группам».

Закончив выступление, секретарь МК спустился к массам, ответил на несколько вопросов, в основном отсылая спрашивающих к товарищу Самохе, потом с явным облегчением удалился во внутренние покои. Там, за дверью, мелькнул чудный, располагающий к отдыху диван.

Товарищ Самоха, жилистый чекистский оперативник в традиционной кожанке, которую он явно донашивал со времен более веселых, деловито распределял путевки по заводам. Протянув Кириллу бумагу со штампом ВЦСПС (узаконенная липа, на случай оппозиционных провокаций, будто МК и ГПУ организовали обструкцию), он без церемоний сказал:

— Ты, Градов, со своей группой отправишься на объединенное собрание тяги, пути и электротехники Рязанской ж-д. Там к вам подойдут наши товарищи из Управления. Положение напряженное. Могут появиться высшие вожди оппозиции. Среди рабочих там брожение, а всем известно, что Лев Давыдович на толпу действует гипнотически. Вы должны провалить их резолюции! Любыми методами! Постоянный контакт с ГПУ! Как можно больше личных бесед с рабочими! Запоминайте колеблющихся. Все ясно?

Кирилл подумал: вот и моя война начинается, обходные маневры, обманные действия, дымовые завесы.

— Все ясно, товарищ Самоха!

После раздачи путевок актив был приглашен на обед в горкомовскую столовую. Делегаты отправились туда не без удовольствия: обещались разносолы вроде семги, тушеного гуся, заливного поросенка. Кирилл, однако, остался верен себе. Товарищи могут смеяться над уравниловкой, но мне с моим буржуазным благополучным прошлым надо держаться своих



принципов.

Он вышел из МК и на Солянке засел в дешевой столовке. Мясные щи, макароны по-флотски и кисель стоили ему меньше рубля, точнее — 87 коп. Сидя у окна, он смотрел на едоков в сводчатом зале столовки и в окна на москвичей, вся жизнь которых, казалось, вертелась вокруг трамваев: прыгают в трамвай, выпрыгивают из трамвая, смотрят на часы в ожидании своих «Аннушек» и «Букашек», разбегаются с остановок, чтобы пересестись на другие трамваи. В Москве в последние годы установилась почему-то немыслимая спешка, все бегут, выпрыгивают, выпрыгивают, кричат друг другу «ну, пока!», «всего!», и никто не догадывается, что сегодня произойдут события, которые, может быть, определяют будущее страны на данный конкретный период реконструкции.

Ранним вечером того же дня Вероника Градова, молоденькая комдивша, сидела в сквере, что на углу Кузнецкого и Петровки. Весь день она ходила по лавкам, приценивалась, примерить, увы, ничего уже было нельзя, кроме шляпок. В конце концов она даже купила себе кое-что, глубоко заветное, а именно — контрабандную польскую жакетку. Недавно как раз прочла сатирические строчки Маяковского в «Известиях»: «Знаю я — в жакетах в этих на Петровке бабья банда. Эти польские жакетки к нам провозят контрабандой», — и зажглась в своем Минске — непременно, непременно оказаться на Петровке и получить польскую жакетку. Не все же время брюхатиной буду ковылять, скоро уж и обтяну жакеткой осиную талию, примкну к это «бабьей банде» на Петровке. Сатирик, сам того не желая, из негативного образа сделал какой-то клан посвященных, дерзких москвичек в «польских жакетках». Пока что все-таки придется пребывать в ничтожестве.

Она вдруг поняла, что ее больше всего ранит — отсутствие или полное равнодушие мужских взглядов. Раньше у каждого мужчины при виде красавицы появлялось в глазах некоторое обалдение, и не было ни одного, буквально ни одного, который не посмотрел бы вслед. Теперь никто не смотрит, все утрачено, беременность — это преждевременная старость.

Она нервно посматривала на часы: Никита опаздывал, а Борис IV толкнул пару раз ножкой. Почему все так уверены, что будет мальчик? Градовская патриархальщина. Вот возьму и рожу девчонку, а потом брошу своего солдафона и уеду в Париж, к дяде. Выращу француженку, звезду экрана, новую Грету Гарбо... уеду с ней еще дальше, в Голливуд... Вот так же как-нибудь мое лицо — ее лицо — вернется в эту паршивую Москву, как плакат Мэри Пикфорд на афишной тумбе.

Ей стало не по себе, она приложила руку к животу под широченным пальто, дыхание сбивалось. Не дай Бог, начну прямо здесь. За афишной тумбой с именами Пикфорд, Фербенкса и Джекки Кугана, а также гимнастов Ларионов — Диаболло остановился извозчик. С дрожек соскочил военный. Она не сразу сообщила, что это Никита.

— Ну, наконец-то! — вскричала она, когда он приблизился, весь в своих нашивках и бренденбурах.

Никита с улыбкой поцеловал ее.

— В вашем положении, сударыня, в постельке надо лежать, а не назначать свидания господам офицерам!

Вероника тут же разнервничалась, закуксилась, чуть не расплакалась.

— Неужели ты не понимаешь, что я не могу без Москвы? Да для меня просто пройтись по Столешникову — истинное счастье! Что же, в кои-то веки приехать в Москву и сидеть в этом вашем Серебряном

Бору, выращивать градовского наследника? Ну уж это просто издевательство.

Никита стал целовать ее в щеки, в припухший нос.

— Спокойно, спокойно, милая. Скоро все уже будет позади!

Вероника отворачивалась.

— Ты только и боишься за своего детеныша, а на меня тебе наплевать!

— Ну, Никочка, ну, деточка!

Она вытерла лицо, спросила чуть поспокойнее:

— Ну, что там, в этом вашем дурацком Наркомате? Перевели тебя, наконец, в Москву?

— Напротив, меня назначили замначштаба Запада.

— Значит, опять этот вонючий Минск, — с унынием протянула Вероника. — Если бы хоть Варшава была наша.

Никита вздрогнул. Легкомысленная женщина вдруг воткнула булавку в сердцевину тайных стратегических совещаний.

— Что ты говоришь, Ника! Варшава?

— Ну, а что? Все-таки какая-никакая, а столица, Европа. — Она уже сообразила, что коснулась чего-то самого запретного, и теперь не без прежнего наслаждения лукавила, дурачилась. — А что? Надо взять, наконец, Варшаву, пожить там немного, а потом уйти. Предложи в Наркомате.

Никита уже хохотал.

— Киса, киса, ну перестань валять дурака! Посмотри, какой у меня для тебя сюрприз — билеты к Мейерхольду!

Вероника была поражена:

— Билеты к Мейерхольду?! Да еще на «Мандат»? Ну, Никита, ты превзошел самое себя! — Давно он уже не видел ее такой сияющей. — Когда это? Сегодня? — Вдруг набежала мгновенная туча. — Но я же не успею одеться!

Никита опять зацеловал все ее щеки и нос.

— Ну, Викочка, ну, Никочка, ну, зачем тебе как-то особенно одеваться? Ты и так вполне одета для... — Тут он сообразил, что чуть-чуть не ляпнул бестактность, и поправился: — Для революционного театра, в конце концов. Мы еще успеем поужинать в «Национале», и ты увидишь, там все ахнут от твоего платья с белорусскими мотивами.

Вероника заворчала с неожиданным добродушием:

— Ты просто хотел сказать, что для моего пуза и так сойдет. Знаешь, Никита, из всех этих гнусных мужей ты не самый худший. Господи, как же я мечтала сходить к Мейерхольду!

Объединенное собрание ячеек Рязанской железной дороги состоялось в огромном депо по ремонту паровозов. Депо было настолько огромным, что многосотенному собранию хватило одного угла, где была воздвигнута временная платформа и подвешен на кабеле мостового крана портрет бессмертного Ильича. За спинами аудитории между тем зиждились молчаливые паровозы, что придавало событию некий восточно-мистический оттенок, будто боевые слоны замыкали выходы с какой-нибудь площади Вавилона.

Аудитория была по большей части в спецовках — еще не успели переодеться после смены; большинство голов накрыто кепками, косынками. Проинструктированные сегодня в горьком депутаты вперемежку с «кожаными куртками» сидели кучками, зорко оглядывались. Иной раз появлялись личности в обиходных пиджаках с галстуками. На таких смотрели с подозрением, особенно если туалет дополнялся шляпой, а тем паче очками.

В общем, было сыро и мерзко, и, несмотря на внутреннюю разгоряченность, собрание иногда прошибал лошадиный пот: цех не бездействовал, беспар-



тийные рабочие открывали гигантские, или, так скажем, циклопические, ворота, присвистывала поздне-октябрьская непогода.

«Почему я не занялся лингвистикой,— вдруг с тоской подумал Кирилл Градов.— Ведь я так люблю языки! Сидел бы сейчас в библиотеке. Однако кто же будет бороться за истинный социализм, если вся интеллигенция разойдется, спрячется в лингвистике, в микробиологии?...»

В президиуме собрания под портретом Ленина сидело несколько представителей оппозиции и «генеральной линии». На трибуне ораторствовал Карл Радек, личность российскому пролетариату глубоко чуждая, если не подозрительная. Не было недели, чтобы по Москве не начинали расползаться новые радековские шутки о головопашестве советской бюрократии, и звучали они оскорбительно не только для сталинистов, но в некоторой степени и для масс, как бы намекая на извечную косность русского народа. Радек говорил по-русски грамматически правильно, но с очень сильным акцентом, а главное — с какой-то сбивающей с толку интонацией.

От одного только слова «това'исчи» рабочие службы тяги начинали с ухмылкой переглядываться. Конечно, как сознательные члены партии, интернационалисты, они о национальности оратора не высказывались, но уж можно поручиться, что каждому пришло в голову что-то вроде: «слишком жидовствующего жида прислали», или «что-то очень уж еврейский этот еврей», или уж в крайнем случае «какой-то не наш этот товарищ еврей».

Оратор между тем продолжал развивать свои логически убийственные тезисы:

«...Идея нынешнего ЦК о построении коммунизма в одной отдельно взятой стране разит затхлостью пошехонской старины. Ей-ей, това'исчи («ей-ей» в его устах прозвучало не в смысле «ей-ей», а в смысле «ой-ой»), этот тезис по своей нелепости не может не напомнить сочинений писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина о различных старороссийских уездных тугодумах.

Товарищи, сталинский ЦК потчует рабочих гулливерскими дозами квасного патриотизма, а между тем Советы теряют рабочее ядро, индустриализация тормозится частным капиталом, на международной арене мы буксуем, теряем авторитет среди революционных масс! Товарищи, вождь мирового пролетариата товарищ Троцкий вместе с другими соратниками Ильича призывают вас — вдохнем новую жизнь в нашу революцию!»

Радек сошел с трибуны разочарованный — железнодорожников за неделю будто подменили. Поначалу еще были слышны жиденские аплодисменты и возгласы: «Правильно!», «Ура!», «Долой центристов!», — но вскоре эти хлопки и выкрики потонули в шиканье, свисте, бешеных воплях: «Долой троцкистов!», «Тащи его из президиума, братцы!», «Никаких компромиссов с оппозицией!», «Заткнуть рты!», «Вон из партии!» Потом уже ничего нельзя было различить, сплошная «буря негодования». Он понял, что тут успели здорово поработать, что было ошибкой вот так легкомысленно ехать в это депо, выступать вот в таком духе, со всеми этими «щедриными» и «гулливерами», да и вообще не было ли ошибкой примыкать сейчас к анти-сталинскому крылу, вот так активно высовываться?

Кирилл Градов вместе с большинством негодовал, вскакивал со стула, потрясал кулаком, выкрикивая что-то уже не очень-то связанное. Его распирало блаженное, вдохновляющее чувство единства. Вот это и есть классовое чувство, говорил он себе, вот оно, наконец пришло.

На задах собрания возле одного из ремонтируемых паровозов стояла группа гопэушников во главе с Са-

мохой. К ним «классовое чувство» в этот момент явно не пришло, потому что оно их никогда и не покидало. Они деловито озирали аудиторию железнодорожников-партийцев, иногда перешептывались. Пока все шло, как задумано.

Из своего третьего ряда Кирилл Градов закричал в президиум:

— Требую слова!

Председательствующий поднял руку со звоночком. И жест, и звук выглядели смехотворно среди ревушей толпы в паровозном депо. Наконец голос председательствующего пробился сквозь крики.

— Товарищи, внимание! Прения продолжаются! В списке записавшихся у нас сейчас очередь товарища Преображенского!

Преображенский, один из лидеров оппозиции, решительно встал из-за стола президиума и, заправив за спину, за ремень складки своей хорошего сукна гимнастерки, направился к трибуне.

— Требую слова в порядке ведения! — кричал между тем Кирилл.

Вдруг на платформу запрыгнули два парня в кепа-рях, по виду скорее не рабочие, а марьино-рощинские мазурики. Криво улыбаясь и распахивая руки, они преградили путь оппозиционеру. Крепыш Преображенский мощно пытался пробиться к трибуне, парни же висли на нем, с ног не сбивая, но не давая сделать и шагу.

— Что за безобразие?! Негодяи! — кричал Преображенский.

Лошадиный хохот гулко разносился в ответ по гигантскому помещению.

Кирилл в этот момент вспрыгнул на платформу с другой стороны и занял трибуну.

— Товарищи, прошу минуту внимания! — что есть силы закричал он.

Собрание чуть-чуть утихло, хотя свист и шиканье все еще слышались то там, то здесь.

— Товарищи, я молодой коммунист, — продолжал Кирилл. — Единство партии — вот что для нас важнее воздуха! Предлагаю осудить раскольнические и высокомерно-вождистские действия товарищей Троцкого, Зиновьева, Пятакова! Предлагаю вынести резолюцию о прекращении дискуссии с оппозицией!

Бурный подъем в зале. Огромное большинство кричало с шапками в кулаках:

— Правильно! Довольно трепать партию! Трещины не допустим! Долой дискуссию!

Преображенский, наконец, отделался от своих «кепариков», подошел прямо к трибуне и стукнул кулаком.

— Что здесь происходит?! Организованная провокация?! Я требую, чтобы мне дали слово!

Кирилл, не глядя на стоявшего вплотную к нему человека с бурно вздымающейся грудью, с потоками пота, катящимися по лицу и шее, закричал в зал:

— Предлагаю слова товарищу Преображенскому не давать!

Ответом был новый взрыв антиопозиционных страстей. Долой! Долой! Долой!

Преображенский махнул рукой и пошел на свое место.

Собрание все-таки продолжалось еще не менее двух часов и закончилось ночью. Оппозиция была разбита в пух и прах.

Расходясь в темноте, спотыкаясь о рельсы, партийцы продолжали переругиваться. Преображенский шел в группе своих товарищей и молчал. Почему-то этот ночной проход через железнодорожную территорию напомнил ему что-то из дореволюционных, эмигрантских времен. «Нас выталкивают отсюда, — думал он. — Мы становимся чужими. Как бы снова не окатиться в эмиграции». Обернувшись, он заметил издали



юнца, который перехватил у него трибуну. Отстав от товарищей, он подождал его.

— Градов, можно вас на минуточку?

Следы неподдельного вдохновения все еще как бы трепетали на молодом лице, если это только не были следы стыда, что вряд ли. Кирилл приостановился.

— В чем дело, товарищ Преображенский?

Преображенский предложил ему папиросу, закурил сам.

— Скажите, неужели вы всерьез не понимаете смысла происходящего? Не понимаете, что оппозиция — это просто попытка остановить Сталина?

— Сталин борется за единство партии, и довольно об этом! — парировал Кирилл.

Преображенский внимательно вглядывался в его лицо.

— Ваш отец — хирург Градов?

— Да. Какое отношение это имеет к дискуссии? — дернулся Кирилл.

Преображенский уронил папиросу и пошел прочь.

— До свидания, товарищ Градов, — бросил он не оборачиваясь.

## Глава пятая. ТЕАТРАЛЬНЫЙ АВАНГАРД

В тот вечер, когда Вероника и Никита Градовы отправились на «Мандат», в репетиционном зале Театра Мейерхольда проходило собрание труппы и актива. Актеры, занятые в сегодняшнем спектакле, были уже в гриме и костюмах, остальные — в модных кофтах и свитерах и, разумеется, в шарфах, длинных, разноцветных, брошенных на плечи, за спину, обмотанных вокруг шеи, — все это составляло впечатляющую гамму: дивная богема Москвы.

Что касается «актива», занимающего задние ряды, теснящегося вдоль стен и даже сидящего на полу в проходах, то большинство его состояло из учащейся молодежи.

Собрание, конечно же, только называлось собранием, на самом деле это было одно из редких «явлений Мастера народу».

Мейерхольд и Зинаида Райх только что вернулись из европейской поездки. «Первая леди» была ослепительна и в чудном великодушном настроении. Изделия высших парижских «кутюрье», представленные сейчас Москве, даже и зависти у театральных дам не вызывали, так космически были недоступны, одно лишь восхищение. В зале различались и жадные взоры мужчин, явно желавших навести беспорядок в роскошном туалете.

Мейерхольд, облаченный в серый, широкий, тоже чертовски заграничный, «в селедочную косточку», костюм, являл собой некоторую сумрачность. Он уже узнал, что недавняя премьера «Ревизора» вызвала сущую свистопляску враждебной прессы. Небрежно отмахивая фразы длинной кистью правой руки, почетный красноармеец Отдельного московского стрелкового полка рассказывал о заграничных впечатлениях.

В театрах Европы полный застой. Дальше Рейнгардта граница не ушла. Постановки на уровне Малого театра, декорации примитивно реалистические. Полное отсутствие стиля, эксперимента. Не просто боязнь эксперимента, но непонимание его смысла. Даже в Италии упадок. Театр Пиранделло еле влачит существование на субсидиях.

Все-таки есть и кое-что интересное. Великолепные церковные церемонии, например. Вот театр! Или негры, джаз, диксиленд, Германия потрясена, огромный успех. Наших цыган хорошо бы организовать в эдакую гастрольную труппу. Пока что я стараюсь заполучить негров к себе. Спокойно, спокойно, еще

ничего не известно, идут переговоры. Французы поначалу не хотели давать нам визы, боялись «красной заразы». Между тем именно в Париже да еще, пожалуй, в Лондоне в левых артистических кругах огромный интерес к нашему театру.

Москва для этих людей становится театральной Меккой. Наша школа провозглашается единственно живым направлением. В этой связи высказывания наших газет о «Ревизоре» выглядят как бездарный заговор смердящей буржуазии. Чего стоят, например, вот такие стишата в «Известиях»...

Он взял со столика газету, с гадливостью тряхнул ее за край, газета развернулась, и он прочел:

«Убийца. Эпиграмма-рецензия на мейерхольдовскую постановку «Ревизора».

Гнилая красота над скрытой  
костоедой...  
О, Мейерхольд, ты стал вне  
брани и похвал.  
Ты увенчал себя чудовищной победой:  
«Смех», «гоголевский смех» убил ты  
наповал!»

Усталый, несколько надменный мэтр пропал, произошло одно из бесчисленных маленьких чудес мейерхольдовских репетиций. Дурацкая эпиграмма была прочитана таким образом, что все присутствующие разразились хохотом, как бы воочию увидев советского тугодума-сочинителя. Мейерхольд улыбался, довольный. Он рад был вернуться в Москву, к «своим ребятам».

В толпе «актива» на задах залы стояла и Нина Градова, пылающие от восхищения щеки, сверкающие в непрерывном движении глаза и зубы, взлохмаченная башка. Мейерхольд был ее богом. Видеть и слышать его было не то что счастьем, но каким-то олимпийским озарением. Конечно, она уже забыла, что сегодняшний приход в театр не прост, что среди них сам Альбов, лидер подпольной троцкистской ячейки, что готовится «акция».

Пьеса Николая Эрдмана «Мандат» с самого начала оказалась своего рода бутылкой керосина для и без того раскаленных до грани пожара партийно-комсомольской и интеллектуально-артистической сфер Москвы. Говорили, что буквально каждую реплику в ней надо понимать двояко, что в каждой мизансцене заключены не только сатира и шутовство, но прямая атака против обюрократившихся чекистов, чекистов, центристов, всей этой нечисти, постепенно, но упорно искоряющей романтику революции.

На премьере в Театре Мейерхольда в прошлом году так и казалось, что с каждой фразой брызгают керосинчиком на пышущие жаром угли. Часть зала взрывалась восторженным хохотом, аплодисментами, другая пребывала в возмущенном шипении, в шиканье, исторгала возгласы: «Позор!», «Издевательство!», топала ногами, потрясала партийным кулаком, о котором недавно совсем ошалевший (по мнению прежних эстетствующих поклонников) Маяковский сказал так впечатляюще, что мороз пошел по коже: «Партия — рука миллионнопалая, сжатая в один громающий кулак!»

Такое возможно было, пожалуй, в те времена только в Москве, чтобы авангардистский спектакль стал ареной противоборства двух политических сил, оппозиции и генеральной линии правительства.

В тот вечер «Мандат» давался уже в который раз и ничего особенного не предвиделось, хотя зал, как всегда, чутко отвечал на исходящие со сцены дерзостные инспирации. Вот, к примеру, Пьяный Шарманщик на кривых ногах ковыляет в просцениум, вещает



косым ртом: «Павлуша, бывалочка, еще маленькой крошкой, сидючи у меня на коленях, все повторял: «Люблю пролетариат, дядя! Ох, как люблю!»

Зал хохочет, аплодирует, атмосфера веселого заговора возбуждает зрителей. Забыв о своем «пузе», весело смеется Вероника, хлопает стальными ладонями ее муж комдив РККА Никита Градов.

Вдруг резкий девичий голос с верхнего яруса прорезал карнавальную атмосферу:

— Позор сталинским лицемерам!

Сразу в нескольких местах зала поднялись плотные группы молодежи. Будто под командой дирижерской палочки, они начали скандировать:

Прочь коварство, тупость, злоба!

Убирайся к черту, Коба!

Долой жуликов-бюрократов! Долой Сталина!

Никита посмотрел на ярус и шепнул жене:

— Клянусь, там среди них наша Нинка!

— О, Боже мой! — ужаснулась Вероника.

В зале воцарился суший хаос. Многие зрители громко возмущались: «Безобразие! Хулиганство! Митингуйте в своих вузах, не лезьте в театр! Срывают спектакль! Надо милицию позвать!» Другие поддерживают оппозиционеров: «Правильно! Долой сталинских ставленников! Надоело!» Третьи просто смеялись: весело, дерзко, уж не сам ли Мейерхольд придумал? Четвертые сгорали от любопытства — что дальше будет? Пятые благоразумно пытались выбраться из зала. Кое-где началась свалка. Старший капельдинер, держась за голову, пробежал вверх по проходу. Навстречу ему к сцене, бурно хохоча и явно не по трезвому делу, валила к сцене поэтическая ватага во главе со Степкой Калистратовым.

Степан кричал на сцену какому-то дружку, занятому в спектакле.

— Гошка, поздравляю! Сегодня даже лучше, чем на премьере! Так и должно быть! В этом смысл современного театра! В скандале! Театр — это скандал!

Произнеся эту исключительную новацию, о которой знал еще Грибоедов, Степан бросил через плечо своему подголоску Фомке Фрухту:

— Запиши!

— Готово! Записано! — тут же отозвался подголосок.

Суматоха усиливалась. Никита, вглядываясь в бурлящую толпу, забыл на мгновение о жене. Когда же он взглянул на нее, похолодел, закричал будто гимназист, а не комдив:

— Что делать?! Что делать?!

У Вероники вдруг начались схватки. Она то сжимала зубы, то хватала воздух ртом. Пот ручьями стекал по лицу. Платье было совсем мокрым. Кляня себя за идиотское легкомыслие, Никита подхватил жену под мышки, стал пробираться к выходу.

— Пропустите, граждане! Пропустите! Жена рожает! «Скорую помощь»! Пожалуйста!

В свалке захохотал, тыча в них пальцем, какой-то богемного вида юнец.

— Смотрите, смотрите, только у нас! Комдив свою бабу тащит! Баба рождает от Мейерхольда!

Озверев, Никита ударил юнца ногой в зад.

— Пропустите же, мерзавцы! — В остервенении вытащил из кобуры револьвер. — Расступись! Стрелять буду!

Тут уж граждане, еще не забывшие подобных возгласов, немедленно очистили путь. Он подхватил кричащую от боли Веронику и устремился к выходу.

Степка Калистратов на одной из лестниц театра перехватил кубарем летящую вниз Нинку Градову.

— Привет, гражданка! Слушай, тут армяне при-

ехали, поэты, будет сабантуй. Айда шампанское сажать?!

Нинка хохотала в его руках. «Ну не счастье ли, — мелькнуло в Степкиной башке, — держать в руках такую хохочущую, вот именно, нимфу?»

Нимфа, увы, тут же выскользнула, отстранилась.

— Ты, Степан, неисправимый декадент и богемщик!

«Ну, что ж, — подумал он, — нельзя же век держать в руках такую хохочущую и полную небесного огня». И за этот миг спасибо, Провидение.

С лестницы солидно спускался пролетарий Семен Стройло.

— А ты все еще с этим Стойло? — усмехнулся поэт.

Нинка немедленно разозлилась.

— Не Стойло, а Стройло, от слова «строить», с вашего позволения!

Тут же она прилепилась к своему избраннику и далее вниз по лестнице путешествовала, как бы частично свисая с его плеча, что давало ей возможность иной раз оглядываться на обескураженного Степана.

«И все-таки спасибо тебе, Провидение», — подумал поэт.

Мимо валили люди из Нинкиной группы. Среди них выделялся мужчина за тридцать, львиная грива, театральные очки: Альбов.

— Акция удалась, — коротко резюмировал он.

Под утро к агонизирующему в приемной роддома Грауэрмана Никите Градову вышел дежурный врач — уже было известно, что роженица — жена комдива, сына профессора Градова, — и сообщил, что родился сын. И вес, и рост основательные, бутуз что надо. «Так что идите домой, товарищ комдив, поспите и приезжайте пополудни, мы вам покажем вашего первенца».

Никита, ничего не соображая, в распахнутой шинели, в сдвинутой на затылок буденовке, вышел на улицу, зашагал куда-то, почему-то все ускоряя шаги, резко срезая углы, хватаясь за водосточные трубы. Одна, ржавая, прогнулась под его рукой.

Арбатские переулки были пустынные и темные, только далеко в перспективе слабо светила витрина и там был виден большой глобус. Этот глобус вдруг взвинтил комдива, он встряхнулся и осознал всю эту ночь, в течение которой любимая женщина, страдая, родила ему сына.

— Сын родился! — заорал он вдруг и побежал по направлению к глобусу.

В витрине он видел свое приближающееся отражение, разлетающиеся полы длинной шинели, блестящие высокие сапоги. Он выскочил на Арбат. За крышами виднелся уцелевший крест небольшой церкви. «Сын, сын... родился сын!» Он перекрестился, раз, другой, но потом отдернул щепоть ото лба, от своей красной звезды. Тогда вытащил револьвер и пальнул в воздух. Ура!

— Не стреляйте! — послышался голос поблизости.

Никита посмотрел и увидел в подворотне фигуру старика с палкой в руке. Дворник, должно быть.

— Не бойтесь, ничего страшного, просто у меня сын родился, Борис Четвертый Градов, русский врач.

— Все-таки это еще не повод, чтобы стрелять, — сказал старик, вышел из подворотни и прошел мимо Никиты, оказавшись вовсе не стариком, а средних лет странным господином с тростью, в старомодном дорогом пальто. Поблескивали крутой лоб и лысая макушка. Просвечивая, трепеща, вилась вокруг этих фундаментальных высот эфемерическая золотовато-серебристая флора. Уж не Андрей ли Белый?



## Глава шестая. РКП(б)

Под вечер погожего октябрьского дня — «бабье лето» в полном разгаре! — инструктор районного Осоавиахима Семен Стройло поджидал Нинку Градову в кабинете наглядных пособий, что располагался на втором этаже Дома культуры Краснопресненского района.

Луч солнца, падающий через узкое окно, подчеркивал обилие пыли, лежащей на пособиях и тренировочных материалах, гранатах, противогазах, парашютных ранцах, а стало быть, он подчеркивал и некоторую ленцу уважаемого товарища инструктора.

Семен всю эту «туфту» терпеть не мог, ни черта в ней не понимал. Пост свой он получил в порядке «выдвиженства» как человек с незапятнанной анкетой, однако долго здесь задерживаться не собирался: впереди большая дорога. Пока что он был доволен — работа «не бей лежачего», а главное, ключи от трех кабинетов, большое удобство для встреч с девчонкой.

В середине комнаты на столе, демонстрируя свои железные кишки, стояла продольно распиленная половинка станкового пулемета «максим». На стенах висели пропагандистские плакаты, по которым иногда Семен все же проходил тряпкой. Гигантский пролетарский кулак дробит английский дредноут, похожий на жалкую ящерицу: «Наш ответ Керзону!». Косяк дирижаблей в небе под сиянием серпа и молота: «Построим эскадру дирижаблей имени Ленина!»...

В комнате было жарко. Семен лежал на кушетке в одной майке с эмблемой «Буревестника». Он курил, отпивал из горлышка портвейн «Три семерки», — папаня именует этот напиток «три топорика» — и читал замусоленную книжонку «Принцесса Казино».

Вот она придет, зараза, думал он, увидит, как я тут лежу в одной майке, пью напиток, читаю бульварщину, и восхитится — ах, какой простой, какой свободный! Зараза такая!

Роман с профессорской дочкой, изнеженной Ниночкой Градовой, с одной стороны, восхищал Семена Стройло, с другой же стороны, по-страшному его раздражал: приходилось как бы постоянно играть роль, навязанную ему воображением избалованной фифки. Она увидела в нем идеал пролетария, простого, свободного, без околичностей берущего в руки все имущество мира, потому что оно отныне принадлежит ему, он строит будущее. Значит, надо было постоянно показывать простоту, городскую народность, уверенность и даже некоторую косолапость неторопливых движений, каменистость гиревых мышц. Между тем по сути своей Семен Стройло был скорее суетлив, извилист в мыслях, не очень даже и могуч физически, гири ненавидел. Короче, она смотрела на него скорее как на игрушку пролетария, чем на истинного пролетария, которым он в общем-то, несмотря на чистоту анкеты, никогда не был. Ни папаня, ни дедка матценностей не создавали, происходя из марьино-рощинских складских. Ну, в общем, обижаться все ж таки не приходится: девчонка сладкая, и польза от нее идет пребоольшая, однако...

Из коридора, с лестницы долетел полет шагов — идет, зараза, минута в минуту!

Нина пробежала через вестибюль, и всякий, кто встретился ей в обширном помещении, останавливался в изумлении: чего, мол, девица так сияет, откуда, мол, такой оптимизм на десятом году революции?

Уборщица хмыкнула ей вслед и кривым большим пальцем показала сторожу:

— Вишь, к инструктору на свиданку побежала!

Сторож чмокнул, утерся рукавом:

— Прыткая, гладкая... эх-ма...

Нина пролетела по коридору, рванула дверь с надписью «Наглядные пособия». Ворвалась в комнату, потрясая свежим выпуском журнала «Красная Новь».

— Семен, вставай! Лодырь! Смотри, мои стихи в «Красной Нови»!

Открыла журнал, облокотилась на полупулемет, с силой прочла:

Могла ли я в стремительных мгновениях  
Не вспомнить, Одиссей, ни глаз твоих, ни губ,  
Полночных кораблей жасминное цветенье,  
И тени крепостей, и звук далеких труб?..

Семен намеренно зевнул, подумав: демонстрируется пролетарская пасть.

— Про что это?

Нина не ответила, глядя в какую-то невидимую точку.

— Про что стихоза? — повторил вопрос Семен.

— Про ночь, — сказала она.

Семен бросил под кушетку «Принцессу Казино» и встал, потягиваясь.

— Хочешь шамать, Нинка?

Он показал на открытую банку мясных консервов и булку московского хлеба.

Нина отрицательно помотала головой.

— Не хочешь отличной шамовки? — удивился он. — Портвейну хошь? Ну, ты даешь, сестра, от «Трех семерок» отказываешься!

Сладкая тяга прошла по его телу, он расстегнул пояс брюк.

— Ну, ладно, нэ-хош-как-хош-хады-галодна, иди сюда!

Нина отшатнулась от него, как бы в досаде, хотя сама уже жаждала только одного, этого акта с ним, таким простым.

— Да ну тебя, Семка! Я к тебе со стихами, а ты сразу...

Он притянул ее к себе, по-хозяйски поднял юбку.

— Давай-давай... Кончай эти плюссе-мюссе! Сколько раз тебе говорено, будь проще, Нинка!

Закрыв глаза, она уступала ему все больше, бормоча: «Да-да, ты прав, моя любовь... быть проще...», — но на самом-то деле, как всегда, воображая себя жертвой пролетарского насилия, трофеем класса-победителя.

Уборщица приволоклась со шваброй в коридор, чтобы послушать сильный и долгий скрип кушетки. Пришлепал и сторож.

В наступивших сумерках Нина долго еще ползала губами по его щекам и шее, гладила мокрые волосы усталого повелителя.

— Ты мой Царь Осоавиахим, — шептала она.

Семен гудел, довольный:

— Кончай, кончай эти телячьи нежности!

Он глотнул портвейну, закурил папиросу.

— Я тебе, Нинка, должен сделать одно замечание. Ты, конечно, девка хорошая, однако немного больше активности тебе не помешает. Вот когда момент подходит, тебе вот так надо делать. — Он показал рукой, как надо делать — эдакая волна со всплеском. — А ты, уважаемая, этого не делаешь!

Она засмеялась, несколько не обидевшись.

— Ой, Семка, Семка, какой ты балда!

Он встал с кушетки, натянул штаны и юнгштурмовку, сел верхом на стул.

— А вот еще одно замечание, уважаемая, на этот раз от кружка, то есть от самого Альбова. Он велел мне сказать, что тобой недоволен. Слишком мало времени кружку, слишком много этому... — Брезгливо потряс «Красную Новь». — Полночных кораблей жас-



минное цветенье, во дает... ты все-ш-таки комсомолка, тебе с этими попутчиками вроде Степки Калистратова все-ш-таки не по пути!

Нина расхохоталась:

— Да ты ревнуешь, Осоавиахим!

— Семен пристукнул кулаком по столу. Кулачок у него был не очень-то массивный, но в такие моменты он ему самому казался кувалдой.

— Чего-о? Я тебе всерьез, а ты опять плюссе-мюссе? Никак с кисейным воспитанием не расстанешься!

Нина села на кушетке.

— На самом деле Альбов говорил?

Он кивнул.

— Факт. Работаем, можно сказать, в подполье,— сказал он,— а Градова по левовским вечеринкам порхает.

Нина посмотрела на часы, вскочила. В затхлом воздухе Осоавиахима пролетели один за другим предметы туалета — юбка, блузка, свитер, шарф. Мгновение — и она уже одета, как будто и не предавалась только что грехопадению под языческим божком распиленного красноармейского пулемета.

— Семка, мы же опаздываем в университет!

Товарищ Стройло уже вытаскивал из-под стола толстенную сумку с печатным материалом.

На Манежную прискакали через полчаса, пришлось брать извозчика за счет ячейки, иначе бы вся затея рухнула по причинам явно не уважительным.

Вечер был в полном разгаре, московский «час пик». Мимо здания университета, названивая и рассыпая с проводов ворохи искр, волоклись перегруженные трамваи. Резко кричали торговки студенческой отработой — горячими пирожками с требухой, или по современной терминологии «с субпродуктом». Иной раз мелькала студенческая физиономия с полусасунутым в рот пирожком и с обалделыми от вкусового шторма «гляделками».

Возле университетских ворот под фонарем подвешено было объявление:

«Коммунистическая аудитория. Сегодня, 8 часов вечера. ЛЕФ!»

«Алгебра Революции!» Читает поэт Сергей Третьяков.

Также выступают: Поэт Степан Калистратов, «Не названное»;

Конструктор Владимир Татлин с рассказом об аппарате «Летатлин».

Стройло и Нина, бросив взгляды на плакат, быстро прошли в ворота, пересекли двор мимо памятника Ломоносову и бегом взлетели по торжественной лестнице.

Когда Нина и Семен вошли, амфитеатр Коммунистической аудитории был еще пуст, хотя над кафедрой загодя к вечеру уже была подвешена модель похожего на птеродактиля футуристического летательного аппарата.

— Успели. Слава Трудю, никого,— прошептала Нина.

— Давай за дело! — скомандовал Семен.

Они побежали вверх по ступенькам, разбрасывая по рядам пачки листовок. Дело было закончено быстро, после чего молодые люди устроились поближе к сцене, в первом ряду, и открыли учебники, изображая прилежное чтение в ожидании концерта. Время от времени они поглядывали друг на друга и хихикали.

«Кроме всего прочего,— подумала Нина, словно отвечая кому-то,— мы с Семкой боевые друзья». «Ишь ты,— подумал про нее Семен,— глазищи-то!»

Через несколько минут аудитория стала заполняться студентами. Кто-то уже нашел листовку и громко

прочитал: «Спасение Революции в ваших руках! Долой Сталина!»

Из другого ряда зачитывали другой вариант: «Остановим попытку Термидора! Позор сталинскому ЦК!»

Подрывные листовки троцкистов и оппозиции были студентам не в новинку. Их находили в общагах и в столовках, иной раз приклепнутыми к стене, иной раз пачками с призывом «Раздай товарищам». Многие сочувствовали, многим было наплевать. Иной раз вспыхивали митинги, а другой раз можно было заметить студента, несущегося в уборную с листовкой в кулаке. В этот раз студенты вроде бы воспламенились сперва, начали выкрикивать: «Долой!», «Позор!», — но потом нашлись шутники-пересмешники — уж как не поидиотничать вечером перед девочками? — которые стали умножать: «Двойной долой!», «Тройной позор!» «Долой в квадрате!», «Плюс позор в кубе!» Пошел хохот. «Вот так алгебра революции!» Настроение сегодня было явно не очень-то политическим.

Между тем Коммунистическая была уже заполнена до отказа. Стояли в проходах и в дверях. Среди опоздавших был ассистент профессора Градова, молодой врач Савва Китайгородский. Его затерли при входе, и он дрейфовал, пока не приткнулся в уголке, где можно было даже слегка опереться плечом о стену.

Поэт Сергей Третьяков был уже на сцене, но Савва туда не смотрел. Взгляд его выискивал нужное лицо в зале. Наконец нужное лицо было найдено — Нина Градова! Пусть, как всегда, со своим остолопом, но зато это она воочию! «Вхожу я в темные храмы, свершаю свой бедный обряд...» Молодой врач тоже не был чужд поэзии, хотя застрял на символистах и дальше не желал продвигаться.

Амфитеатр рыкнул, разразился, притих. Популярный Сергей Третьяков, друг Маяковского, вышел к краю сцены — читать. Он был очень большого роста, не ниже самого Маяка, однако внешностью трибуна не обладал, скорее уж было в нем что-то общее с людьми типа Саввы Китайгородского, интеллигентными: очки, костюм-тройка... У Маяковского это всегда был «костюмище»; у Третьякова — костюмчик. Поэтому и левовский напор выглядел в его исполнении немного неуместным: эти рычания и взмахи кулакастой рукой.

В общем, он читал:

**Корень квадратный  
из РКП!**

**Делим на:**

**Вперед! В упор глаза!**

**Жми! И ни шагу назад!**

**Плюс:**

**Электрификация!**

**Смык!**

**Тренаж!**

**Плюс:**

**Мы хотим, чтобы мир стал —**

**Наш!**

**Минус:**

**Брех!**

**Минус:**

**Грязь!**

**Минус:**

**Дрянь!**

**Равняется:**

**Это**

**Путь**

**Октября!**

Финальный выкрик ударного стиха выгодно подчеркивал корневую рифму «грязь» — «ябрь», чем поэт явно гордился, не задумываясь о двусмысленности, возникающей при сопоставлении слов. Филфаковцы



восторженно взревели: «Браво, Сергей! Браво, ЛЕФ!»

Стоявшая рядом с Саввой «литдевичка» — подбривший затылок, длинная косая челка, вот коняга! — повернулась к нему:

— Вам нравится?

Савва пожал плечами. «Литдевичка» рассмеялась:

— Мне тоже не очень. Какая же это алгебра? Чистая арифметика для четвертого класса!

Толпу качнуло. Ее бедро прижалось к его бедру. Прошел весьма неуместный ток. «Литдевичка» усмехнулась с притворным смущением:

— Простите.

Савва заерзал, пытаясь создать пространство между двумя разнополыми телами.

— Да, так тесно...

В своем ряду Нина теребила Семена за рукав.

— Ну, вот такая поэзия тебе ближе? Ну, скажи, Семка, ну! Мне это очень важно!

Стройло забасил пренебрежительно в своем «пролетарском стиле»:

— А-а-а, говна. У меня вот мочпузырь щас лопнет, пойду отолью.

Он стал пробираться через ноги соседей к выходу. Нина успела шепнуть ему вслед: «Милый, простой!» Он обернулся, гаркнул: «Кончай!» — потом огрызнулся на недовольных студентов:

— По ногам, говоришь, хожу? А что же, по башкам, что ли, вашим ходить?

Стройло вошел в просторную, с высоченным потолком, облицованную кафелем уборную старого университета и увидел стоящего у окна молодого человека в полувоенной одежде, который, возможно, его-то тут и поджидал. Взялся за свое дело. Молодой человек приблизился.

— Стройло, салют!

— Физкульт-привет! — отвечивал Стройло, отряхиваясь.

— Заскочим в партком? — спросил очень положительный молодой человек.

— Айда! — сказал Стройло, завершая диалог полностью в стиле своего поколения.

Комната парткома была по масштабам ничуть не меньше уборной. Народу там в этот час не было, только в глубине у настольной лампы сидел человек средних лет, перебирая бумажки. Царил со стены из богатого багета Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

При виде вошедших юношей сидящий встал и пошел навстречу.

— Здравствуйте, товарищ Стройло! Давайте сразу быка за рога. Сколько человек было последний раз на заседании кружка?

— Девятнадцать, товарищ комиссар! — четко ответил Стройло, отстегнул клапан кармана и вынул бумажку. — Вот список.

Комиссар взял список, прочел несколько фамилий вслух: «Альбов, Брехно, Градова, Галат...» — сунул список в карман и крепко пожал руку Стройло.

— Спасибо, Семен! Большое, очень нужное нам всем дело делаешь!

С просиявшей и оттого несколько истуканистой физиономией Стройло вытянулся.

— Служу трудовому народу!

В аудитории тем временем Сергея Третьякова сменил Степан Калистратов — мятая вельветовая блуза, закинутый за спину шарф, непокорная, что называется, «есенинская» шевелюра. Как всегда, было неясно, насколько пьян Степан в данный момент — порядком, основательно или почти «в лоскуты». Так или иначе, он читал с мрачным вдохновением:

Гудки вблизи и в отдалении.  
Земля пустыня и плоска.  
Одно лишь вахтенное бденье,  
Ни ангельского голоса...  
Нам остаются в утешенье  
Ночных трактиров откровенья  
Да «Арзамасская тоска»...

Нина Градова смотрела на него заворуженно. Степан нравился публике, особенно девушкам, пожалуй, даже больше, чем Третьяков. Каждый его стих сопровождался восторженными аплодисментами.

Может быть, единственным человеком в аудитории, кто почти не обращал внимания на поэта, был Савва Китайгородский. Он не отрывал взгляда от задумчивого, будто светящегося изнутри лица Нины. Когда с ней рядом нет «пролетария», она немедленно меняется, вот именно так освещается и именно в этом, в этом, милостивые государи, ее суть!

Шепот «литдевички» по соседству отвлек Савву от этих мыслей.

— Вы знаете, Калистратов на грани разрыва с ЛЕФом!

Савва даже вздрогнул.

— Да что вы говорите? А как же революция?

Она с улыбкой посмотрела на него через плечо.

— Некоторым уже надоела.

Из публики кто-то бросил Степану букет цветов. С ловкостью, удивительной для вечно пьяноватого богемщика, он не дал им упасть на пол, а, подхватив в воздухе, прижал к груди и затем передал в первый ряд Нине Градовой.

Студенты выкрутили башки, весь зал высматривал, кому достался привет поэта. Нинины щеки пылали среди гвоздик.

«Литдевичка» сказала Савве прямо в ухо:

— А эту особу знаете? Молодая поэтесса Нина Градова. Говорят, что...

— Простите, — торопливо перебил ее Савва и стал пробираться к выходу.

Между тем к Нине, совсем уже не обращая внимания на ноги окружающих, возвращался Семен Стройло. Плюхнувшись на свое место, он, ни слова ни говоря, вырвал у нее букет и швырнул его за спину, выше по амфитеатру.

Степан в это время, с каждой строфой раздувая легкие все больше и больше, гудел свое самое известное стихотворение «Танец матросов».

Глубокой ночью в доме Градовых не спал лишь могучий, но нежный душой молодой Пифагор. Стараясь не очень постукивать когтями по полу, он прохаживался по пустым комнатам, освещенным только полосками лунного света из-за штор. Иногда он направлялся на кухню, вставал на задние лапы и смотрел в незашторенное окно. Наконец он увидел то, что так рьяно высматривал, побежал ко входной двери и сел рядом, тихонько скуля.

Повернулся ключ, вошла, вернее, пробралась Нина и сразу стала снимать туфли — чтобы легчайшим полетом на цыпочках не разбудить домашних, а лишь навеять им мирные сны. Пес бросился к любимой сестре целоваться. Она раскрыла ему объятия.

— Спасибо, Пифочка, что ждал и не залаял.

В сопровождении Пифагора она прошла через столовую и гостиную и вдруг заметила, что в глубине кабинета горит маленькая лампа. Заглянула туда и увидела отца. В халате и шлепанцах он сидел на диване и читал «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны».

Папочка милый, любимый, тихо растрогалась Нина и хотела уже пройти к лестнице, когда он вдруг поднял голову и заметил две славных рожи: одна



с большущими глазами, другая с большущими ушами. Он отложил журнал.

— Нинка, посиди со мной немного.

Она села на ковер у его ног. Он взъерошил ее короткую гривку.

— Эта повесть, что ты тогда притащила... вот случайно попалась... мда-с... В общем-то довольно абстрактное сочинение... хотя при желании... — Так он мямлил некоторое время, но потом вдруг твердо сказал: — Ты должна знать, что я *там* не был. Я был отстранен в последнюю минуту. И, конечно, если бы я *там* был, то... Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Нина взяла его руку и прижалась к ней щекой.

— Понимаю, папка. Теперь я все понимаю. Я верю, что ты там *совсем* не был...

Он вздохнул.

— Увы, это не вполне так. Я расскажу обо всем позднее... но... *они*, конечно, считают меня чужим. Они продвигают меня на верха, как бы завязывают в один общий узел, награждают, но все же прекрасно понимают, что и я им чужд, и вся моя школа, мы просто русские врачи, даже и молодежь вроде Саввы Китайгородского.

— Кстати, как он, этот Савва? — спросила Нина явно небезразличным тоном.

«Как чудесно она о нем спросила, — подумал отец. — Хотел бы я знать, спрашивала ли когда-нибудь обо мне вот такая какая-нибудь девушка».

— О, — сказал он. — Савва — это будущее светило, поверь мне. Мы здорово вместе работаем над местной анестезией. Ему, знаешь ли, туго приходится: тянет семью сестры, а жалованье у молодых врачей мизерное. Подрабатывает на «скорой помощи».

— А что же он перестал... ну... у нас бывать? — спросила Нина, и отец опять восхитился, на этот раз какому-то чудному лукавству в ее голосе.

Он засмеялся.

— Ты прекрасно знаешь, лисица, почему. Потому что ты среди чужих.

Она ласкалась к его руке, как котенок.

— Вот уж чепуховина!

Лежащий рядом Пифагор активно лизал ее ногу.

Сверху, из спальни, тихо спустилась Мэри Вахтанговна. Остановилась в дверях кабинета, глядя на мужа и дочь. Те не замечали ее.

— Эх, если бы мы все родились лет на пятьдесят раньше! — вздохнул профессор.

Нина вдруг вспламенилась, бросила отцовскую руку.

— Вот уж нет! Хочешь верь, хочешь не верь, но я счастлива, что живу именно сейчас! Что я молода именно сейчас, в двадцатые годы двадцатого века! Все времена бледнеют перед нашим!

Отец погладил ее по голове.

— Ты только не кричи, Нинка, но мне кажется, что тебе нужно временно уехать из Москвы.

Нина, конечно, тут же закричала:

— Ты с ума сошел, папка?! Куда еще уехать?

В этот момент мать села рядом с ней и обняла за плечи.

— Хотя бы в Тифлис, к дяде Галактиону, — мягчайшим тоном прожурчала она. — Дочка, ты зашла слишком далеко в своем пристрастии к политике. Вах, папин шофер, младший командир Слабопетуховский на днях по секрету сказал Агаше, что тобой интересуются в ГПУ.

Нина, хоть у нее и екнуло внутри, весело рассмеялась.

— Ах, все это вздор! Нашли, кому верить — Слабопетуховскому! Конечно, в ГПУ полно балбесов, но у нас все-таки не режим Муссолини!

Она вдруг вскочила и потянула мать за руку.

— Ты лучше поиграй нам, мамочка!

Мэри Вахтанговна улыбнулась.

— Сейчас нельзя играть по ночам. У нас ребенок. Мы разбудим Бореньку.

Нина настаивала, тянула.

— Ну, я тебя прошу, ну, тихонечко! Ну, как раз тот ноктюрн шопеновский, тот самый... — И уже почти добилась своего, мать стала подниматься с ковра.

Смеясь, она присела к роялю.

— Да ведь это же стародворянская романтика, ведь ты же это отвергаешь, ведь ты же любишь джаз и додекафон...

Она заиграла еле слышно. Муж и дочь благоговейно слушали, переглядывались любовно. Пифагор тоже стал слушать, сидя в позе идеально послушного пса, поводил ушами. Появилась и встала в дверях Агаша. Из спальни наверху вышли Никита и Вероника, которая немедленно после родов взялась за свое привычное дело — сиять красотой. Кирилл, как оказалось, давно уже сидел на лестнице, глаза его были закрыты. Когда в кабинете были распахнуты обе широкие двери, из него как бы просматривался весь объем старого, крепкого дома. Нина обводила глазами этот объем родного гнезда. Господи, как же я их всех люблю, даже дурацкого Кирку! Я просто не имею права так сильно их всех любить... В спальне заплакал разбуженный ребенок. Мэри Вахтанговна бросила клавиши.

— Ну, вот, пожалуйста, Борис Четвертый гnevается!

(Продолжение следует)

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года и в первой половине 1992 года вы прочтете в нашем журнале:

— Василий АКСЕНОВ. *Московская сага. Вторая книга*

— Эрик АМБЛЕР. *Маска Димитриоса (английский детектив)*

— Виктор АСТАФЬЕВ. *Затеси*

— Владимир ВОЙНОВИЧ. *Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга третья*

— Князь М. М. Волконский. *Мальтийская цепь (авантюрно-исторический роман)*

— Геннадий ГОЛОВИН. *Новая повесть*

— Сатирические рассказы Гр. ГОРИНА и Мих. МИШИНА

— Виталий КОРОТИЧ. *Наедине. Опыт политической автобиографии*

— Владимир НАБОКОВ. *Рассказы*

— Валерия НАРБИКОВА. «*Великое кня...*» *Повесть*

— Алексей СКАЛДИН. *Странствия и приключения Никодима Старшего. Роман*  
Ирвинг СТОУН. *Страсти души (романизированная биография Зигмунда Фрейда)*



# ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

## ВАС ЖДУТ МОСКОВСКИЕ ТЕХНИКУМЫ

**МОСКОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ** готовит работников для издательств и типографий по следующим специальностям: техническое редактирование книг и журналов, корректура книг и журналов, изготовление печатных форм, печатное производство, переплетно-брошюровочное производство, экономика и планирование на полиграфических предприятиях. Форма обучения дневная, вечерняя и заочная. Имеется благоустроенное общежитие. 129348, Москва, Ярославское шоссе, д. 5. Тел.: (095) 188-17-48

**МОСКОВСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ** продолжает набор выпускников 9-х и 11-х классов на дневное и заочное обучение по специальностям: производство изделий из кожи, техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий легкой промышленности, технология кожи и меха. 107564, Москва, Краснобогатырская ул., д. 38. Тел.: (095) 963-37-18, 963-30-72.

**ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ** приглашает выпускников 9-х и 11-х классов овладеть профессиями техника-технолога по обработке материалов, техника-менеджера, бухгалтера, техника-экономиста, техника-механика по обслуживанию и ремонту автомобилей. Ведется платная переподготовка лиц с высшим и средним специальным образованием. По окончании выдается диплом техника-менеджера или бухгалтера-экономиста. Работают подготовительные курсы. 101193, Москва, ул. Петра Романова, д. 7/35. Тел.: (095) 279-96-88, 279-77-49, 279-49-28, 279-49-45.

**ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ** принимает выпускников 11-х классов по специальностям: товароведение, организация материально-технического обеспечения и сбыта в промышленности. На специальности: монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий, производство электронных и электрических средств автоматизации, экономика и планирование в отраслях народного хозяйства — принимаем без экзаменов лиц, окончивших среднюю школу и ПТУ с оценками 4 и 5. 111024, Москва, 2-й Кабельный проезд, д. 2-а. Тел.: (095) 273-82-16, 273-54-22.

**МОСКОВСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ** принимает учащихся на следующие специальности: производство электронно-вычислительной техники, монтаж и наладка автоматизированных систем, производство электронных средств автоматизации. Работают подготовительные курсы. 107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 21. Тел.: (095) 267-47-56, 267-76-36, 267-84-34, 267-46-76.

**МОСКОВСКИЙ ПУШНО-МЕХОВОЙ ТЕХНИКУМ РОСПОТРЕБСОЮЗА** приглашает выпускников 11-х классов на следующие специальности: организация заготовок и товароведение животного и пушно-мехового сырья, организация заготовок и товароведение продуктов растениеводства и животноводства, охотоведение и пушное звероводство. Кроме того, осуществляется подготовка на договорной основе по направлению различных предприятий и организаций с возмещением ими затрат за весь период обучения. Подготовка специалистов для системы потребительской кооперации России осуществляется за счет фонда подготовки специалистов Роспотребсоюза. 141420, Московская обл., г. Сходня, ул. Октябрьская, д. 30. Тел.: 574-03-17, 574-18-72.

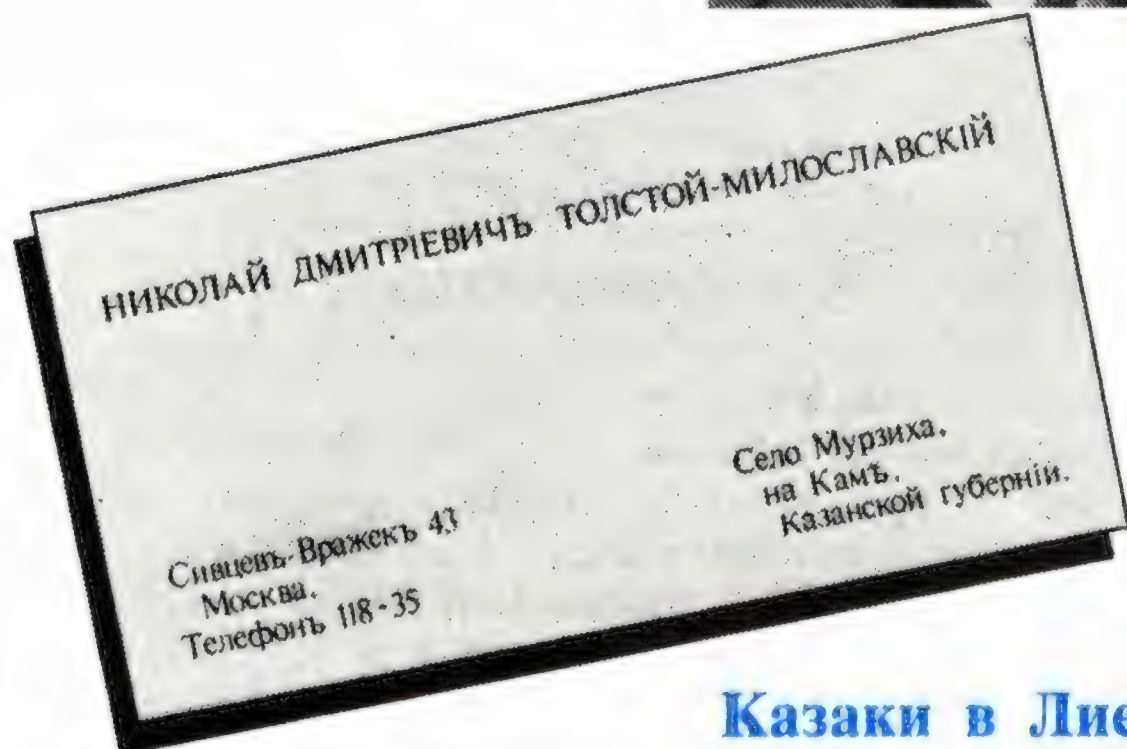
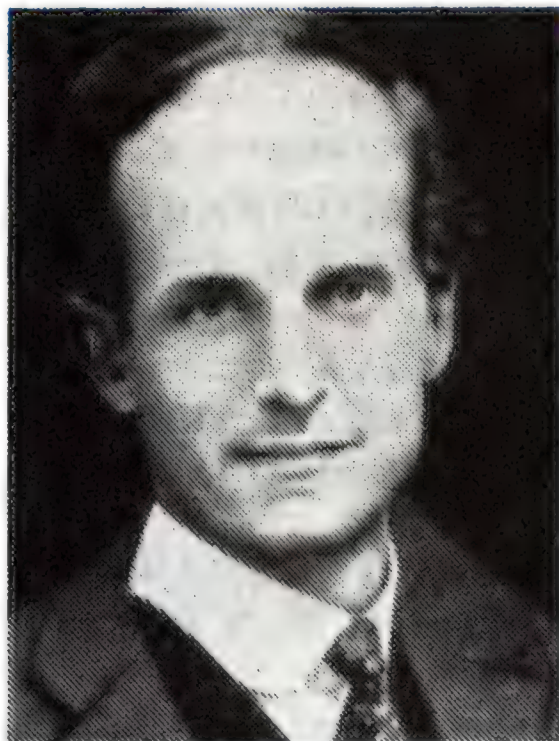
**МОСКОВСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ** готовит техников-электриков по специальности: монтаж и ремонт рентгеновской и электрометрической аппаратуры. Принимаем выпускников средних школ и ПТУ, работников системы Министерства здравоохранения СССР и системы «Медтехника». 127106, Москва, ул. Гостиничная, д. 9-а, кор. 3. Тел.: (095) 482-28-82, 482-59-45.

**ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ** готовит агрономов, зоотехников, техников, техников-пчеловодов, техников-механиков, техников-электриков, фермеров, технологов по хранению и переработке плодов и овощей, коммерсантов. 141300, Загорск, Московская обл., Птицеград. Тел.: (254) 6-14-60.



# ЖЕРТВЫ ЯЛТЫ

**Николай  
ТОЛСТОЙ**



## Казаки в Лиенце

Зимой 1944/45 гг. союзная разведка в Италии стала получать сведения о крупном поселении казаков на севере страны. История их появления в Италии весьма необычна.

В 1914/17 годах казаки покрыли себя славой, самоотверженно сражаясь на Восточном фронте. Октябрьскую же революцию большинство встретило в штыки: даже двадцать лет спустя они с гордостью вспоминали царское время и героические битвы против узурпаторов-большевиков. После установления на Кубани в 1920 году советской власти там периодически вспыхивали восстания, и, когда в 1942 году немецкая армия вошла в этот район, большая часть населения приветствовала оккупантов как освободителей от большевистского ига.

Немцы вели себя на Кубани вполне корректно. Землевладельцам возвратили землю и имущество, отобранные когда-то советской властью, и казаки спокойно зажили в возрожденных станицах. Многие добровольно пошли на службу в немецкие вспомогательные части. После Сталинграда, когда началось отступление немцев, тысячи казаков двинулись с ними на запад.

Немцы выделили переселенцам район около города Новоградка, в ста верстах западнее Минска. Здесь они и осели, начали возделывать землю, разводить скот. По казацкой традиции выбрали атамана — офицера инженерных войск Павлова, которого казаки до сих пор вспоминают как истинно народного вождя. Это был человек выдающихся организаторских способностей, и во многом именно благодаря его руководству казакам удалось проделать трудный путь от берегов Черного моря к границе Польши. По его инициативе в Новоградке были построены церковь, больницы и школы.

Но 17 июня 1944 года атаман Павлов был убит в окрестностях города при невыясненных обстоятельствах. Был выбран новый походный атаман — Тимофей Иванович Доманов, бывший майор Красной армии. Человек добрый и сове-

стливый, он не был, однако, такой яркой личностью, как Павлов. Многие казаки до сих пор уверены, что, останься Павлов в живых, он смог бы спасти свой народ от уготованной ему участи.

Казацкий стан в Новоградке, ставший прибежищем для казаков с Кубани, Дона и Терека, жил по старым казацким законам. Мужчины снова надели черкески, кое-кто даже щеголял в военной форме, оставшейся со времен Николая II. Возродились обычаи, зазвучали старые песни. Приезжали сюда и эмигранты — казаки из Западной Европы. Среди них — участники битв с большевиками в 1918/1921 годах: генералы Петр Краснов, бывший атаман донских казаков, и Вячеслав Науменко, бывший атаман кубанских. То был короткий период возрождения прежней жизни.

В сентябре 1944 года немецкие власти предоставили казакам новое пристанище: на севере Италии, в одном из немногих районов, оставшихся под властью рейха, была выбрана область, наиболее отдаленная от линии наступления Красной армии. Маленький казацкий народ снова двинулся со всем своим скарбом в путь через Польшу, Германию и Австрию. В Италии их вначале поселили в Джемоне, а затем перевели в Карнию, в Толмеццо.

Здесь, кроме казаков, жило также несколько тысяч кавказцев: грузины, армяне, азербайджанцы, осетины и другие. Их история во многом схожа с судьбой казаков. В основном это были остатки национальных частей, сформированных немцами якобы для освобождения их родины. Впоследствии немцы перебросили некоторые из этих формирований на Западный фронт, во Францию и Нидерланды, а большинство азербайджанцев оказалось на Итальянском фронте, в 162-й Тюркской дивизии, пользовавшейся репутацией отряда, который сражается до последнего. Грузины получили от немцев инструкции поселиться в Карнии. Штаб-квартира кавказцев находилась в Палуцце, в горах, в нескольких километрах севернее казацкого поселения в Толмеццо. Организованы они были гораздо хуже, чем казаки (наверное, трудно организовать воедино людей, говорящих на семнадцати различных языках и исповедующих разные религии). Как и к казакам, к ним во время их странствий присоединилось множество соотечественников, группами или поодиночке скитавшихся по Центральной Европе.

Штаб главнокомандующего союзными силами в Казерте впервые обратил серьезное внимание на казаков Толмеццо ранней весной 1945 года. В штабе разрабатывались планы по прорыву линии Густава и взятию Болоньи, чтобы после этого ворваться в открытую долину реки По. В Карнийских Альпах действовал отряд особых поручений английской службы специальных операций (ССО), в котором служил Патрик Мартин-Смит. Местные партизаны сообщили ему, что прошлой осенью казаки установили с ними контакт с целью заручиться поддержкой союзников, в победе которых не оставалось ни малейших сомнений. Мартин-Смит решил убедить казаков перерезать железнодорожную линию Виллах — Удин, одну из двух главных коммуникационных линий немецкой армии в Италии. Эта операция могла бы сыграть важную роль в наступлении. Но сколько-нибудь вразумительного ответа из Казерты Мартин-Смит не получил. Как он понял, в штабе не хотели, чтобы казаки знали о дате предстоящего наступления. А потом его план сорвали развернувшиеся события: немцы начали крупную операцию по очистке Карнии от партизан, а в середине апреля армии Александра беспрепятственно продвинулись вперед, взяв Имолу и Болонью. В конце месяца союзники могли атаковать Толмеццо совершенно самостоятельно.

Наступление на казачью дивизию было начато в ночь на 6 мая. Выйдя из лагеря в полном боевом порядке, английские войска двинулись с востока вдоль гористой долины Тальяменто. Вскоре стало ясно, что никто не собирается оказывать им сопротивления. Войдя к полудню в Толмеццо, англичане обнаружили, что опоздали: ни казаков, ни кавказцев здесь уже не было. Такое мирное завершение похода вполне устраивало англичан. К тому же после вечернего чая до них дошла, как выразился бригадный писарь, «лучшая новость войны»: подтверждение о безоговорочной капитуляции всех немецких сил в данном районе.

В плен англичанам сдался отряд грузин, где многие офицеры были князьями, а командиром — прекрасная грузинская княжна по имени Марианна. Всего за десять дней до сдачи отряда князь Ираклий Багратион, явившись в английское посольство в Мадриде, заявил, что 100 тысяч грузин, находящихся на службе в немецкой армии, сдадутся союзникам, если англичане пообещают не отправлять их в СССР.

Окончание. Начало см. в № 5, 1991 г.



МИД проинструктировал посольство не отвечать на это предложение.

Но куда же делись главные силы казаков и кавказцев? Итальянские партизаны с каждым днем становились все активнее. Особую угрозу для обитателей Толмеццо представлял отряд партизан под руководством католического священника: они дотла сожгли казацкий госпиталь, в огне погибло множество раненых. 27 апреля в штаб Доманова в Толмеццо явились три итальянских офицера с требованием, чтобы казаки сдали оружие и ушли с итальянской земли. Доманов согласился вывести казаков из Италии, но сдать оружие отказался. Итальянцев эти условия устроили, и 28 апреля казаки и часть кавказцев двинулись на север.

Они вышли в полночь, захватив с собой все, что можно было погрузить на повозки или унести на спине. Впереди шли конные отряды, возглавляемые штабом Доманова; за Донским полком двигались Кубанский и Терский, за ними тянулась бесконечная колонна повозок со старыми да малы-ми, с оружием, с вещами. Во главе колонны ехал «фиат» старого генерала Краснова. Для отражения нападений партизан южнее Толмеццо был выставлен арьергард из нескольких сот донских и кубанских казаков.

Переход казаков в Австрию был трудным и опасным. Поначалу пришлось отбивать атаки итальянских партизан, потом, когда поднялись выше в горы, на колонну обрушился ливень, сменившийся снежным шквалом. Многие погибли в пути: одни — от партизанской пули, другие — от холода, третьи сорвались в пропасть. Поздним вечером 3 мая передовые отряды штаба Доманова вошли в австрийскую деревню Маутен-Кетшах. К крайслейтеру района Юлиану Коллницу явился для переговоров казачий генерал в полной форме и через своего переводчика, эмигранта из Берлина, осведомился, где сейчас идут бои и куда надлежит явиться его войску. Коллниц, которому штаб в Клагенфурте приказал беспрепятственно пропустить казаков, ответил генералу, что его люди могут продолжать поход, но вообще война фактически закончена.

Решили, что казаки — по словам Коллница, их было 32 тысячи — будут продвигаться на север. Так казаки подошли к тирольскому городку Лиенцу в Пасху, в день надежды, и священники служили прямо в поле, а их прихожане целовались с криками «Христос воскрес».

4 мая Доманов привел в Лиенц арьергард казаков. Атаман поселился в гостинице рядом с Красновым, и они часами обсуждали, что делать дальше. Выбор был невелик и фактически сводился к вопросу, кому сдаваться — американцам или англичанам. Краснов, который, будучи эмигрантом, лучше разбирался в международной политике, утверждал, что англичане отнесутся к казакам с большим сочувствием и пониманием. Ведь именно англичане оказали белым самую горячую поддержку в борьбе против большевиков, и именно Черчилль, тогда военный министр, был самым рьяным сторонником английской военной интервенции в России. Краснов рассчитывал также на поддержку фельдмаршала Александра, главнокомандующего союзными силами в Италии. Ведь в ту пору, когда Черчилль посылал на помощь деникин-ской армии деньги и солдат, Александр воевал против большевиков в Курляндии. Он до сих пор с гордостью носит русский императорский орден, врученный ему генералом Юденичем. Краснов за ту же кампанию получил английский военный крест.

Решили послать делегацию назад, через перевал, для встречи с англичанами. Руководителем делегации был назначен генерал Васильев, его сопровождали молодой лейтенант Николай Краснов, внук Петра Краснова, и казачка Ольга Ротова, говорившая по-английски. Они-то и оставили нам свидетельства об этих переговорах.

Штаб генерал-майора Роберта Арбутнота, командира 78-й пехотной дивизии, помещался в том же доме, где всего неделю назад находился штаб генерала Доманова. Васильев, бывший офицер лейб-гвардии Казачьего полка императорской армии, объяснил английскому генералу цель своего приезда. Он сказал, что у казаков нет никаких разногласий с западными союзниками. Они просто хотят продолжать борьбу с большевиками и с этой целью просят разрешения соединиться с армией генерала Власова. Английский генерал не слышал о Власове, и Васильеву пришлось рассказать о Русской освободительной армии и ее целях. «Первым делом казаки должны сдать оружие», — сказал Арбутнот. Переводчица Ольга Ротова пишет: «Услышав это, генерал Васильев задал вопрос:

— Рассматриваете ли вы группу казаков как военнопленных?»

— Нет, военнопленными мы считаем тех, кого взяли в бою, с оружием в руках. А вас я считаю лишь добровольно передавшимися».

Но подробно обсудить вопрос о статусе они не успели. В комнату вошел бригадир Джефффри Мессон из 36-й пехотной бригады. По просьбе Арбутнота Васильев снова изложил позицию казаков, на что Мессон заявил, что самое главное — это как можно скорее сдать оружие. Васильев возразил, что этот вопрос в компетенции генерала Доманова, и англичане решили наутро отправиться в штаб Доманова и обсудить условия сдачи.

На следующий день бригадир Мессон со штабом прибыл к казакам. Встреча состоялась в столовой гостиницы, где жил Доманов. Приветствия и рукопожатия задали тон всей беседе, и казаки, жадно ловившие малейшие проявления доброжелательства англичан, заключили, что с ними обращаются не как с врагами или пленными. Слова бригадира Мессона тоже звучали многообещающе: он сказал, что казаки могут иметь при себе оружие на пути следования к месту сбора. Затем на столе разложили карту, и Мессон объяснил, что все русские силы должны стать лагерем в долине Дравы: казаки — вверх по течению реки между Лиенцем и Обердраубургом, а кавказцы — ниже, между Обердраубургом и Деллахом.

На этом обсуждение условий сдачи казаков закончилось. Казаки были счастливы, что англичане проявили такое редкостное понимание, а бригадир Мессон радовался, что столь щекотливое дело прошло гладко. Как сказано в военном дневнике 36-й бригады, «в случае отказа казаков сдать перед нами оказалась бы сила, с которой пришлось бы считаться, и мы не могли бы чувствовать себя в безопасности до их полной капитуляции».

Покончив с делами, договаривающиеся стороны приступили к завтраку, за которым лилось вино и велись дружеские беседы. В тот же день к казачьим военачальникам явились корреспонденты из «Таймс» и «Дейли мейл» — взять интервью. Они хотели знать, как и почему казаки ушли из СССР и оказались в Австрии. Генерал Доманов рассказал о жизни казаков при большевиках, о трудном пути от Кубани и Дона до Толмеццо, в неизвестность, на чужбину. Казаки твердо знали лишь одно: им ни в коем случае нельзя снова попасть в руки к Сталину. Те же репортеры беседовали накануне с генералом Васильевым, но ни интервью, ни фотографии в печати не появились.

Вечером в Австрию спустились первые отряды 36-й пехотной бригады. Двум передовым батальонам была поручена охрана казаков и кавказцев. Вот как описывает очевидец этот новый переход: «Это была чрезвычайно странная армия. Солдаты носили немецкую форму, но меховые казачьи шапки; траурно повисшие усы и сапоги до колен придавали им совершенно особый колорит, а если еще учесть, что двигались они в сопровождении повозок со всем своим скарбом, женами и детьми, то их никак нельзя было принять за немцев. Это была ожившая картина времен войны 1812 года. Казаки известны как замечательные наездники, и на протяжении всего пути они подтверждали эту репутацию. Конные эскадроны носились взад и вперед по дорогам, затрудняя движение ничуть не меньше повозок. Приказывать им что-либо было бесполезно: по-немецки и по-английски понимали немногие, но даже те, кто понимал, ничуть не желали подчиняться приказам. При таком хаосе можно лишь подивиться тому, как быстро и организованно выполнили они приказ о сборе — на другое утро все были в назначенных местах — мужчины, женщины, дети, багаж, лошади, повозки, коровы и даже верблюды».

Английские власти не проводили переписи в лагере казаков, но, согласно оценке, сделанной на основе заявок на продукты, их было 23 800 человек, в том числе несколько тысяч женщин и детей. Кавказцев, по примерным подсчетам, было 4800 человек. Сами казаки, впрочем, приводят другие цифры: от 30 до 35 тысяч. Однако в тот последний период текучесть была такова, что невозможно точно сказать, сколько человек собралось в долине Дравы в мае 1945 года. Впрочем, в отношении кавказцев цифра представляется примерно верной: по словам одного из их офицеров, в Толмеццо, перед походом в Австрию, их было 5 тысяч.

Ко второй неделе мая казаки собрались в долине между Лиенцем и Обердраубургом, разбив лагерь на берегах бурной Дравы, вдоль главной дороги и железнодорожного полотна. Штабы Доманова и полковника Алека Малькольма, коман-



дира Аргильского полка, находились в Лиенце. Кавказцы расположились в Грофельхофе, вниз по реке; штаб Баффского полка был поблизости, в Деллахе.

Командир кавказцев, Султан-Гирей Клыч, сдался со своей разношерстной армией одновременно с Домановым. Как и Краснов, Гирей был старым эмигрантом, во время гражданской войны он был связан с англичанами и оставался с бароном Врангелем до провала последней операции в Крыму, в 1920 году. Среди кавказцев Гирей пользовался таким же уважением и почетом, как Краснов среди казаков. Вскоре после прихода в Грофельхоф он собрал свою армию и произнес речь. Он сказал: «Пусть те, кто в состоянии уйти, — особенно молодежь — немедленно уйдут и забудут о нашей мечте освободить Кавказ и кавказские народы. Сам же я слишком стар, чтобы продолжать борьбу, и предпочитаю сдаться на милость победителя».

Многие не преминули воспользоваться этим предложением и бежали, англичане не могли предотвратить массовые побеги. Лагерь не были огорожены проволокой и охранялись в основном самими пленными. Из казацкого лагеря бежали очень немногие. Видимо, казаков отпугивали крутые заснеженные горы, стеной окружавшие долину, страшило сознание того, что они окажутся в незнакомой стране, среди чужих людей. А кроме того, — и это главное — казаков объединяла надежда, что им позволят поселиться всем вместе в каком-нибудь уголке свободного мира.

Генерал Краснов надеялся, что англичане как-то помогут казакам, и не просто предоставят убежище на Западе, но еще и позволят им остаться единым народом и сохранить свое уникальное культурное наследие. Вскоре после перевода казацкого штаба из Кетшаха в Лиенц Краснов написал письмо фельдмаршалу Александру. Напомнив о том, как они вместе воевали в гражданскую войну на стороне белых, Краснов рассказал о положении казаков и умолял фельдмаршала употребить свое влияние, чтобы помочь им. Дошло ли это письмо по назначению, неизвестно, но ответа генерал не получил.

Краснов был личностью незаурядной. Он родился в 1869 году в казацкой семье. К 1945 году за его плечами лежал большой и сложный жизненный путь. Многие сближали его с Уинстоном Черчиллем, и прежде всего глубокое знание истории своего народа и романтическая влюбленность в эту историю. Как и Черчилль в молодости, он обладал авантюрной жилкой и сочетал военную службу с журналистикой. В 1890-е годы он ездил с военной миссией в Эфиопию, в 1904 году писал о русско-японской войне для журнала «Русский инвалид». Во время первой мировой войны отличился, командуя кавалерийским корпусом, и получил Георгиевский крест. После Февральской революции и отречения царя Краснов, предчувствуя страшную угрозу, нависшую над Россией, оказался среди тех, кто готов был применить силу, чтобы навести порядок в государстве, стоящем накануне краха. В 1918 году в борьбе с большевиками он сотрудничал сначала с немцами, затем с англичанами. После окончательной победы большевиков эмигрировал, жил во Франции и Германии, занимаясь в основном литературным трудом, написал несколько романов. Наибольшую известность получила его во многом автобиографическая книга «От двуглавого орла к красному знамени», выдержавшая несколько изданий.

Когда в 1941 году Германия напала на СССР, Краснов усмотрел в этом очередную возможность выступить против давнишнего врага — большевизма. Но к этому времени он был уже старым человеком. В момент сдачи англичанам ему шел 77-й год. Он дал, однако, казацкому движению свое престижное имя, посещал немецкие лагеря для русских военнопленных, писал воззвания в русской эмигрантской прессе. К армии Доманова Краснов присоединился примерно за месяц до ее сдачи в плен.

Таким был человек, к которому сейчас обратились все надежды и чаяния казаков, веривших, что Краснов вызволит их из беды, хотя формально командующим был Доманов. В это время, впрочем, в лагере появилась еще одна примечательная личность из героического прошлого, фигура не менее знаменитая, хотя и совсем другого характера. Это был генерал Шкуро, который воевал в армии Деникина.

Если Краснов олицетворял блеск русской императорской армии, то в Андрее Григорьевиче Шкуро воплотился дух дикого разгульного казачества времен Богдана Хмельницкого и Стеньки Разина. Кубанский казак, он в 31 год был полковником, во время первой мировой войны прославился дерзкими партизанскими вылазками. Когда казаки выступи-

ли против большевиков, он отдал этой борьбе все свои силы. Английский офицер, бригадир Вильямсон, оставил нам яркое описание этой колоритной фигуры: «Небольшого роста, с обветренным лицом, с длинными желтыми усами, Шкуро был одной из ярчайших фигур гражданской войны. Невозможно было представить его без шапки волчьего меха, красно-бело-синих полосок Добровольческой армии на рукаве. В его кавалерийском полку, в котором было человек 300—400, все вместо каракулевых папах носили шапки волчьего меха. Их штаб размещался в вагонах, на которых были нарисованы волки, преследующие добычу. Это были гордые и своенравные люди, вооруженные до зубов: на бедре висел традиционный кинжал, сбоку висела сабля, где-нибудь еще был спрятан револьвер, а грудь перекрещивали патронташи. Шкуро, несомненно, был замечательным кавалерийским командиром, но, кроме того, еще и большим повесой. Однажды с тремя-четырьмя офицерами он заявился в самый разгар танцев в залу большой ростовской гостиницы и потребовал от гостей сдавать драгоценности и деньги на нужды его «волков». Достаточно было взглянуть в его глаза, дерзко блескующие из-под волчьего меха, чтобы понять, что с ним лучше не спорить. К тому же «волки» пользовались славой безжалостных грабителей. Так что Шкуро сорвал изрядный куш».

Шкуро эмигрировал из России в 1920 году. Какое-то время он выступал с конными номерами в цирке, но чаще всего напивался со старыми друзьями в барах Белграда или Мюнхена. Когда Германия напала на СССР, Шкуро явился к немцам и предложил свои услуги. Хотя он не пользовался таким авторитетом, как Краснов, все же его имя было широко известно среди казаков: в казацких лагерях и станицах ходило множество историй о его смелости и ловкости. Официально числясь командиром учебного полка 15-го казацкого корпуса, он вел кочевой образ жизни, навещая в казацкие лагеря и не пропуская буквально ни одной попойки.

Среди тех, кого судьба свела в те дни с казаками, был майор «Расти» (Рыжик) Дэвис, молодой парень из Уэльса, служивший в Аргильском полку. После перевода своего штаба в Лиенц полковник Алек Малькольм поручил Дэвису курировать казаков. Работа была нелегкая. Число казаков превышало 20 тысяч, и лагеря их раскинулись на площади в 12—14 кв. миль, но, по словам самого Дэвиса, ему это поручение пришлось по душе. (Переводчиком и офицером связи при нем состоял молодой эмигрант лейтенант Бутлеров.) Больше всего его впечатляли товарищество и открытость казаков, их живописная внешность. Во время ежедневных объездов казацкие семьи высыпали из барачных хижин и палаток, радостно приветствуя его. Люди горячие и добросердечные, они к тому же всячески старались выразить свою благодарность англичанам, которые кормили и содержали их и относились, в отличие от немцев, дружески и приветливо. Дэвис не раз спрашивал казаков, что бы они предпочли, если бы им был предоставлен выбор. Отвечали по-разному, но все были единодушны в одном: ни в коем случае нельзя возвращаться в Советский Союз, ибо выбор там для них был невелик: смерть либо рабский труд в лагере.

Дэвис всячески успокаивал казаков, не веря, что его правительство способно на бесчеловечные акции. Он не знал истории России и не особенно интересовался русскими делами, но воспитание и опыт подсказывали ему, что джентльмены вроде фельдмаршала Александра не могут отдавать приказы, которые приводят к зверствам. Ведь в конце концов Англия вступила в войну, чтобы защищать права малых народов и беззащитных людей; и вряд ли в момент победы она откажется от своих пострадавших идеалов.

Большинство казаков верили Дэвису. Однако некоторые, особенно бывшие советские граждане, не могли отделаться от терзавших их страхов. В Лиенце никто — ни англичане, ни русские — не знал о секретном соглашении, подписанном в последний день Ялтинской конференции, но в начале мая до лагерей дошли вести о выдаче владовцев советским властям. Некоторые, наверное, слышали о судах с репатрируемыми, выходящих из английских портов с прошлого октября. Но казаки успокаивали себя мыслью, что у них, как у бывших союзников англичан, положение особое, что фельдмаршал Александр, когда-то воевавший вместе с Белой армией, с сочувствием отнесется к их судьбе. И поскольку большинство офицеров и многие солдаты являются старыми эмигрантами, никогда не жившими в СССР, они не подлежат «возвращению» советским властям. Все эти сооб-



ражения полностью разделял генерал Краснов. Он снова написал письмо фельдмаршалу Александру, где напоминал ему о тех днях, когда они оба сражались в Белой армии против большевиков, обращал его внимание на положение казаков и умолял фельдмаршала спасти их. Но и это письмо осталось без ответа.

Ранним утром 27 мая Дэвис сообщил казацкому штабу, что к полудню войска должны сдать оружие. Между тем, по первоначальным условиям сдачи в плен казаков 8 мая, бригадир Мессон согласился оставить им оружие для самообороны против партизан. После расселения в лагере основные запасы оружия, ставшего в новой обстановке ненужным, были свалены в кучи, которые охраняли английские солдаты. Но солдаты Доманова, выполнявшие функции охранников и лагерной полиции, имели полномочия в случае необходимости пускать в ход оружие, а офицеры оставили при себе револьверы и сабли.

Казаки быстро выполнили приказ, и к полудню все оружие, за исключением отдельных предметов, припрятанных владельцами, было сдано. События начали развиваться с поразительной быстротой. Майор Дэвис с переводчиком Бутлеровым, явившись в штаб Доманова в Лиенце, вручил атаману письменный приказ, одновременно объяснив через переводчика его содержание: всем казачьим офицерам предписывается завтра явиться на конференцию в районе Обердраубурга, где фельдмаршал Александр сообщит им важное решение относительно их будущего.

Бутлеров, для которого этот приказ был не меньшей неожиданностью, чем для Доманова, решил расспросить англичанина поподробнее. Он спросил, действительно ли планируется конференция или это какой-то подвох. Дэвис заверил его, что все в порядке.

«— Но это как-то странно,— настаивал Бутлеров.— Зачем фельдмаршалу нагружать вас такой работой — организовывать грузовики и машины для перевозки двух тысяч человек, когда он вполне может приехать сюда на своей легковушке? Что-то тут не так. В чем дело?»

Дэвис пожал плечами:

— Не знаю. Это приказ, и не мне его обсуждать, и, уж конечно, я понятия не имею, что думает фельдмаршал. Может, там есть какое-нибудь здание, пригодное для такого собрания, кино, например, или театр. В лагере таких помещений нет».

Тем временем генерал Доманов обзванивал своих разбросанных по лагерям офицеров, сообщая о приказе. Для некоторых старших офицеров он назначил совещание на 11 часов утра у себя в штабе. Он зачитал им приказ: в час дня все офицеры должны собраться на площади перед бараками в Пеггее, где накануне сдавали оружие. Он говорил спокойным, размеренным тоном, как будто речь шла о самом обычном деле. Когда он кончил, в комнате воцарилось молчание. Офицеры обдумывали услышанное. Затем посыпались вопросы:

— Вещи с собой брать?

— Нет, вы к вечеру вернетесь.

— Как быть с офицерами, которые не поверят приказу и решат бежать в горы?

— Вы командир полка. Вы меня поняли?

Спокойствие Доманова являло собой разительный контраст с волнением, охватившим старших офицеров. Они терялись в догадках, но большинство склонялось к тому, что конференция невыдуманная и, наверное, там объявят о положительном решении насчет их будущего устройства. Некоторые полагали, что им предложат поселиться в какой-нибудь малозаселенной английской колонии. По рассказам одного донского казака, успевшего бежать в горы, большинство из тех, с кем он говорил в тот день в лагере, считали, что с ними ведут честную игру.

Помимо веры в честность англичан, на многих казаков произвело впечатление то спокойствие, с которым принял приказ генерал Доманов. События двух последних дней не встревожили атамана. Он верил, что приказ о разоружении вызван необходимостью навести порядок среди кавказцев, которые недавно снова учинили какие-то безобразия. Что до конференции, то у него были свои причины верить англичанам. И он, и генерал Краснов скорее всего связывали эту конференцию с последним письмом Краснова фельдмаршалу Александру.

Пока Доманов, Краснов и другие старшие офицеры штаба в Лиенце садились в машины, направляясь на конференцию, остальные офицеры собрались, следуя инструкциям, на площади перед бараками в Пеггее. Их было 1475 человек

(около 50 остались дежурными при полках), и они являли собой необычайно живописное зрелище. На встречу с фельдмаршалом они решили явиться в полном блеске: все надели праздничную форму, отглаженную и приведенную в порядок женами, построились в три колонны по названиям полков, красовавшимся на нашивках — «Дон», «Кубань», «Терек». Во главе каждой колонны выступал атаман. Все надели свои награды; у многих на груди красовались царские ордена. Одного очевидца особенно поразил знаменосец терских казаков, высокий человек благородного вида с широкой белой бородой, развевающейся на ветру. Гордо глядя прямо перед собой, он высоко вздымал трехцветное знамя Российской империи.

В тот майский полдень на площади перед бараками в Пеггее собрался поистине цвет казачества. Вокруг толпились семьи, многие женщины громко рыдали. По сигналу майора Дэвиса колонны вышли за ворота, где их поджидали шестьдесят трехтонок. Разбившись на группы, офицеры сели в грузовики.

Длинная колонна грузовиков двинулась по пыльной дороге на восток. Вскоре казацкий лагерь остался позади, колонна остановилась на опушке леса, где уже стояло несколько машин с казачьими генералами, но Доманова среди них не было. Опушка была окружена английскими войсками, и по приказу в каждый грузовик село по несколько английских солдат с автоматами. Как только колонна снова двинулась в путь, к ней пристроились выехавшие из леса бронемашины и вооруженные мотоциклисты. Некоторых казаков, сомневавшихся в реальности конференции, встревожил такой усиленный эскорт; другие же заметили, что, наверное, это просто мера предосторожности от нападения партизан. Среди сомневавшихся был кубанский казак Александр Шпаренго. В то утро он долго спорил со своими товарищами, так что его даже упрекнули в излишнем скептицизме. Пока грузовик ехал вдоль Дравы, Шпаренго не оставляли сомнения: можно ли верить англичанам? Он решил бежать. Но как? Будут ли солдаты стрелять в него, если он выпрыгнет из грузовика? Он решил, что вряд ли: если конференция настоящая, то солдаты не могут убивать тех, кто откажется на ней присутствовать. А если все это просто предлог, тогда, стреляя в него, они рискуют выдать себя с головой. Нет, опасность невелика. «Господа, вы как хотите,— крикнул он,— а я дальше не еду. Я им не верю». И с этими словами выпрыгнул из грузовика.

Атаман Доманов с переводчиком, следуя инструкциям майора Дэвиса, выехал из Лиенца на полчаса раньше главной колонны и как раз в это время подъехал к штабу 36-й пехотной бригады в километре от Обердраубурга. Атамана встретил командир бригады Джеффри Мессон.

— Я вынужден сообщить вам, сэр,— сказал он, делая паузы для перевода,— что мною получен приказ передать всю казачью дивизию советским властям. Я сожалею, что вынужден сообщить вам об этом, но приказ не оставляет мне другого выхода. Всего вам доброго.

Доманов и Бутлеров молчали, пораженные этой новостью. Бледные, с посеревшими лицами, они вернулись к машине и в сопровождении английского офицера-охранника двинулись на восток.

## Возвращение: из Лиенца на Лубянку

За два дня до описанных событий бригадир Мессон, создав командиров батальонов своей бригады на совещание штаба в Обердраубурге, сообщил им о дальнейшей судьбе тех, кого они охраняли последние три недели. Решение, объяснил Мессон, принято на самом высшем уровне, и, если даже оно кому-то не нравится, их долг — повиноваться. Следует принять все предосторожности во избежание массовых попыток побега. Подробный план будет разработан позже, а пока необходимо изолировать офицеров от солдат — без командиров казаки вряд ли смогут оказать организованное и действенное сопротивление репатриации.

Но изолировать офицеров было непросто. Большинство их было рассеяно по всему лагерю, по своим частям, и попытка арестовать кого-либо из них неизбежно вызвала бы то самое сопротивление, которого следовало избежать. Поэтому вышестоящее руководство решило применить хитрость: сообщить казачьим офицерам о мнимой конференции с фельдмаршалом Александром, а когда те соберутся все



вместе, объявить об их выдаче советским властям. Разумеется, до этого необходимо было разоружить казаков. Решено было собрать офицеров на ночь в специально подготовленном помещении в Шпиттале, городке ниже по течению реки, а на следующий день под усиленной охраной передать советским властям в Юденбурге. Затем последует передача рядовых казаков и их семей. Поскольку надобность в обмане к тому времени уже отпадет, силу можно применять в том объеме, в каком это окажется необходимо для успеха операции. Основной состав казачьей дивизии будет доставлен на поезде вслед за офицерами.

Большинству офицеров, присутствовавших на совещании, в том числе и самому бригадиру Мессону, предстоящая операция внушала отвращение. Да и выступать в роли обманщиков тоже было неприятно. Но, как подчеркнул Мессон, полученные им приказы не допускали никаких альтернатив, их надлежало выполнить.

Полковник Алек Малькольм из 8-го Аргильского полка собрал в Лиенце своих офицеров и рассказал им о предстоящей операции.

Майор Дэвис, который был к казакам ближе других, пришел в ужас (не столько от перспективы возвращения казаков в СССР — он плохо представлял себе, что за этим кроется, — сколько от необходимости стать обманщиком).

Объяснив это Малькольму, он потребовал, чтобы офицером связи с казаками назначили кого-нибудь другого. Терпеливо выслушав его, Малькольм категорически отказался. Операция, объяснил он, очень сложная. А самоустранение Дэвиса может породить сомнения у казачьих офицеров. К тому же, если о конференции им сообщит именно Дэвис, которого они близко знают и которому верят, это увеличит шансы на успех.

Дэвис скрепя сердце вынужден был подчиниться этой логике и твердому приказу командира. Ему пришлось обмануть своего друга Бутлерова и других казаков, среди которых он пользовался такой популярностью. Но, глубоко уважая Алека Малькольма, он не осмелился нарушить приказ. В свою очередь, и Алек Малькольм, и Мессон знали, что решение относительно казаков принято на очень высоком уровне, самым фельдмаршалом Александером, за которым стоял Черчилль. Никакая армия не устоит, если ее офицеры начнут сомневаться в приказах, а в данном случае, как полагали Мессон и Малькольм, их начальники имели доступ к целому ряду фактов, неизвестных полевым офицерам.

Поскольку Казачий стан являлся местом сбора и убежищем для перемещенных казаков, в последние недели перед переходом из Толмечцо в Австрию их собралось здесь великое множество. Среди них, например, были старые эмигранты, вынужденные уехать из Югославии в конце 1944 года. Деваться им было некуда, и они пробрались к своим землякам в Италию. И даже среди тех, кто от начала до конца проделал опасный путь от Новогрудка до Толмечцо, была большая группа гражданских беженцев.

Английские военные власти, казалось, и сами были не в большом восторге от этой «части современной войны». На другой день после успешного проведения «операции» штаб 78-й дивизии издал следующий приказ:

«1. Многим офицерам и сержантам армии известно, что союзники во время операции широко применяют методы маскировки и обмана.

2. Чрезвычайно важно, чтобы ни в какой форме не была обнародована практика союзников в этом и подобных вопросах, даже и теперь, после прекращения военных действий. Это относится равным образом как к методам, применяемым в отдельных операциях, так и к общей политике. Всякая информация по данному вопросу будет по-прежнему считаться «совершенно секретной».

3. Формирования и отряды должны позаботиться о том, чтобы этот приказ был доведен до сведения всех заинтересованных лиц. Поскольку излишние комментарии крайне нежелательны, циркуляция приказа должна быть строго ограничена теми, кто знает о методах обмана. Командиры формирований и отрядов сами должны решить, каким образом ознакомить подчиненных с этим приказом».

28 мая в десять утра полковник Брайар из 1-го Кенсингтонского полка собрал своих офицеров на совещание в штабе батальона в Шпиттале. Объявив приказ по дивизии о репатриации казаков, он стал объяснять, какие меры следует принять, чтобы все прошло успешно.

Заняв свои позиции, офицеры в нетерпении стали ожидать прибытия казаков. Первым прибыл генерал Доманов. Его

вместе с Бутлеровым отвели в барак за оградой, поставив там охрану. Через полчаса появилась первая колонна. На двух грузовиках прибыли 125 кавказских офицеров. Впереди в открытом автомобиле ехал Султан-Гирей в форме офицера царской армии. С ними обошлись так же, как с казаками: сказали о конференции в Деллахе и потребовали, чтобы Гирей выехал первым.

После прибытия кавказцев машины пошли сплошным потоком. Одним из первых приехал генерал Краснов, которому помог выйти из машины его сын, генерал Семен Краснов. Все грузовики обыскивали на предмет наличия оружия, а офицер разведки 36-й бригады сверял имена по имевшемуся у него списку. Это сильно замедляло процедуру, и полковник Брайар решил на свой страх и риск сократить проверку, чтобы успеть до темноты загнать казаков в бараки. Затем он пошел к Доманову и объявил, что казаки и кавказцы проведут ночь в лагере, и он, Доманов, по-прежнему отвечает за дисциплину своих офицеров. Утром, в 7.30—8.30, их построют в группы по 500 человек и объяснят, что с ними будет дальше.

После разговора с Брайаром Доманов пошел к своим офицерам и пересказал им то, что услышал. Для большинства это известие прозвучало смертным приговором. От себя Доманов почти ничего не добавил, он производил впечатление совершенно раздавленного человека.

Услышав о репатриации, многие в панике начали срывать знаки различия, пытались избавиться от мундиров и черкесок, выбрасывали документы, которые могли бы засвидетельствовать в НКВД их чины. Офицеры хорошо понимали, что им предстоят самые жестокие испытания. Понимали это и англичане — и потому приняли тщательные меры по предотвращению побегов, составили список офицеров (для рядового состава список не заводился). Пораженные обманом англичан, казаки принялись искать виновных. Совершенно очевидно, что их предали, но кто именно? Уважение казаков к англичанам было столь велико, что многие не сомневались: измена возникла в их собственных рядах.

Генерал Краснов утихомирил спорщиков, сказав, что если их действительно ждет выдача большевикам, то по крайней мере они могут с достоинством принять свою судьбу. В одном только он упрекнул Доманова: атаман мог бы по меньшей мере попытаться проверить подлинность информации англичан о конференции.

Попросив бумагу и ручку, Краснов принялся сочинять петицию. Он писал по-французски, и хотя текст исчез при таинственных обстоятельствах, свидетели донесли до нас его суть. Краснов писал, что он и другие офицеры готовы подчиниться своей судьбе, но умолял о снисхождении к рядовым казакам и их семьям, которых никак нельзя было обвинить в соучастии в военных преступлениях. Копии петиции, подписанной большинством офицеров, были отправлены королю Георгу VI, фельдмаршалу Александру, папе, в штаб-квартиру Международного Красного Креста и королю Югославии Петру (некоторые старые эмигранты являлись югославскими гражданами).

Тем временем и другой знаменитый казацкий генерал узнал об уготованной ему судьбе. Русского врача профессора Вербицкого, прибывшего вместе с офицерами, попросили осмотреть генерала, у которого случился сердечный приступ. В сопровождении английского солдата Вербицкий отправился в комнату, где на кровати лежал его старый знакомый генерал Шкуро. Подойдя к пациенту, Вербицкий понял, что Шкуро на самом деле ничем не болен. Косясь на английских солдат, стоявших у двери, Шкуро прошептал по-русски: «Кто приехал и куда их посылают?» Вербицкий, тоже шепотом, объяснил, что прибыл весь офицерский состав казачества из Лиенца, в том числе генерал Краснов. Шкуро побледнел, в отчаянии махнул рукой и несколько минут лежал молча, обдумывая услышанное. Больше им поговорить не удалось: английский солдат сказал, что время истекло. Вербицкий вернулся в лагерь с тяжелым сердцем, терзаемый дурными предчувствиями. Вскоре после этого к Шкуро наведалься полковник Брайар, сообщивший генералу, что завтра его выдадут советским властям. На просьбу Шкуро расстрелять его тут же, на месте, Брайар отрезал, что это невозможно, и ушел.

В 9 часов казакам пришлось отправиться на ночь в свои бараки. Но лишь немногие из них спали в ту ночь, и наверняка не сомкнул глаз генерал Доманов. Он понимал, что его ждут жестокие пытки и неминуемая смерть, но его мучило еще и сознание того, что он потерял доверие своих товарищей.



Утром в пять часов дали завтрак. Вскоре после этого один из священников попросил у полковника Брайара разрешения совершить службу, для многих последнюю. Брайар согласился. Позднее он писал, что «это была замечательная служба с великолепным пением». Но времени на обряды было совсем немного. В 6.30 к воротам подошел первый грузовик, и английский офицер приказал сесть туда Доманову со штабом. Доманов отказался, добавив, что больше не властен над своими офицерами. Тогда полковник Брайар заявил, что дает десять минут на размышления, после чего примет меры. Десять минут прошли. И поскольку ни Доманов, ни его офицеры не собирались повиноваться приказу, за дело взялся взвод английских солдат.

Однако оказалось, что заставить казаков повиноваться — задача не из легких. Офицеры сели на землю, взявшись за руки, и когда английский сержант попытался силой оттащить одного офицера, тот укусил его за руку. Это послужило для охранников сигналом — они набросились на безоружных, среди которых были старики, вроде генерала Тихоцкого, способного передвигаться только ползком. Несколько минут английские солдаты дружно орудовали прикладами винтовок, и многие казаки были избиты до потери сознания. Правда, были и такие, кто не решился избивать безоружных казаков. Но в общем, как писал полковник Брайар, «вмешательство возымело должное действие» и казачьи офицеры залезли в грузовики.

Генерал Краснов наблюдал за этой сценой из открытого окна своего барака, когда несколько английских солдат бросились туда, чтобы выволочь старого генерала. Но такого надругательства казаки потерпеть не могли. Офицеры подбежали к окну, взяли 76-летнего генерала на руки и отнесли его в грузовик. Краснову было разрешено сесть в кабине, рядом с шофером. Его внук, Николай Краснов, видел, как дед перекрестился и прошептал: «Господи, сократи наши страдания!»

Генерал Краснов ехал в переднем грузовике колонны, которую замыкала машина, где находился генерал Шкуро со штабом. Всего в ночь 28—29 мая через Шпитталь проехало около 1600 казаков и кавказцев. Для некоторых этот пункт оказался конечным: в официальном рапорте сообщалось о трех попытках самоубийства, из которых «две оказались удачными». Но английский офицер, занимавшийся погрузкой казаков и обыскивавший после этого лагерь, сообщает о 8—12 попытках самоубийства. По меньшей мере трое повесились на электрических шнурах, другие перерезали себе горло или вены осколками стекол. Некоторые офицеры решили не откликаться при регистрации в Юденбурге. Трое во время посадки на грузовики спрятались, и потом им удалось выбраться на волю из-за колючей проволоки, окружавшей лагерь.

Но сотни других, менее удачливых казачьих офицеров на полной скорости приближались к Юденбургу, советской границе. Одного казака, спрыгнувшего с грузовика, поймали; в других беглецов стреляли. Лейтенант Дж. Т. Петри, которому была поручена охрана грузовиков, вспоминает, как «офицеры на всем пути от Шпитталя до Клагенфурта выбрасывали за борт ремни, шпоры и знаки различия».

Через несколько часов глазам едущих в передовом грузовике предстала посреди лесистой долины Мура панорама Юденбурга. Река служила демаркационной линией между двумя армиями. Грузовики медленно въехали на мост, вдоль которого стояли английские танки и пулеметы. Затем вся колонна выстроилась сбоку, грузовики один за другим переезжали мост, высаживали пассажиров на советской стороне и возвращались.

Перейдя по мосту на другую сторону, майор Гуд стал наблюдать за ходом выдачи казаков. Но тут стоявший рядом с ним казачий офицер вытащил откуда-то бритву, резко полоснул по горлу и, окровавленный, упал в предсмертных судорогах к ногам английского майора. Ошеломленный столь неприятным происшествием, майор осведомился у женщины-офицера, что ожидает казаков. Она заверила его, что «старшие офицеры будут посланы на перевоспитание, а младших отправят на работы по восстановлению разрушенных советских городов». Впрочем, вскоре на тот же вопрос он получил совсем другой ответ: капитан Красной армии многозначительно провел ладонью по горлу.

Эдуард Стюарт, бывший мотоциклист связи в Королевском сигнальном корпусе, написал мне следующее: «Меня вызвали охранять английскую часть моста в Юденбурге, когда колонну русских казаков передавали советским на другом конце моста. Официально нам так и не сообщили

причину выдачи этих несчастных, но мы все понимали, что они воевали вместе с немцами против нас. Мы понимали также, что они идут навстречу своей смерти, насчет этого у нас не было ни малейших сомнений. Возле моста находилось ведро для нечистот, и многие казаки воспользовались им, хотя и вовсе не по назначению. Они наполнили его немецкими марками, часами и другими вещами. Сам я не видел, чтобы к казакам применялось насилие, но я не ехал с конвоем, а просто стоял на месте... В ту ночь и на другой день мы начали подсчитывать выстрелы, доносившиеся со стороны русского сектора под аккомпанемент самого замечательного мужского хора, который я когда-либо слышал. Голоса разносились по всей округе. Выстрелы сопровождались веселыми криками».

Казаки умели умирать. Может быть, они пели, чтобы встретить смерть со словами литургии на устах, а может, чтобы показать англичанам, как они умирают.

Английские солдаты, находившиеся тогда в Юденбурге, могли лишь догадываться о судьбе казаков. Но одному казачьему офицеру, оказавшемуся в аду, чудом удалось выбраться оттуда через десять лет. Речь идет о Николае Краснове, внуке старого генерала. Семья Красновых покинула Россию, когда ему было всего четыре месяца; с тех пор жил он в Югославии. В СССР он был осужден без суда и следствия на десять лет работ в страшных сибирских лагерях. Лишь немногие смогли пройти через это испытание. В числе этих немногих оказался и Николай Краснов. Он не только дожил до конца своего срока — ему разрешили как гражданину Югославии уехать из СССР. В декабре 1955 года он уехал в Швецию и там записал все, что помнил, — от обещаний англичан в Лиенце до лагерного ада. Его дед и товарищи-казаки завещали ему, если он выживет, написать мемуары, рассказать миру о предательстве англичан и жестокости советских властей. Он писал, стараясь не упустить ни единой, даже самой мелкой подробности, и, лишь закончив книгу, уехал в Аргентину, где жила его жена Лили, которой десять лет назад удалось спастись от репатриации, скрывшись в горах Австрии. Он умер вскоре после выхода книги.

Как рассказывает Н. Краснов, в Юденбурге генералы Краснов, Шкуро и Доманов, а также другие старшие офицеры содержались отдельно от остальных. Всех согнали в большой литейный цех металлургического завода, генералов же поселили в комнате, очевидно, бывшей канцелярии. Николай был вместе с дедом, здесь же находились его отец и дядя. На первых порах их охраняли красноармейцы, обращавшиеся с ними вполне вежливо. С самого начала было очевидно, что для советских главное во всем этом деле — захват знаменитых белых генералов. Командир части пригласил Краснова и Шкуро в свой штаб, он, оказалось, тоже участвовал в гражданской войне, и бывшие противники живо обсуждали битвы прежних дней. О политике разговора не заходило. Советский офицер был вежлив и почтителен.

Вообще советские офицеры часто наведывались к своим заключенным, и разговор неизменно возвращался к 1918 году, когда красная кавалерия и белые казаки схватились на Дону и на Украине.

Среди рядовых красноармейцев установилось странное, но единодушное отношение к пленным. На белых офицеров они смотрели снизу вверх, уважая в них последовательных врагов, никогда не прекращавших открытую борьбу против большевиков. Совсем другие чувства вызывали у них бывшие офицеры Красной армии вроде Доманова. К ним относились с презрением или попросту игнорировали.

Через два дня Красновых, Доманова, Шкуро, Султан-Гирея, Васильева и других старших офицеров увезли на грузовиках в Грац, а наутро их перевели в Баден, в другую тюрьму, где офицеры СМЕРШа подвергли их пристрастным и грубым допросам. 4 июня всех отвезли на ближайший аэродром. Вот что вспоминает об этом бывший смершевец, вскоре перебежавший к американцам: «Однажды, в конце весны 1945 года, когда мы уже были в Бадене, мой начальник, подполковник, предложил мне сопровождать его, пообещав показать, как он выразился, «живую историю».

Они отправились на аэродром, куда привезли группу казаков. «Когда мы приехали, на поле уже стоял самолет, готовый к отлету. Возле был грузовик, накрытый брезентом, а рядом собралась группа офицеров СМЕРШа, к которым мы и присоединились. Мой подполковник был здесь старшим по чину.

— Ну что ж, — обратился к подполковнику майор из оперативного отдела, — можно начинать?



Подполковник кивнул. Из кабины грузовика медленно вылез старый человек в немецкой форме, на плечах красовались погоны русского генерала, а на шее висел царский орден в форме белого креста.

— Это Краснов, — подтолкнул меня локтем подполковник. — А вот это Шкуро. — Я увидел маленького человека в генеральской форме. Во время гражданской войны он был одним из главных врагов кавалерии Буденного, и бои с ним велись прямо в моем родном городе. Я глазел на них обоих с нескрываемым интересом, как, впрочем, и все остальные.

— Ну и мерзавцы эти англичане! — сказал подполковник. — Наградили Шкуро своим орденом, по имени какого-то ихнего святого, не то Николая, не то Георгия, а теперь нате вам, стоило нам мигнуть — и они тут же доставили голубчика.

Все наши дружно рассмеялись. Из грузовика вылезла еще одна группа офицеров в такой же форме. Они скрылись в самолете в сопровождении солдата-энкавдэшника с автоматом и майора из оперативного отряда СМЕРШа. Самолет набрал скорость и взмыл в небо, по направлению к Москве и эшафоту».

В Москве офицеров посадили в одну из тех машин для перевозки заключенных с надписью «Хлеб», которые так впечатляли западных корреспондентов, изображавших процветание советского народа. Вскоре машина подъехала к месту назначения — Лубянке. Офицеров ввели в здание и, проведя длинным коридором, развели по одиночным камерам. Николай Краснов вспоминал в своей книге, какой ужас охватил его в тот момент: «Щелкнул замок. Осматриваюсь. Осматривать тут нечего. Малюсенькое помещение вроде телефонной кабинки. Низко навис потолок. Помещение ярко освещено. Глазам больно. Сесть можно только на пол с согнутыми коленками. Тишина. Мало воздуха. Жарко. Душно... Полную мертвящую тишину иногда прерывает дунераздирающий крик, звериный вой кого-то истязаемого или умирающего».

...Вот фрагменты воспоминаний о допросе, проводимом «самим» Меркуловым. Меркулов обратился к молодому Краснову: «— Королевский офицер! Видали? А мускулы у тебя есть, королевский офицер? Пошлю тебя работать туда, куда Макар телят не гонял, так ты другое запоешь. Будешь поправлять то, что фашистские гады понапортили. Жаль, что мало вас, контриков, мы получили! Многим удалось смотать удочки и спрятаться под юбкой у западников. Ничего! В свое время и их получим! Со дна моря достанем!.. Нинет! Пулю в лоб вы не получите. Ни в лоб, ни в затылок. Жить вас заставим. Жить и работать! А придет время, во имя социалистической стройки сами передохнете.

— Я думаю, что этот разговор ни к чему не ведет, — неожиданно резко вставил отец.

— Чтооо? — взревел генерал МГБ. — Отдасте вы себе отчет, где находитесь и с кем говорите? На Лубянке! С Меркуловым. Я здесь хозяин. Я говорю, что хочу. Помогла вам петиция, которую ваш дедушка, атаман, на французском языке из Шпиттала послал? Что, вы думаете, что мы об этом не знаем? Не помогут вам ни Черчилли, ни Трумэны, ни короли, ни дипломаты. Если мы гаркнем, так они хвосты подожмут. Рассказывают, что цари ходили своих коней на берега Одера поить, так мы, придет время, на берегах Темзы советских лошадей напоим».

В тот же день в лубянской бане Николай последний раз видел своего деда. Атаман Краснов, генерал и писатель, сказал внуку, что он должен когда-нибудь поведать миру историю о том, как предали казаков. Николай Краснов не забыл этого. Все доступные нам свидетельства подтверждают правдивость его рассказа.

Тот беспрецедентный факт, что Меркулов лично беседовал с казачьими руководителями, доказывает, как важно было советским властям их возвращение. Что за этим стояло — страх ли, что эмигранты могут при благоприятных обстоятельствах опрокинуть режим, или же расправа со старейшими злейшими врагами, — об этом можно лишь гадать. Но вполне вероятно, что Меркулов говорил то, во что искренне верил. Он не мог предвидеть, что когда-нибудь мир узнает об этом разговоре. Обоим Красновым предстоял путь на север, в лагеря, откуда никому не удалось бежать (по крайней мере в промежутке между окончанием войны и до самой смерти Сталина) и откуда мало кто возвращался. И действительно, отец Николая Краснова через несколько месяцев умер и был похоронен в братской могиле, местонахождение которой неизвестно.

17 января 1947 года короткая заметка в «Правде» сооб-

щила, что Краснов, Шкуро, Доманов, фон Паннвиц и другие казачьи генералы казнены за свои преступления.

В далеком лагере Николаю Краснову удалось узнать кое-какие подробности: «...Впоследствии я встретился с человеком, который мне рассказал, что он больше года провел с дедом в одной камере в Лефортово. Он говорил, что все осужденные держались очень стойко и достойно. Даже решение суда и перспектива смерти на виселице не поколебали их спокойствия. Казнены были во дворе тюрьмы Лефортово. Во время следствия дед страдал только физически. Его ноги сильно распухли. Его дважды переводили в тюремную больницу. Питание было очень плохим. Только раз ему дали немного портвейна для поддержания работы сердца. Петр Николаевич ходил все время в тюремной одежде. Его форма (китель с русскими генеральскими погонями и брюки с лампасами) была вычищена, выглажена и хранилась в тюремном цейхгаузе. Но этот же человек говорил, что, по слухам, на суде генерал Краснов был одет в эту форму. По этим же сведениям, в музее МВД хранятся формы всех повешенных, включая, конечно, и немецкую, генерала фон Паннвица».

В кратком сообщении о казни генералов имеется целый ряд серьезных небрежностей, точнее — лжи. Например, там говорится, что Доманов во время гражданской войны был генералом Белой армии. На самом деле он был майором Красной армии, который попал в немецкий плен, и звание генерал-майора присвоили ему немцы. Вопреки сообщению ни генерал фон Паннвиц, ни его 15-й казачий корпус не имели никакого отношения к СС. Казаки Доманова и фон Паннвица были в большинстве своем не «белогвардейцами», а беглыми советскими гражданами. Наконец, ни одно из двух казачьих формирований не действовало «по заданию германской разведки» и не участвовало в «шпионско-диверсионной и террористической деятельности против СССР» или какой-либо другой страны. Казачий корпус был регулярным формированием вермахта, а Казачий стан Доманова представлял собой смесь беженцев и отрядов самообороны. Цель этого сообщения вполне ясна: создать у советской общественности впечатление о небольших, но сильных группах саботажников, завербованных германской разведкой среди реакционных эмигрантских элементов и подчиненных абверу и СС.

## Конец казаков

Такова была судьба казачьих руководителей.

«Ты нам ужин приготовь — мы к вечеру вернемся», — шуточно кричали генералы провожавшему их казаку, отправляясь на «конференцию» в Шпиттале.

Ночью майор Дэвис разбудил Ольгу Ротову и приказал собрать всех казаков. Только в 9 часов пришел какой-то английский лейтенант. Он протянул Ольге Ротовой листок бумаги и отрывисто приказал прочитать его вслух. Казаки молча выслушали написанный по-русски приказ:

«1. Казаки! Ваши офицеры обманывали вас и вели вас по ложному пути. Они арестованы и больше не вернутся. Вы теперь можете, не боясь и освободившись от их влияния и давления, рассказать об их лжи и свободно высказывать желания и убеждения. 2. Решено, что все казаки должны вернуться к себе на родину».

Затем следовали инструкции: казакам предписывалось беспрекословно подчиняться распоряжениям английского командования.

Звонкий голос Ольги смолк. Воцарилось гробовое молчание. Наконец, из толпы кто-то громко крикнул, что все сказанное об офицерах — ложь, что казаки любят и почитают их, и, если только офицеры вернутся, казаки пойдут за ними хоть на край света. Английский офицер, молча выслушав это выступление, отрывисто бросил, что передаст все майору Дэвису, и уехал.

Сам Дэвис был в это время в Лиенце. На его долю выпала, быть может, самая неприятная миссия: сообщить о репатриации женам офицеров, собравшимся в гостинице, где раньше находилась штаб-квартира Доманова.

Дэвис объявил об этом самым мягким тоном, на какой только был способен, он заверил женщин, что у них нет оснований бояться самого худшего и что, во всяком случае, все сделано для того, чтобы не разлучать их с мужьями. На протестующие крики и слезы Дэвис твердил, что он солдат и должен подчиняться приказам. С трудом протиснувшись сквозь толпу рыдающих женщин, он поехал на джипе в лагерь Пеггег. Здесь казакам уже было известно о выдаче, но все равно Дэвиса ждали мучительные минуты. Ему предстояло сознаться, что он лгал, убеждая офицеров в реаль-



ности «конференции»; сообщить, что все казаки, хотят они того или нет, вернутся в СССР. Его поразило отчаяние казаков, их твердое нежелание возвращаться.

Ольга Ротова переводила речь Дэвиса. Он сказал, что репатриация состоится 31 мая, то есть через два дня. Полки должны прибыть в боевом порядке, семьям следует держаться вместе. Все будет сделано для того, чтобы они смогли взять с собой свои пожитки, и вообще англичане постараются, чтобы в пути они чувствовали себя максимально удобно. Для стариков и больных будут созданы специальные условия.

Дэвис старался, как мог, но ему не удалось убедить казаков, охваченных страхом. В толпе раздались крики, что они никогда не вернутся по доброй воле, женщины рыдали.

Дэвис уехал, объявив, что вернется днем. Вскоре прибыли два грузовика, на которые было велено погрузить багаж офицеров для передачи владельцам. (Ведь они ничего с собой не взяли, предполагая вернуться в тот же вечер.) В то время офицеры уже были в руках СМЕРШа, но благодаря этому жестокому, хотя и невольному недоразумению многие жены поверили, что еще свидятся со своими мужьями.

Погрузив багаж, казаки Пеггеца вышли на площадь с самодельными черными флагами и плакатами, на которых было написано по-английски: «Лучше умереть здесь, чем вернуться в СССР». Когда прибыли грузовики с обедом, казаки отказались от еды. Солдаты, пожав плечами, составили миски в стопку и уехали. В 4 часа снова появился Дэвис: он с явной тревогой взирал на черные флаги, плакаты и беспокойную толпу, выкрикивающую угрозы и вызывающую к милосердию. Он объяснил, что приказы о возвращении всех русских в СССР приняты на самом высоком уровне и он не может их нарушить. Когда переводчица перевела эти слова, из толпы вышли несколько человек с паспортами в руках. «Мы не советские граждане», — объясняли они настойчиво. Действительно, в документах они значились французскими, итальянскими, югославскими подданными или лицами без гражданства.

— Как вы можете? — закричал один из казаков. — В 20-м англичане посылали корабли в Дарданеллы, чтобы спасти нас от большевиков, а теперь вы нас отдаете назад.

Дэвис оторопел. Ему впервые пришло в голову, что тут что-то действительно не так. Но приказы, врученные ему и полковнику Малькольму, были совершенно однозначны: все казаки в долине Дравы подлежат репатриации. Дэвис еще больше удивился бы, если бы знал, что в штабе в Обердраубурге, в бумагах бригадира Мессона, лежат два приказа по корпусу о выдаче казаков и в них говорится, что выдаче подлежат только советские граждане. Но эти инструкции так и не дошли до полковника Малькольма и до майора Дэвиса. Никто не мог поверить, что несоветские граждане должны быть насильно выданы режиму, при котором они никогда не жили. Ольга Ротова пишет в своих воспоминаниях: «На мой вопрос — должны ли ехать власовцы? — майор ответил:

— Да, и власовцы.

— А старые эмигранты?

— И старые эмигранты.

— Значит, и я?

— Да, и вы. Вообще все русские.

— Господин майор, обернитесь, посмотрите — мужчины плачут...»

Ольга Ротова прожила 25 лет в Югославии, английский она освоила, работая для «Стандард ойл компани».

В ту ночь в лагере не спали. В импровизированных церквях молились, исповедовались, получали отпущение грехов. Под руководством Кузьмы Полунина (его выбрали атаманом вместо Доманова) казаки обсуждали, что делать, если англичане применят силу. Некоторые все еще отказывались верить, что англичане исполняют свои угрозы, другим происходящее казалось ужасным недоразумением. Казаки отправили петицию полковнику Малькольму. В ней говорилось: «Мы предпочитаем смерть возвращению в советскую Россию, где нас ждет долгое систематическое уничтожение. Мы, мужья, матери, братья, сестры и дети, молимся за свое спасение!»

Прошения на имя короля Георга VI, архиепископа Кентерберийского и Уинстона Черчилля вручили майору Дэвису. Позже среди казаков зародилось подозрение, что Дэвис выкинул их, но он утверждает, что это не так (петиция, отрывок из которой мы привели, наверняка дошла до штаба корпуса, однако дальнейшая судьба этих документов неизвестна).

30 мая долина Дравы являла собой мрачное зрелище. На палатках и бараках, вдоль шоссе Лиенц — Обердраубург,

были вывешены черные флаги. Казаки объявили голодовку. Еда, которую привозили в лагерь англичане, стояла нетронутой. Священники совершали богослужение. Мужчины возбужденно обсуждали, что делать. Рыдающие матери прижимали к груди детей: может, завтра их разлучат навсегда?

Под вечер в лагерь приехал майор Дэвис с известием, что операция отложена на сутки, так как 31 мая — католический праздник. Перед казаками блеснула надежда, что в последнюю минуту каким-то чудом придет спасение; но отсрочка на самом деле была вызвана заявлением советских властей, что в первый день они смогут принять не больше 2 тысяч человек, поэтому два поезда были отменены. 31 мая можно было отправить всего один поезд, и для него отобрали кавказцев, находившихся к востоку от Обердраубурга.

Несколько тысяч горцев тоже содержались под охраной и тоже лишились своих офицеров. Об уготованной им участи они узнали в 5 часов дня 28 мая от полковника Олдинга-Сми, который сообщил им, что офицеры уже переданы Советам и теперь настал черед солдат. Олдинг-Сми понимал, что вряд ли эта новость вызовет всеобщее ликование, но он никак не мог представить себе таких бурных рыданий и отчаянных криков протеста.

Несмотря на расставленную полковником охрану и вооруженные патрули, около двухсот человек бежали в окрестные леса. Многие, в том числе старики и дети, ушли под началом одного отчаянного карачаевца. Среди них был осетин, унтер-офицер Тугаев, слышавший, как в лесу англичане стреляли в безоружных беглецов. Но ему с другом удалось уйти в горы, перейти границу Италии и спастись.

На другой день Олдингу-Сми вручили петицию, в которой горцы рассказывали свою историю и умоляли англичан предоставить им убежище для защиты от преследований. Английский полковник ответил лишь то, что «СССР — наш союзник, и советские власти обещали послать репатриантов в ненаселенные районы СССР».

Днем 30 мая первые представители кабардинцев были отобраны для посадки в поезд на станции Деллах. Но когда в 2 часа за ними прибыла английская рота, выяснилось, что пленные вовсе не готовы к отправке, а многие оказывали пассивное сопротивление. Майор Мак-Грат, командир роты, сообщал позже о своих трудностях: «Около тропки, ведущей к шоссе, расположились, образовав круг, мужчины, женщины и дети — всего человек 200. У них явно не было никакого намерения никуда ехать. Они выкинули черный флаг, распевали псалмы и плакали. Я приказал подогнать к этому месту четыре трехтонки, и солдаты — их было около 20 — попытались заставить пленных сесть в машины. Плач усилился, некоторые показывали жестами, чтобы их лучше застрелили, чем заставляли возвращаться в СССР. Наконец, с величайшим трудом удалось загнать несколько человек в грузовики, но они спрыгнули на землю. Некоторые из них явно были организаторами этой сидячей забастовки, и я приказал четырем солдатам силой забросить одного из зачинщиков в грузовик, но он отреагировал на это так бурно, что мне пришлось ударить его по голове. Вид крови, казалось, несколько отрезвил толпу. Пленные принялись укладывать свои вещи в машины. Через полчаса мы наконец тронулись в путь».

31 мая — 1 июня в Юденбург были отправлены три поезда с кавказцами — всего 3161 человек, мужчин, женщин и детей. Мужчин запихнули в вагоны, по тридцать шесть в каждый. Женщин и детей с вещами погрузили в багажное отделение. Больше мы о них ничего не знаем.

Тем временем казаки получили отсрочку еще на сутки. В эти последние часы родные прощались друг с другом. Многие с грустью смотрели на своих престарелых бабушек и дедушек, проделавших сотни верст с Кубани в Польшу, из Польши — в Италию и Австрию. Сколько суждено им прожить в Караганде или на Печоре? Десять дней? Две недели? А ведь были еще и жены, дети...

Рассвет 1 июня застал казаков в разгар приготовлений к их крестному пути. Перед импровизированным алтарем казацкие священники, в полном облачении, с иконами в руках, начали литургию. Многотысячная толпа подхватила пение.

Один казак, живший в австрийской семье, сказал в то утро хозяйке: «Не давай мне сегодня с собой хлеб, сестрица. Сегодня все мы умрем». Но казаки не собирались умирать без сопротивления. Хотя майор Дэвис и попросил их всячески способствовать англичанам, они не хотели возвращаться в СССР добровольно. Там, где репатриированные не оказы-



вали сопротивления, как это было, например, в лагерях на территории Англии, официальные лица, утаивая часть данных, утверждали впоследствии, что русские возвращались по доброй воле. Поэтому ужасные события 1 июня ярче всего осветили трагедию русских пленных, хотя 30 тысяч казаков были всего лишь каплей в море несчастных жертв, насильственно возвращенных Сталину союзниками.

Дэвис приехал в 7.15. Он сразу понял обстановку. На площади перед бараками стояло около 4 тысяч человек, и ехать они явно никуда не собирались. Солдаты, соскочив с грузовиков, стали позади Дэвиса, который несколько минут наблюдал за службой, надеясь, вероятно, что она вот-вот закончится. Затем он приказал своему переводчику сообщить через микрофон, что казакам дается десять минут на окончание службы. Десять минут прошли — он дал еще пять. Тысячи казаков следили за каждым его движением, но пение продолжалось.

Появившийся тем временем полковник Малькольм приказал Дэвису начать посадку в стоявшие тут же грузовики. Майор выслал вперед взвод солдат. Толпа пятилась назад под натиском англичан, причем ее наружный круг образовали молодые сильные мужчины, а женщины, дети и старики теснились сзади. Когда англичане приблизились, казаки опустились на колени, взявшись за руки, так что невозможно было выдернуть кого-либо из толпы. Столкнувшись с пассивным сопротивлением, солдаты обратились к Дэвису за приказами. Майор понимал, что продолжать такое наступление бесполезно, а пустить в ход оружие опасно: это означало бы массовое кровопролитие. Конечно, больше всего его заботила судьба собственных людей, но он искренне стремился выполнить приказ, не причинив вреда казакам. Взвод, вооруженный ружьями и палками, образовал клин и успешно пробился через толпу, отрезав около 200 казаков, продолжавших держаться вместе. Когда между ними и остальными образовался зазор, Дэвис запустил туда еще два взвода, чтобы помешать этим двум частям толпы соединиться. Затем первый взвод двинулся на отделенную группу, чтобы начать посадку на грузовики. Последовавшие события описаны Дэвисом в рапорте: «Как только взвод приблизился вплотную к казакам, чтобы начать погрузку, люди сбились в единую массу, встав на колени и обхватив руками соседа. Когда стоявших с краю оттащили в сторону, остальные сгруппировались еще теснее и, охваченные паникой, начали карабкаться друг через друга, пытаясь уйти подальше от солдат. В результате образовалась гряда истерически вопящих тел, причем многие оказались в самом низу. Отчаянно пытаясь разделить эту массу, чтобы спасти несчастных, солдаты пустили в ход приклады и палки. Когда, наконец, мы расчистили этот завал, выяснилось, что двое — мужчина и женщина — задавлены. Всю эту группу пришлось по одному силой тащить на грузовики».

Заполненные грузовики поехали на ближайшую железнодорожную станцию, и там пленных пересадили в поезд для перевозки скота из 50 вагонов, с решетками на окнах. В середине на открытой платформе сидело несколько солдат с пулеметом.

Теперь майору Дэвису предстояло посадить в грузовики вторую группу.

Молодая женщина писала позже в своих воспоминаниях: «Во время залпов толпа сжалась и заметалась, были раздавленные, я сама стояла на чьем-то теле и только старалась не стать на его лицо. Солдаты выхватывали отдельных людей и бросали их в грузовики, которые тут же отъезжали полунаполненные. Со всех сторон в толпе слышались крики: «Сгинь, сатана! Христос Воскресе! Господи помилуй!»

Те, которых хватали, отчаянно сопротивлялись, и их избивали. Я видела, как английский солдат выхватил у матери ребенка и хотел бросить его в автомобиль. Мать уцепилась за ногу дитяти, и они так и тянули его: один — в одну, а другая — в другую сторону. Потом я видела, что мать не удержала ребенка, и дитя ударилось о край машины. Что было дальше, не знаю».

Английских солдат охватило какое-то безумие. Размахивая палками и прикладами, они обрушивали удары куда попало — на мужчин и женщин, малых и старых. Священника и служителей повалили, а потом унесли, их облачения и иконы втоптали в пыль.

Плачущие дети металась в поисках родителей, а родители, сдавленные толпой, бессильно наблюдали за ними. Англичане хватали детей и швыряли их в грузовики — отчасти ради безопасности самих детей, но еще и потому, что часто родители все же вырывались из толпы, бросались к детям,

и тогда их тоже удавалось загнать в грузовик. Но, несмотря на отчаянные старания родителей и стремление майора Дэвиса не разделять семьи, из этого мало что вышло.

Некоторые, вырвавшись, бросались к мосту через Драву, остальные, все еще держась вместе, начали вслепую, наугад пятиться от англичан. Казачьи вожаки, перекрывая шум, кричали людям, чтобы они держались.

Как говорится в рапорте полковника Малькольма, он приказал майору Дэвису «прекратить силой собирать людей и начать очищать жилища от тех, кто туда вернулся. В результате в 11.30 на поезд было погружено 1252 человека. Цифра полной загруженности — 1750, но я решил отказаться от насильственных методов, опасаясь неизбежных ранений».

Список раненых был действительно внушительный.

Дэвис пишет о том, как «один из стоявших в толпе схватился за винтовку солдата и нажал курок, пытаясь застрелиться, однако пуля поразила юношу рядом. Толпа затоптала его».

За пределами лагеря тоже погибло немало народу. Еще до начала выдач два офицера, не веря в посулы англичан, застрелились в лесу. Во время самой операции солдаты постоянно стреляли в беглецов, особенно в тех, кто пытался перейти через мост. Человек 20—30 утонули в Драве. Врач Прасковья Воскобойникова бросилась туда со всей семьей: детьми, матерью и сестрой. Очевидцы вспоминают множество таких случаев. Иногда матери в отчаянии бросали детей в воду. Один казак привязался к седлу лошади и вместе с ней прыгнул в бурную Драву. В госпитале больной казак, за которым явились англичане, выбросился из окна. В лесу солдаты наткнулись на целую семью: мать и трое детей, младшей девочке всего год. Все они были убиты выстрелом в затылок. Чуть поодаль лежал труп мужчины: около него валялся револьвер, из которого он застрелил по очереди всю свою семью и покончил с собой.

В тот вечер лагерь в Пеггее напоминал пейзаж после битвы. Окровавленные люди бродили по лагерю в поисках пропавших родных. Кое-кто ушел в горы, другие, наоборот, вернулись из леса в притихший лагерь. И повсюду лежали раненые и убитые.

Сколько всего погибло в тот день — покончило с собой или было убито англичанами?.. Возле того места, где находился лагерь Пеггее, есть небольшое кладбище: там похоронены жертвы 1 июня. Каждый год русские со всего мира приезжают сюда помолиться за упокой души усопших. Есть в Лиенце и маленькая православная церковь. Кладбище и церковь обихаживает одноглазый казак Иван Гордиенко, которому удалось спастись от репатриации. Он и провел меня по местам событий тридцатилетней давности.

Не один Пеггее стал в тот день ареной трагических событий. В Обердраубурге английские солдаты выполняли аналогичную задачу: им надо было окружить и доставить в Юденбург несколько тысяч казаков, шедших за Казачьим станом. Как и в Пеггее, солдаты столкнулись с отчаянным и решительным сопротивлением.

Первый, самый страшный день операции «Возвращение» закончился. Он стал днем позора и ужаса. Конечно, истинными страдальцами были казаки, которых передали в Юденбург НКВД, но были и другие, в памяти которых день этот на всю жизнь оставил неизгладимый, страшный отпечаток. Многие видели, как солдаты 8-го Аргильского полка плакали, словно малые дети, выполняя отвратительный и непонятный приказ.

Полковой капеллан Кеннет Тайсон вспоминает, что после 1 июня многие приходили к нему в смятении, с вопросом, как им следовало поступить. Он мог ответить только, что они должны были подчиняться приказам. Но его самого этот ответ не устраивал.

Полковнику Малькольму и майору Дэвису, непосредственно ответственным за события 1 июня, тоже не нравилось то, чем им пришлось заниматься. Полковник Малькольм считал — и до сих пор считает — казаков изменниками родины, которые вполне заслуживали и репатриации, и любого наказания. Однако, как бы то ни было, этот довод не имеет ни малейшего отношения к тысячам женщин, детей и несоветских граждан, ставших жертвами насильственной репатриации.

По мнению полковника Малькольма, насилие по отношению к казакам применялось ровно в той степени, в какой это требовалось. И разумеется, совершенно ясно, что, коль скоро его приказы подлежали выполнению, отказ казаков повиноваться неизбежно повлек за собой необходимость



применить силу. Тем не менее кровопролитие и паника, вызванные этими приказами, потрясли Малькольма. Он заявил Мессону, что не собирается завтра вновь применять насилие. Мессон в ответ пробурчал что-то невразумительное. Вечером в телефонном разговоре Малькольм опять заявил, что даст солдатам только холостые патроны.

Имя майора Дэвиса до сих пор упоминается среди казаков с презрением. Но если подумать — что он мог сделать? Для него имелись две возможности: не подчиниться приказу или отказаться от офицерского звания. Ни один солдат в ту пору не решился бы на такой шаг. Дэвис дорожил своим местом в батальоне, духом боевого товарищества, сложившегося за годы боев в Африке и Италии. Ему тогда едва исполнилось 26 лет, он не был профессиональным военным, и мнение его командира имело для него огромное значение. Наверное, к нему вполне применимы слова, сказанные некогда Уинстоном Черчиллем о французском генерале Барре: его «сбила с толку задача, какой тебе, мой добрый читатель, решать не доводилось...».

Дэвису удалось спасти от выдачи нескольких старых эмигрантов, в числе которых была жена генерала Краснова.

За две недели 6-я пехотная бригада переправила из долины Дравы в советскую зону Австрии 22 502 казака и кавказца. Множество народу все же пробралось в леса и отважилось на опасное путешествие через заснеженные горы. Англичане не раз пытались прочесать горы в поисках рассеянных там групп беглецов. Вот что говорится в рапорте 56-го Рисского полка: «Сначала группы казаков и кавказцев были довольно многочисленны и не тратили сил на то, чтобы избегать патрулей. С течением времени, однако, их группы поредели и редко превышали 12 человек. Днем они находились на снежных вершинах, выставив часового, который в случае необходимости давал выстрелом сигнал тревоги. По ночам они часто занимали летние фермы или разбивали бивак в лесу, в низине. Казаки и кавказцы явно предпочитали смерть выдаче, но, попав в руки солдат, не предпринимали попыток бежать и с готовностью подчинялись нашим приказам».

В период 7—30 июня в горах были пойманы 1356 казаков и кавказцев, 934 были доставлены 15 июня на грузовиках в Юденбург, но советские власти потребовали, чтобы их отвезли в Грац, куда они и прибыли на следующее утро. У солдат, охранявших эту группу, сложилось впечатление, что все эти пленные или часть их были расстреляны советскими вскоре после прибытия.

Двадцатипятилетний сапер Редж Грей из 192-й железнодорожной роты Королевских инженерных войск в конце мая 1945 года оказался в районе Клагенfurта и был назначен шофером к лейтенанту Сайксу. Однажды вечером он повез лейтенанта на собрание офицеров за город. Сидя в «джипе»

в ожидании, Редж Грей услышал отдаленное пение мужского хора. Изредка пение прерывалось оружейными залпами, и в темном небе, в той стороне, откуда оно доносилось, вспыхивали красные зарницы. На вопрос Грея шофер стоявшего рядом «джипа» объяснил, что там собрали 40 тысяч русских, которых отсылают назад в Россию.

...На железнодорожной станции советской зоны Юденбурга шестеро советских солдат играли на пустой платформе в карты. Через несколько минут к станции медленно подполз поезд. Окна вагонов были затянуты колючей проволокой.

Двери открыли, и пленные высыпали из вагонов. Все их пожитки сложили слева от грузовиков, с собой им ничего взять не разрешили. Грей спросил стоявшего рядом переводчика, английского офицера, что будет с казаками. Тот ответил, что офицеров расстреляют, а остальных сошлют в Сибирь.

В поезде он нашел трогательные узелки, в которых казаки везли самое ценное, что у них было, — потертые чемоданы, одежду, одеяла, часы. Повсюду валялись сорванные с форм немецкие знаки различия, итальянские лиры, австрийские шиллинги. В одном углу он обнаружил старенькую зингеровскую швейную машинку — старуха казачка напрасно умоляла, чтобы ей позволили взять ее с собой. В другом месте он нашел пару обручальных колец — он до сих пор хранит их. По меньшей мере один из репатрируемых решил избежать предназначенной для него судьбы: в коридоре вагона лежало накрытое одеялом тело самоубийцы. Больше всего удивило молодого солдата то, что в купе охранника в каждом вагоне было по коробке с 50 пачками сигарет. Очевидно, их положили сюда для пленных, но так и не отдали. Зато этот великодушный жест можно было соответствующим образом расписать в каком-нибудь рапорте.

Первые две недели июня эта процедура всегда выглядела одинаково: поезд подходил к станции, советские солдаты отпирали двери и следили за выходящими пленными. Что с ними происходило дальше, Грей не знает. Сам он был свидетелем лишь того, какая участь постигла вещи пленных. У казаков всегда отбирали все пожитки и складывали их рядом в кучу, которая постоянно росла и к концу второй недели достигла внушительных размеров. А когда ушел последний поезд, советские охранники облили кучу керосином и подожгли ее.

Миссия Грея была закончена, и он вернулся к себе в часть. А бесконечные колонны понурых фигур начали длинное путешествие на восток, навстречу страшным испытаниям.

*Публикацию подготовил  
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ*

## **ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ИНТЕРЭКОН»**

**предлагает  
ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ:**

● **внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций. Данный пакет документов не имеет аналогов. Стоимость — 840 рублей.**

● **малые предприятия — порядок создания, процедура регистрации, формы учредительных и сопроводительных документов. Стоимость — 273 рубля.**

● **контрактная система найма работников и оплаты труда. Стоимость — 315 рублей. В стоимость каждого пакета документов включены почтовые расходы и налог с продажи.**

**Заявку, копию платежного поручения или квитанцию об оплате (р/с ЦЭНТИ «Интерэкон» 345098 в Издатбанке, корр. счет 161939 в РКЦ ГУ Центрбанка РСФСР, МФО 201791) направляйте по адресу: 103055, Москва, К-55, а/я 122.**

**Более подробная информация по тел.: 246-62-99.**



Виктор ЛИПАТОВ

# БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК

Люди обречены на одиночество? Каждый таится в панцире своих представлений и видит мир только через свое окошко. И таким его больше не видит никто. Панцири — сферы жизненной энергии — движутся рядом друг с другом, каждый в своем одиночестве. Как быть художнику, понимающему это?

Художник устанавливает холст на мольберте и пишет свой микрокосм, его напластования, его улыбки и слезы. Множество миров, заблудившихся в великолепных городах и тесных конурках своих отношений, предстает перед ним.

Наталья Нестерова живописует людей, недоумевая: зачем они такие? Что это — жалость?

Действие происходит на фоне пейзажа. Пустынный однотонный берег, пустынное однотонное небо. Полоска застывшей воды. Планета. Художница рассматривает людей на планетарном фоне.

Люди кажутся пришельцами, инопланетянами. С осторожным удивлением бродят они по улицам необычайно выразительных, ими же когда-то созданных, но позабытых городов.

Художница пытается понять назначение этих существ. Вот они, впрямую слепцы, бредущие во тьме Вселенной. Вот они, угрюмо играющие в слепоту («Игра в жмурки»). И везде Вселенная для них — малый пятачок пространства. Мы видим свалку людей («Аэропорт в Чите»). У лежащих на пляже еще более неловкие позы — они как сраженные жизнью. Мы понимаем их трагическую случайность.

Восседающий на балконе, спиной к нам, в плетеном кресле, вздымает к небу свою розовую физиономию с утиным носом и вытаращенными глазами. Кто он? Готовящийся стартовать в космос? В небытие? Возопивший? Возомнивший? Бессмысленно любопытствующий? Кто он?

Попарно и по трое, взявшись за руки или обнявшись, шествуют люди по конусообразной вершине («Горка»). Кто-то уже сорвался с ее пика и летит вниз, может быть, горка — извергающийся вулкан, но это мало трогает людей, они терпеливо и упрямо (осмысленно ли?) идут и идут к вершине. Знак судьбы довлеет над ними.

Они кажутся беспомощными. Мотив уносимых ветром часто присутствует у Нестеровой. Ветер срывает

шляпы, задирает подолы платьев, парусами вздымает плащи. Люди движутся, с трудом преодолевая ветер. Художница называет картину «Ветер в идиотском городе». Почему идиотском? Из-за серого полукрепостного куба высотного здания, увенчанного несуразными статуями? Из-за стилевой чересполосицы, где классицизм перемешан с ампиром и модерном? Из-за вечного ветра, что несет по жизни этих людей?

Люди играют в мяч, а кажется, что их корчит, изгибает, бросает наземь какая-то неведомая сила. Они бьются в падучей добровольно. Когда-нибудь да они догадываются, что эта сила исходит из них самих...

Фонтан застывает живой пирамидой. На фоне тяжелого золота осенних листьев и белеющей южной ограды он смотрится ледяным. Он замерзает на наших глазах. Но не в нем суть — в руках, столь огромных, но естественных для первого плана картины. Судьба неловких отношений читается здесь. Настолько неловких, что их напряжение и сотворяет из фонтана замерзший купол а-ля Гауди.

Маленьких людей всегда тянет к созданию великих сооружений. Венец величавой бессмысленности — желтый, глиняный, слепой колосс («Голем»). Он опоясан балюстрадами, лестницами, украшен колонной. Он стал остовом нелепо-эклектичной архитектуры. Люди расположились на балкончиках, с любопытством озирая окрестности.

Если они стали инопланетянами на собственной планете, то кто же здесь хозяева? Не вот эти ли живые манекены, кого люди наряжают, как знатных господ? Или вот эти статуи в парке... Перед нами романтический пейзаж с озером, с колоннами чайного домика. Случайно блуждают люди. А статуи Летнего сада смотрятся оживающими, подлинными хозяевами парка жизни... Захватнически-страстные объятия воина, уносящего сабинянку. А приземистые, закутанные в тряпье люди с привычным уважением и недоумением испуга глядят на это действие, которое слишком долго зажилось на свете («Похищение сабинянок»).

В позе случайной на земле женщины, глядящей на разбитые вещи, есть яростная ностальгия по наслаждению прекрасным. Хрупкая фарфоровая девушка в изящной карете на полозьях и разрисованная чашечка более живы и постоянны, чем наблюдающий за ними человек.

Магия. Вот что здесь случается. Магия вещицы как знака и символа. Перед массивной и страдающей женщиной — старинные овальные часы. Она замерла, вглядываясь; медленно движущаяся стрелка вовлекает ее в неясное будущее и будит воспоминания. Женщина вдыхает аромат часов, как раскрывающегося цветка («Часы»).

Намечается попытка преодолеть полосу отчуждения. Оживающие статуи первый шаг сделали, а люди — ответный второй. Они гипсовеют, они превращаются в статуи. «Люди с тортами» уже почти статуи, они застывают прямо на ходу, прямо на лестнице. К чему приведет это сближение?

Стремясь разрушить одиночество, люди надевают маски («Человеческие маски»). Нарядившись в белые парики и одинаковые белые одежды, они уселись за черным столом на фоне оплывающей «гористой» цепи сотворенных ими городов. Укрывшись за слепо-безликими масками, сооружают они вавилонские башни карточных домиков, забавляются с лилипутами. Тревожно-розоваты маски, смятенно небо. Происходит раздвоение Гулливера на великана и лилипута. А пред играющими — в парике и мантии — торжественная и традиционная фигура дирижера. Кто он?

Маски скрывают одиночество, но стирают и индивидуальность. Безличности сближаются в нечто общее.





«Утро». Холст, масло. 1989 г.

Наталья  
**НЕСТЕРОВА**  
г. Москва.





«Голем». Холст, масло. 1990 г.





«Человеческие маски». Холст, масло. 1990 г.  
«Снятие с креста». Холст, масло. 1991 г.







«Над морем». Холст, масло. 1991 г.



Но оказывается, и маски могут быть разного цвета. Завязывается жестокая драка. Раса на расу? Убитая птичка — характерный штрих. Пальцы, сжатые в кулак, чтобы ударить, или растопыренные, чтобы уколоть. Тоже штрих. Маска слепа. И ненависть слепа. Маска становится ненавистью.

Добро и зло, скрываясь под масками, достигают временного согласия. Но лишь на кратчайший миг. Первая капля действия падает, и зло предает добро. В «Тайной вечере» апостолы да и Христос — в масках. Кто Иуда? Но мы знаем: придет время, и он проявится.

И уже совершенно точно — в маске приходит палач. В островерхом наголовье с прорезями для глаз остервенело выполняет он свою черную работу. Их много, солдат Ирода («Избиение младенцев»). Фигуры крепки, ножи остры. Стенают несчастные женщины, их тела бьются в конвульсиях страдания. А роботы режут и режут их детей. «Работа» долгая — всего в Вифлееме зарезано четырнадцать тысяч младенцев. Откуда берутся пособники зла, были ли у них матери? Лица скрыты масками, чувства опутаны долгом... Но Христос избег тогда злой участи.

И все-таки палач настиг и его. Последний младенец вифлеемский был распят. Человек в желтой маске (капюшон на палаче также был желтого цвета) опускает бессильно поникшее тело с креста. Как сгустилось, как страшно своими темно-синими провалами небо!

И совсем не странными кажутся игры. Вначале такие мирные, но уже с фосфорически мерцающими на столе картами. Внезапно карты становятся перфокартами судьбы и соединяются в фигуры собаки и человека. Собака гонит человека. Возникает и птица — пасьянс.

Игры с птицами оборачиваются сражением. Птицы остервенело нападают на человека, увлекая его в воздух. Люди настойчиво ловят красных птиц («Улетевшие кардиналы»), также почти отрываясь от земли. Настороженно наблюдают за погоней боскеты в виде причудливо выстриженных фигур. И, наконец, люди взлетают, их туловища превращаются в птичьи, и они парят в небе.

Иногда все компоненты, случаи, наблюдения соединяются. Уже не эпизод перед нами, а сложная картина жизни. Наступает стыло-спаянная громада города. Люди на балконе, вокруг голов четко прорисовываются нимбы. С балкона уходит человек, несущий огромную вазу — по существу, она заменяет ему голову, к нам движется человековаза. А на сидящих в легких летних креслах налетают белые птицы. Над людьми нависают невесты откуда взявшиеся каменно-живые грифоны. Апокалиптическая картина, где все, объединившись, наступает на человека.

Вот они перед нами, эти картины, в которых много надежды и мало веселого. Мы спрашиваем у них. Так советует художница, ссылаясь на Киплинг:

**«Расспрашивайте про меня  
Лишь у моих же книг».**

Мы удивляемся той смелости, с которой она разгадывает бытие. На разгадку не хватит ни сердца, ни жизни. Но Нестерова объясняет: «Я беспечный ездок». Она пускается в путешествие, не справляясь о штормах и испепеляющем зное. Ее отличает паразитическое свойство: она старается занять в жизни неудобное положение, чтобы «и ветер дул, и кисть из рук вываливалась». Ничто убаюкивающее не должно отвлекать от цели. «Живопись для меня — форма существования». Ей стоит позавидовать, как всякому воплотившемуся перевоплощению.

## НАША АНКЕТА

Дорогие друзья!

Нам очень важно знать ваше мнение о журнале, чтобы сделать его более интересным вашим собеседником и советчиком. Напишите нам, какие произведения, какие авторы привлекли ваше особенное внимание среди публикаций конца прошлого года и первой половины нынешнего, о чем вы хотели бы прочитать в будущих номерах «Юности».

В вопросах 3—6 обведите кружком соответствующий пункт. Полученные от вас ответы мы обобщим и опубликуем в одном из номеров журнала второй половины 1991 года.

1. Что из напечатанного за последний период вы считаете наиболее интересным, понравившимся вам?

---

---

---

---

---

2. Какие темы и жанры, какие произведения, каких авторов хотелось бы увидеть вам на страницах журнала в будущем?

---

---

---

---

---

3. «Юность» получаете

- I. По подписке
- II. Покупаете в киоске
- III. Берете в библиотеке
- IV. У друзей

4. Ваш возраст

- I. До 16 II. 17—21 III. 22—28
- IV. 29—35 V. 36—45 VI. 46 и старше

5. Основной род занятий

- I. Учащийся II. Студент
- III. Рабочий
- IV. Сельский труженик
- V. Инженерно-технический работник
- VI. Служащий
- VII. Учитель, врач, научный работник
- VIII. Пенсионер, домохозяйка
- IX. Другое занятие

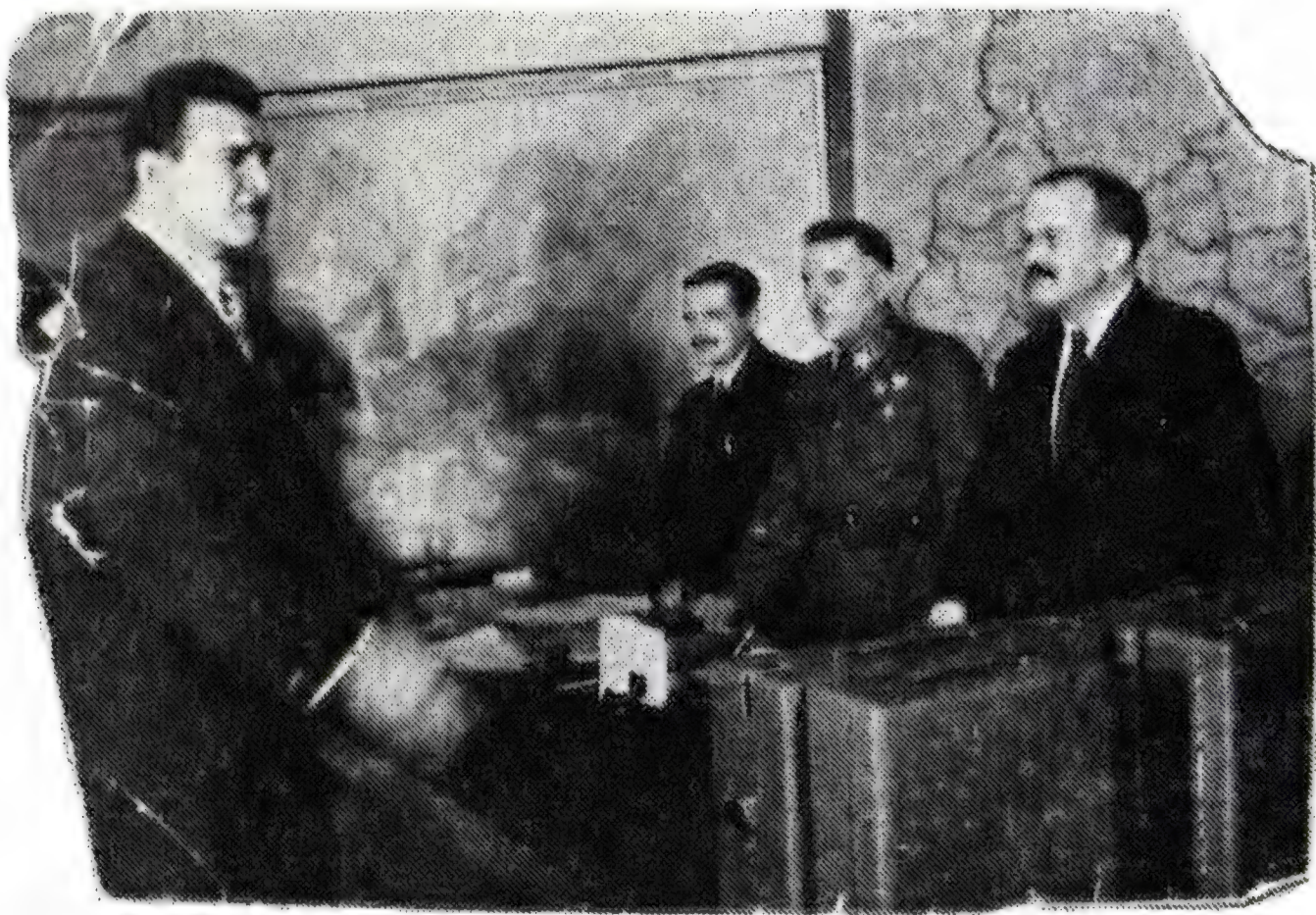
6. Место жительства

- I. Город
- II. Село

Благодарим за помощь!

*Ваша «ЮНОСТЬ»*





В издательстве «ФИС»  
готовится к печати  
документальная повесть  
Татьяны Любецкой  
«Триумфатор», по мотивам  
которой и подготовлена  
эта публикация.

Татьяна ЛЮБЕЦКАЯ

## ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ВЕЛИКАНА

ИЗ ЖИЗНИ

Едва родившись, он уже был знаменит, и люди со всей округи шли на него поглядеть. Да, конечно, Большая Софья, его мать, была рослой, необычайно сильной женщиной (однажды чья-то корова забрела к ним в огород, Большая Софья стукнула ее кулаком, да не рассчитала — корова свалилась и тут же испустила дух). Но такого — гигантский младенец весил семь килограммов двести граммов! — не ожидали даже от нее.

Рассказывают, что в шестнадцать лет Саркис шутки ради скатил с горы огромный валун, перекрыл им ручей, дававший воду садам и огородам села, а сам влез на дерево и стал ждать, что же будет дальше. Прибежали односельчане, но, сколько ни старались, откатить или хоть сдвинуть камень не смогли. Саркис крикнул с дерева, что сумеет им помочь — пусть только дадут ему лаваш с медом, да побольше. Ему принесли огромный рулон смазанного медом лаваша, он быстро с ним справился и... легко откатил валун.

Рассказывают, что спустя год, другой, увидев у сельской кузницы груженного виноградом осла, Саркис устроил новый «аттракцион». Был вечер, и у кузницы, как обычно, сидели старики.

Но хозяин осла был чужак (прибыл торговать из другого села) и потому лишь рассмеялся, когда Саркис его спросил: «Что мне дашь, если я подниму твоего осла со всем хозяйством на крышу кузницы?» Хозяин еще смеялся: «Весь, весь виноград будет твой!» — когда Саркис аккуратно подлез под осла, передние его ноги взял в одну руку, задние — в другую и... поставил вместе с корзинами на крышу кузницы. А спустив осла с крыши, Саркис взял лишь совсем немного винограда — чтобы угостить стариков.

История человека, о котором я хочу рассказать, давно, еще при жизни его, обернулась легендой. Но прежде чем это произошло, на долю его выпало немало испытаний. Село Бист, в котором он родился, находится в Нахичевани. В 1917 году угроза новых погромов армян заставляет его семью бежать на Северный Кавказ, где вскоре умирают мать и младший брат Саркиса, а сам он становится беспризорником. Убитый горем отец решает вернуться в родное село, и Саркис иногда навещается к нему. Побродив несколько лет по стране и поработав шахтером, чувячником, каменщиком, он попадает в конце концов в Эривань, где устраивается автомонтером в гараж ОГПУ. И вот тут-то (шел 1930 год) и происходит поворотный в его судьбе эпизод.

Как-то, помогая знакомому шоферу сменить покрышки, он шутя поднял его грузовик. И именно в этот момент из окна своего кабинета во двор выглянул «большой человек».

Вверху на снимке: Серго Амбарцумян рапортует вождю о выполнении «высокого поручения». Обратите внимание, что Сталин — искусством фотомонтажа! — «возвышен» до Амбарцумяна, хотя, как известно, «лучший друг советских физкультурников» великаном не был.

Он велел немедленно привести Саркиса к нему и торжественно объявил: «Твою силу надо развивать и людям показывать, чтобы знали, какие у нас есть богатыри».

Знатоки утверждают, что и по сей день не родился штангист, столь щедро одаренный природой, как Амбарцумян. Сошлюсь и на Ивана Поддубного, с которым Амбарцумян успел повстречаться в Киеве. В столовой, где кормили штангистов, Амбарцумяна и его товарища по команде, Феофанова, подвели к столу, за которым одиноко сидел сгорбленный старик. В тот момент Иван Поддубный дрожащими руками сосредоточенно чистил яйцо.

«Дядя Иван Поддубный, — спросил Феофанов, — можно я задам вам нескромный вопрос?» — «Можно», — сказал Поддубный, не отводя глаз от Амбарцумяна. «Если бы мой друг выступал в ваше время и был не штангистом, а борцом — кто бы из вас выиграл?» — «Сынок, — ответил Поддубный, — такие люди редко рождаются. Он был бы непобедимым чемпионом».

В середине тридцатых годов немецкий штангист Иозеф Мангер устанавливает в тяжелом весе мировой рекорд и, понятно, становится любимцем Гитлера. Тогда Сталин призывает к себе Амбарцумяна. При этой первой их встрече он как бы невзначай назовет его по-грузински — Серго, и в дальнейшую свою жизнь и в легенду наш герой уже пойдет как Серго Амбарцумян. «Фашист не может быть самым сильным, — говорит Сталин, — его надо побить, Серго, ты — сможешь?» И Серго, преисполненный гордости от доверия товарища Сталина, обещает выполнить высокое поручение.

Между тем живет он в скромном общежитии для работников НКВД, хотя ему давно уже обещана отдельная квартира. Однажды заходит он в подъезд общежития, а там воды после дождя натекло чуть не по колено. Серго идет в свою комнату за ведром и ковшом и начинает вычерпывать воду. В этот самый момент сверху спускается начальник управления НКВД Мухдуси и с ним Берия. Увидев черпающего воду Серго, Берия спросил его: «Ты что же это, тут живешь?» И Серго вдруг смешался, пробурчал: «Нет, это... я просто... помогаю тут... Моя квартира совсем в другом месте...» — «Что ж, — сказал Берия, — это хорошо. Тогда я к тебе в гости приду».

В тот же день Мухдуси вызвал Амбарцумяна к себе и пожал ему руку: «Спасибо, что не опозорил нас и не признался, что ты — наша гордость — живешь в таких «подмоченных» условиях». А Серго не признался Берии, что живет в общежитии, потому что незадолго до этого тот настойчиво приглашал его переехать в Тбилиси. («В хоромах будешь жить, дарагой») И не вмешайся в ту историю первый секретарь ЦК партии Армении Ханджян, не уйти бы Амбарцумяну от «дружеского» приглашения... Однажды подходит к Серго после тренировки один из его друзей и говорит: «Ты слышал, Ханджян покончил с собой?» —



«Что?! — крикнул Серго. — Этого не может быть!» Товарищ возразил, что об этом уже все говорят, что это случилось в Тбилиси... «Да не мог он этого сделать! — не унимался Серго. — Его убили!» И он вдруг подумал: не вмешательство ли Ханджяна в его дело с переездом в Грузию оказалось той последней каплей... При неосторожном разговоре двух друзей (теперь мы знаем, что Ханджяна собственноручно застрелил Берия), казалось, никого не было, лишь шофер Интуриста скучал невдалеке за рулем... А спустя несколько дней ночью к Серго постучала жена Мухдуси и, когда тот, заспанный, вышел, быстро зашептала: «Уезжай из Еревана немедленно! Сегодня ночью или рано поутру тебя заберут. Больше ничего не знаю, ты меня не видел, и я тебя не видела...» В полчаса Серго собрался и ушел из дома. Попытался было укрыться в какой-то деревушке под Ереваном, да слишком заметен был. И тогда сел в поезд и поехал в Москву, где как ни в чем не бывало сдал экзамены в Высшую школу тренеров при Институте физкультуры и даже получил отдельную комнату в общежитии.

Не поднимая головы, он учится, о тренировках и думать не смеет. Пойти на тренировку — значит «высунуться», а этого он себе позволить не мог («заберут»). Так прошло месяца три, и вот однажды сидит он в столовой с тарелкой борща, вдруг подбегает к нему работник общежития и возбужденно говорит: «Серго, там на черной машине такие люди за тобой приехали!..», а Серго сидит и борщ свой кушает. «Да ты что, оглох? Там такие люди за тобой приехали!» — уже кричит человек. Серго ложкой туда-сюда, как заводной, и даже головы не поднимает. «Слушай, ты что, с ума сошел?! Тебя везде ищут, а ты сидишь!..» Тогда Серго голову от борща поднял и тихо так, свирепо говорит, что никого он не ждет, что нету у него никого, кто бы к нему на черной машине приезжал, — и опять в тарелку уткнулся. А про себя думает, все, конец, братья будут... И тут заходят они... оказалось, «свои», армянские руководители. «Ай тга (парень)! Где ты? Куда пропал?! Мы тебя по всей стране ищем, товарищ Сталин тебя вызывает!» И вот когда он это услышал: «Товарищ Сталин тебя вызывает», — то оторвался наконец-то от борща. Но все же обрадоваться боялся, еще не верил, что спасен. И чтобы как-то выгадать время, выпалил: «А мне не в чем ехать к товарищу Сталину». И, встав из-за стола, показал на свой потрепанный, в дырках тренировочный костюм. «Ай, Аствац! (О, Боже!) — воскликнул кто-то из приехавших, — неужели тебе больше нечего надеть?» — «Нечего, — ответил Серго, — и откуда мне взять?!» — вдруг набросился он на них.

«Повезли они меня в ателье, — рассказывал он потом домашним, — заказали там на меня всю одежду с ног до головы: костюм, несколько рубашек, нижнее белье, обувь. Привезли, значит, к Сталину, длинная такая комната, а за столом он. Вышел из-за стола навстречу мне, улыбается и говорит: «Тише, кацо, пол провалишь... Ну, как жизнь?» Я говорю: «Ничего!» — «А как насчет обещания? Ты что, забыл?» — «Да нет, помню... просто у меня не было никаких условий для подготовки...» А что я мог еще сказать? Вот тогда-то он и отдал приказ насчет тренера для меня, повара и массажиста, а также насчет других привилегий — чтоб только я побил этого Мангера. И я вернулся в Ереван и стал тренироваться с известным тренером по штанге Яном Спарре».

Серго назначили большую по тем временам стипендию, и, кроме того, у него в Ереване был «открытый счет»: он мог прийти в любой ресторан и бесплатно пить, есть сколько угодно. Во всех театрах и кинотеатрах для него всегда были бронированы два места, а оказавшись без машины, мог остановить в любом месте автобус или трамвай. Словом, все было брошено на посрамление Мангера.

И настал срок исполнения обещания. Попытаемся же заглянуть в тот вечер, 30 декабря 1938 года, потолкаться среди алчущей исторического зрелища публики и увидеть, как все это было. Ереван пестрел афишами о предстоящем событии, а улица Абовяна, где находится филармония, избранная для «побития» любимца Гитлера, была сплошь забита людьми. Днем Спарре решил свозить Серго за город, вдвоем они сели в машину — Серго за рулем — и поехали в местечко Канакер, где тогда были сады (теперь-то Канакер уже в черте города). И вот, когда они уже возвращались, вдруг хлынул дождь и машина застряла в огромной луже. Нимало, казалось, не огорчившись, Серго вылез из машины (это было шикарное комитетское авто марки «шевроле»), одним рывком поднял ее и вытащил из лужи. Таких вытаскиваемых и поднятых Амбарцумяном машин «проехала» по

его легенде целая колонна: грузовики, «шевроле», «эмки»... Так могла ли эта сакраментальная машина миновать главный его день?

В тот вечер, набрав в классическом многоборье 433,5 килограмма, Серго Амбарцумян выполнил обещание, данное вождю. «Люди плакали и смеялись, — вспоминает Феофанов. — На помост втащили стол, Серго встал на него, и так, на этом пьедестале, народ поднял его, вынес на улицу и доставил в гостиницу на банкет!» Живая статуя плыла по Еревану, и повсюду слышалось восхищенное: «Выполнил... Выполнил... Выполнил...» Газеты трубили: «Рекорд буржуазного атлета пал! Наш богатырь стал самым сильным человеком Планеты!» Было, правда, в том триумфе некое «но»: рекорд Амбарцумяна не мог быть зачитан официально, так как наши штангисты не входили еще во Всемирную Федерацию тяжелой атлетики. Но в те годы на такие «мелочи» у нас не обращали внимания.

Серго жил в Ереване с дядей и тетей. И как-то вечером, вскоре после своего триумфа, сказал им: «Жениться хочу». «Женись, да? Кто тебе мешает?» — ответил дядя. «А где мне девушку взять? Не нравится никто...» Как раз в тот самый момент заглянула к ним дальняя родственница Ермоня: «А у нас во дворе такая девочка есть! И хорошенькая, и с характером, и с парнями не гуляет...»

«Хорошо, — согласился Серго, — только ты мне ее покажи рано утром, в шесть часов. Хочу видеть без прикрас».

В том дворе находилось общежитие строительной техникума, где и жила «такая девочка» — Тамара Ованесян. Она приехала в Ереван из карабахского села Аракюль, чтобы стать строителем. Строителем новой жизни. В старой — мужчины их семьи были процветающими коммерсантами, и дед иранского шаха Пехлеви с женой, свитой и верблюдами наезжал к ним в гости. Но Тамара не застала того «преступного шика». При советской власти ее отца постоянно клеймили кулаком и мусаватистом, а старшего брата Ерванда как сына кулака в день первого сентября торжественно выставили однажды со школьного праздника...

Она обожала танцевать. А тут как раз прошел слух, что на каком-то заграничном банкете Ворошилова пригласили танцевать, а он не умел и попал таким образом в неловкое положение. И явился указ о том, чтобы учащаяся молодежь в обязательном порядке обучалась современным танцам (танго, вальс-бостон, фокстрот...). Тамара едва могла дожидаться субботы, когда в ереванском клубе строителей проводилась танцевальная практика. И вот пятого декабря 1938 года прибегает она в клуб, а танцы отменены, так как в танцевальном зале «будет бить рекорды Серго Амбарцумян».

«Очень он мне показался красивым — такой высокий, стройный, с густыми блестящими волосами, — вспоминает Тамара Ованесовна. — Он стал поднимать свою штангу и установил какой-то рекорд, и все сразу так обрадовались! Стали хлопать, кричать, прыгать и, как потом выяснилось, много скамеек переломали. Затем директор клуба попросил всех утихомириться, и Серго сказал, что этот свой рекорд, установленный в день сталинской конституции, он и посвящает сталинской конституции. Тут все, конечно, опять жутко обрадовались, и еще несколько скамеек полетело. А парень, сидящий рядом со мной, и говорит: «Ну вот, еще рекорд установил, теперь может и жениться». — «А кто же за него пойдет? — почему-то спросила я. — Спортсмен он, конечно, хороший, но замуж за него вряд ли кто пойдет...» — «Это почему же?» — удивился парень. — «Он такой огромный...» — протянула я, и все засмеялись».

Прошло несколько месяцев. Ранним весенним утром прибегает к Тамаре в общежитие Ермоня (Тамара и знать не знает, что ее дворовая подружка — дальняя родственница Серго) и, самым бесцеремонным образом ее разбудив — 6 часов утра! — зовет во двор: «Тетя Асмик уже начала свой огород копать и просит тебя помочь, ты же карабахская, лучше нас знаешь, как нужно зелень посадить...» Накинула Тамара на ночную рубашку кофточку и с распущенными волосами выбежала во двор. А там старушка Асмик и вправду в такую рань у грядки сидела — тоже в заговоре состояла. «Посмотри, джаникос, — говорит она Тамаре, — вот здесь я петрушку посадила, здесь укроп...» А Тамара ей в недоумении: «А если уже посадила, нани, так зачем меня звала?!» — «Ну-у... хотела твое мнение узнать...» И тут Тамара случайно голову вверх подняла и увидела, что ребята из их техникума, живущие на третьем этаже, по пояс из окон повысовывались и смотрят в ее сторону. Она спохватилась, что высо-



чила во двор неприбранной, но тут заметила, что смотрят вовсе не на нее, а куда-то мимо... Обернулась — за забором, по пояс возвышаясь над ним, стоит... Серго Амбарцумян и широко улыбается! Секунду, другую Тамара глядела на него, затем, вспомнив, что она в ночной рубашке, кинулась домой. В то же мгновение Серго ловко перемахнул через забор и, в два прыжка догнав ее у двери, поймал за руку: «Девушка.. куда вы так спешите?» А Тамара, опустив голову, бормочет: «Домой, домой...» — «Но почему?» Тут она вырвала свою руку и, влетев в дом, захлопнула за собой дверь.

День прошел... Неделя... Месяц. Как-то позвала Ермоя Тамару в кино, а по дороге решила вдруг забежать к своей тетке («На минутку»). Зашли. Как бы невзначай та тетка у Тамары всю ее биографию в пять минут выведала. Но этого ей показалось мало. Вытащила откуда-то чулок с дыркой и сует Тамаре: «Штопать умеешь?» Тамара дырку быстро заделала, а у тетки уже новое испытание готово: «Русский язык хорошо знаешь?» И тут вдруг за дверью раздались тяжелые шаги и в комнату вошел Серго Амбарцумян. Ничего не понимая, Тамара уставилась на него, а он распахнул дверь в соседнюю комнату и сказал: «Прошу в мои апартаменты».

«Сели мы за стол, Серго так быстро, умело его накрыл, принес салат, мясо, какие-то шикарные конфеты, компот. И все за мной ухаживает, мне в тарелку что-то подкладывает. А потом и говорит: «Ну, а теперь давайте в карты играть». Я Ермоя дергаю за рукав и тихо спрашиваю: «А кино?» — «Какое кино, слушай? — смеется Ермоя. — Завтра сходим». Я думаю, встать и уйти — скажут, дикая какая — деревенская... Остаться — тоже стыдно. А тут как раз еще и муж Ермоя «случайно» зашел, говорит, хорошо, что и Тамара здесь, будем в подкидного дурака играть — мы с Ермоя против Тамары и Серго. Я и опомниться не успела — как мы уже сидим и играем. На билеты в кино. Кто выиграет — ведет на завтра проигравших в кино. Мы с Серго выиграли...»

И на следующий день все четверо отправились в кино. А затем чуть не каждый вечер Серго стал приезжать к Тамаре в общежитие, пока, наконец, не объявил: «Первого мая мы с дядькой и теткой придем к тебе свататься. Я вижу, ты хорошая, скромная девушка. Я очень хочу, чтобы ты стала моей женой, но, может, ты не любишь меня? Может быть, тебе, как и всем, просто нравится, что я знаменитость? Так учти, все это временно, это пройдет, и тогда я буду только чувячником или шофером...»

Спустя месяц они поженились. Без церкви, без загса (венчаться тогда уже было не принято, а в загс идти еще не обязательно). Собственно, Тома просто переехала к нему: в 11 часов вечера он привел ее к себе в дом, принес две ее небольшие сумки с одеждой и учебниками и, неуверенно помявшись в дверях, собрался уйти: «Ты располагайся... тебя никто не побеспокоит тут... на какой хочешь кровати...» — «А ты?!» — «А я утром приду и завтрак готовый из Интуриста принесу...» — «А почему ты уходишь?!» — «Ну...» — «Вон же две кровати у тебя... Не уходи...» — «Так ты не против?..» — «Зачем же против?» — «Ну, если ты не против, я не уйду».

Уложил он Тамару, бегло обнял, поцеловал и лег на другую кровать. Так продолжалось двадцать дней. А потом... через девять месяцев родилась у них Сусик.

Рассказывают, что и в зените славы — символизируя по замыслу Сталина величие и мощь державы — Серго Амбарцумян оставался великодушным, отзывчивым — самим собой. А выходя на помост, с блеском исполнял возложенную на него роль. Но сознавал ли он, кем был для своего народа Сталин? Мнения людей тут расходятся, замечу лишь, что он так и не вступил в партию, хотя, надо думать, в его положении — знаменитого человека и любимца вождя — это было непросто.

Он неизменно был главным героем и на ежегодных парадах физкультурников, столь обожаемом зрелище Сталина. Однажды вынес на середину Красной площади гигантскую штангу с полыми шарами, бережно опустил ее, хлопнул по шарам, и из них высыпала целая толпа мальчишек — всего двадцать два! Они быстро установили складные футбольные ворота, сыграли мини-матч — судил Серго — затем аккуратно упаковались обратно, и «судья» торжественно унес их с поля. Между прочим, среди тех маленьких футболистов был знаменитый в будущем прыгун Игорь Тер-Ованесян.

В другой раз — парад был приурочен к годовщине армян-

ского эпоса — Серго играл роль Давида Сасунского. Снимок тех лет свидетельствует, что кольчуга, шлем, круглый кованный щит и меч были ему к лицу даже больше, чем штанга. Он побеждал египетского вождя, а так как на войну тот отправлялся со своим гаремом, то Серго освобождал и всех его невольниц. Финальная сцена: вчерашние рабыни, повязав свои чадры, как работницы косынки, по-спортивно маршируют в будущее.

На кремлевском банкете, на который были приглашены знатные люди тех времен, Сталин спросил Серго: «Товарищ Амбарцумян, вы согласны быть нашим тамадой?» И тот, не растерявшись, сказал, что согласен. Сталин велит заменить рюмку Серго на фужер и собственноручно наливает ему шампанское. Микоян, Молотов, кто-то еще подливают в фужер различные вина и ликеры, и этот кремлевский коктейль Серго выпивает залпом. Затем он просит, чтобы ему дали программу банкета, и тогда Сталин говорит Молотову: «Ты пасматри, я думал, что Амбарцумян отличный спортсмен, а он, оказывается, еще и отличный тамада. Настоящий кавказский тамада: знает, с чего начать». А начал Серго с того, что предложил наполнить всем бокалы и провозгласил тост за товарища Сталина. В том смысле, что вот если мы сегодня так хорошо живем, с таким размахом проводим свои парады, то это все благодаря товарищу Сталину. Ну тут все, конечно, встали, зааплодировали и закричали: «Ура! Да здравствует товарищ Сталин!» Лишь в шесть утра Сталин и все члены Политбюро собрались покинуть зал, и Сталин сказал: «Дорогие мои собутыльницы и собутыльники, — так и сказал, — мы теперь пойдем немного отдохнуть, потому что у нас скоро начинается рабочий день. А вам еще рано уходить, гуляйте, ешьте, пейте и не беспокойтесь: у нас вино из кранов идет...» Банкет длился потом еще часа два. Уходя, Серго накопил всевозможных шоколадных конфет — десятки бонбоньерок, — и специальный человек нес их, сопровождая его домой. В ту ночь Тамара, приехавшая с ним в Москву, до утра не сомкнула глаз, ожидая, когда же он вернется. А когда, наконец, дождалась, то услышала его знаменитое: «Все, Тома, можно умирать, я был у Сталина тамадой».

Сталин щедро одаривал своего Геркулеса, но, несомненно, самым дорогим его подарком был автомобиль «М-1», «эмка». И когда вместе с молодой женой Серго медленно катил по Еревану, люди знали — это едет их богатырь Серго со своей царицей Тамарой.

Когда началась война, Серго добровольцем ушел на фронт. Но вскоре был возвращен — национальное достоинство! — в Закавказский военный округ, где и прослужил, не прикасаясь к штанге, до конца войны. В сорок шестом году, однако, тридцатилетний Амбарцумян завоевал право представлять нашу страну в Париже — на первом для советских штангистов чемпионате мира. А готовила Серго к Парижу — в качестве тренера! — Тамара.

В Париже, правда, Серго занял лишь пятое место. Но через несколько дней на парижском велодроме он был удостоен чести открыть показательный турнир сильнейших штангистов мира и установил официальный мировой рекорд в рывке левой рукой — 95 килограммов, — так никем и не превзойденный.

Возвратившись из Парижа, он обратился к Микояну с просьбой разыскать его «эмочку», в сорок первом отправленную на фронт. Вместо этого Микоян предложил ему поехать в парк «Сокольники» и выбрать любое из припаркованных там трофейных авто. Серго выбрал шикарный «опель», и ему была предоставлена железнодорожная платформа для отправки лимузина в Ереван. Однако он понимал, что в ту суровую, послевоенную зиму машина без него до Еревана не доедет. Поскольку платформа была открытой, а путь неблизкий и «мороз лихой», он соорудил над машиной нечто вроде избушки из деревянных досок, платформу прицепили к товарняку, и началась его тридцатидневная одиссея: припасенные в дорогу продукты — а он рассчитывал дней на десять — скоро кончились, достать новые оказалось невозможно — еще были карточки, а затем кончились и деньги, так как едва ли не на каждой станции нужно было платить, чтобы платформу не отцепили... Он сильно исхудал, оброс — бриться, мыться негде, а от машины на станциях не решался отойти ни на шаг и, чтобы не замерзнуть окончательно, старался мало спать, скручивал длинные папиросы и целыми днями курил, курил...

В тот поздний вечер, когда он добрался наконец до Еревана, вокзальные рабочие уже разбрелись, так что помочь ему «распаковать» машину было некому. И он решил ночевать на



вокзале с тем, чтобы утром подъехать наконец-то с шиком к дому и особым — опелевским — сигналом вызвать Тому во двор. Все же не удержался и решил позвонить ей — хоть голос услышать... Но, не желая до времени себя обнаруживать, обмотал телефонную трубку носовым платком и, стараясь подделывать свой голос под женский, сказал: «Здравствуй, Тамара-джан, как поживаешь?» А Тамара никак не может разобрать, кто звонит: «Ашхен, ты-и?» И Серго, не знавший, за кого себя выдавать, с готовностью отвечает: «Ага, я, Ашхен... от Серго что-нибудь есть?» — «Ничего! — сокрушается Тамара. — Как выехал из Москвы, так и пропал, никакой весточки уже месяц...»

«Эта «Ашхен», — рассказывала Тамара Ованесовна, — мне в тот вечер потом еще три раза звонила. Я уж ей говорю: «Слушай, Ашхен, тебе что, совсем делать нечего?»

И вот утром купает Тамара маленького Мгера и вдруг слышит незнакомый автомобильный сигнал. Выглянула в окно — видит, стоит незнакомая машина, а за рулем какой-то обросший тип. Высунулся из машины и нахально машет ей рукой! Мол, сюда иди. Тамара подумала, что, может быть, он все же к ним приехал, может, от Серго?! Оставив Мгера, спустилась быстренько вниз, подошла к машине, смотрит выжидающе на этого бородача, а он — на нее и молчит, будто ждет чего-то. И Тамара ждет. И вдруг, встретившись с его глазами, обомлела: глаза Серго...

Перед июльским парадом физкультурников сорок седьмого года Микоян вызвал Серго и спросил, может ли он установить мировой рекорд прямо на параде, непосредственно перед товарищем Сталиным. И Серго не решился сказать «нет». И провалился — не взял рекордный вес. И был снят «со стипендии, лимита и питания».

Погруженный в невеселые мысли о том, как жить дальше, он брел по Еревану и, переходя улицу, столкнулся с грузовиком. В результате — и грузовик повредился, и Серго с сотрясением мозга попал в больницу. Но через несколько месяцев он снова пришел в зал и стал тренироваться и выступать, чтобы было на что жить, кормить семью — республиканскую стипендию ему, естественно, дали, ибо в масштабах республики, да и всего Кавказа, он по-прежнему оставался сильнейшим тяжеловесом. Кроме того, его постоянно просили выручить команду Армении в состязаниях по диску и ядру. А однажды — в сорок девятом, на Спартакиаде Закавказья — даже уговорили заменить заболевшего борца тяжелой весовой категории. «Но я же никогда не занимался борьбой», — пытался отказаться Серго. «Ничего, мы тебе покажем несколько ходовых приемов, только спаси!» В первой же схватке с грузином он не сумел рассчитать свои силы и... сломал сопернику руку. Как он страдал! Как просил прощения... Затем предстал поединком с представителем Азербайджана. Но тот, едва Серго приблизился к нему, быстро лег на ковер и сказал: «Сдаюсь».

Так он продолжал свою «железную игру», пока однажды прямо на помосте ему не стало плохо. Он заставил себя сделать два подхода, но затем упал, потерял сознание, на «скорой» его отвезли в больницу, диагноз — микроинфаркт. «О штанге забудь», — сказали врачи.

Ему вновь стало плохо, когда узнал, что окончательно снят со стипендии. И, выписавшись из больницы, продал свой «опель»... Спортивное руководство никак «не могло» найти для Серго работу, которая была бы ему по душе. Всею виной был его прямодушный, выпыльчивый характер, который чиновники терпели, лишь пока он был силен. А тут еще и вспомнили, что он, оказывается, не в партии. По этому поводу Серго говорил так: «Лучше не вступать совсем, чем вступать и быть исключенным за какое-нибудь неправильное высказывание». И в конце концов он устроился на грузовое такси, стал работать чуть ли не круглосуточно, за два-три года семья оделась, обулась, сделали ремонт и новую мебель купили... Но все же эта работа была ему тяжела — дальние рейсы, сутками за рулем, — и он решил перейти на легковое такси. Как-то сели к нему в машину зарубежные армяне, узнали его и... написали в ЦК партии Армении примерно следующее: вот вы осуждаете Запад, ваши газеты пишут, что знаменитая «звезда» мирового бокса Джо Луис поет в баре и этим зарабатывает себе на жизнь, а своего всемирно известного Геркулеса обрекаете на работу в такси?..

Его вызвали в ЦК: «Ты позоришь нас у каждого светоча! Немедленно переходи куда-нибудь в другое место!» Но куда?.. И в конце концов он согласился стать заведующим шашлычной «Масис», где и проработал до восьмидесятых годов — до конца своих дней. Ему, баловню судьбы, по-

прежнему как воздух нужен был «выход», нужна была публика, и в этом смысле шашлычная как-то спасала — к нему в «Масис» весь Ереван ходил.

Каждый год Серго и Тамара со всеми своими детьми, а потом и внуками отдыхали в Сочи. И все дети на пляже знали, раз дядя Серго пошел в воду, значит, они «увидят кита». Он глубоко нырял, набирал полный рот воды, затем, выплывая, переворачивался на спину и выдавал огромный — «до неба» — фонтан. Если, увлекшись партией в шахматы, он долго не шел купаться, дети окружали его и начинали тянуть к воде: «Дядя Серго, покажите кита-а-а!..»

Серго был удивительным семьянином. Его старшая дочь Сусанна рассказывает: «С раннего детства я помню присутствие папы во всех наших делах. Все начиналось с мытья шеи и ушей. Каждое утро он следил за тем, чтобы эта процедура была тщательно проделана всеми нами без исключения. Он заставлял каждого из нас составлять свой режим дня и строго соблюдать его». А на склоне лет, когда у него ослабло зрение, Серго любил затевать семейные чтения.

«Она по-прежнему меня любит. Иди сюда, друг мой, иди сюда, дай мне обнять тебя, я задыхаюсь от счастья!»

И оба друга пустились плясать вокруг почтенного Иоанна Златоуста, храбро топча рассыпавшиеся по полу листы диссертации.

В эту минуту вошел Базен, неся шпинат и яичницу.

— Беги, несчастный! — вскричал Арамис, швыряя ему в лицо свою скуфейку. — Ступай туда, откуда пришел, унеси эти отвратительные овощи и гнусную яичницу. Спроси шпигованного зайца, жирного каплуна, жаркое из баранины с чесноком и четыре бутылки старого бургундского...»

«Все, стоп», — говорил в таких случаях Серго, и тот из детей или внуков, который в тот вечер читал Дюма, откладывал книгу. Серго так сопереживал героям Дюма, что, когда нить интриги заворачивала к трапезе, должен был сам немедленно сесть за стол. Он произносил сакраментальную фразу: «Тома! Накрывай!» И Тома знала, что на столе должно быть приблизительно то же, что и у героев Дюма. Допустим, в «Трех мушкетерах» сказано: «Спроси шпигованного зайца, жирного каплуна, жаркое из баранины с чесноком и четыре бутылки старого бургундского». Что похожее можно соорудить у Амбарцумянов? Если есть какое-нибудь мясо или курица, Тамара Ованесовна напихует их. Баранина? Нет ничего проще, чем сделать жаркое из баранины, что же до старого бургундского, то хорошее армянское вино, с точки зрения Серго, ничуть не хуже.

В шестидесятые годы в его жизни произошел духовный перелом. Как-то утром он сказал жене: «Знаешь, что мне сейчас приснилось? Будто подходит ко мне какой-то человек — лица не видно, оно в тени — и тихо, врасстяжку говорит: «Что же это ты такой добрый армянин, а в церковь не ходишь?» И исчез». Она спросила: «Ты что же веришь всяким снам?» — «Это не всякий. Это вещий сон. И я теперь буду ходить в церковь». И стали они каждое воскресенье ездить в Эчмиадзин.

«С тех пор раз или два в год, — вспоминает Тамара Ованесовна, — мы делали жертвоприношение. По дороге в храм покупали барана, священник крестил нас, давал барану священную соль, после чего его разделявали и мы везли его домой, варили и по обычаю раздавали семи соседским семьям. Мы несли им мясо на тарелках, завернутое в лаваш, и говорили: «Это маттах», что значит жертвоприношение. И они отвечали, что пусть, мол, то, ради чего вы делаете маттах, сбудется. Оставшееся мясо мы съедали сами — священный баран должен быть обязательно съеден в тот же день, а косточки нужно зарыть возле дома — таков обычай. Сколько этих священных косточек зарыто у нашего крыльца...»

Когда Серго скончался, его хоронил весь Ереван. И гроб его несли по десять человек с каждой стороны.

Тамара Ованесовна призналась мне: «Помню, Серго часто говорили: «Какая у вас молодая жена, как Тома молодо выглядит». Ему это было приятно, и он всегда с гордостью отвечал: «Это все благодаря мне». Наконец однажды я ему с досадой возразила: «При чем здесь ты, я сама такая, у нас весь род такой!» А вот как не стало его, так сразу и постарела. Стало быть, прав был он, в нем было дело...»





Виктор СЛАВКИН

# «РАССКАЖИ, О ЧЕМ ТОСКУЕТ

## Берлинская стена

Я начинаю писать эту книгу в те дни, когда рушится Берлинская стена. Бетонный занавес. Младший брат нашего железного. Но если наш назывался железным чисто символически, советским металлургом он не закладывался в план, то немецкая стена была уже из самого настоящего бетона и возводили ее по всем правилам строительного искусства. Однако, несмотря на свою нематериальность, наш занавес был попрочнее ихнего. Который, собственно, тоже был нашим.

Когда-то поэт Николай Тихонов сказал про людей определенной идейной убежденности: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей». Не знаю, как насчет гвоздей, но вот занавес из этого материала удался на славу. Тысячи людей, начиная от членов Политбюро, кончая самым рядовым глушильщиком «Голоса Америки», были накрепко сплавлены в нем. И даже люди, далекие от этой идеологической конструкции, тоже в качестве мелких гвоздиков и винтиков укрепляли ее тем, что привыкли к железному занавесу, считали его необходимым атрибутом советского дизайна (правда, само это слово находилось тогда по другую сторону этого самого атрибута).

Но каким бы прочным ни был сталинский занавес, отделявший нас от Запада, кое-что из-за него все же просачивалось. Кто-то что-то слышал и рассказывал, кто-то что-то видел и показывал, кто-то что-то привез и продал... Каждый выуживал из этого хилого ручейка информации свое. Одни знали, что существует философия экзистенциализма, другие — что уже созданы первые электронно-вычислительные машины, третьи — что урожай там не зависит от погоды, четвертые — что есть такой писатель Хемингуэй, пятые — что на пособие по безработице можно жить, как на нашу зарплату... И так далее. А тринадцатые — тринадцатые уже насвистывали «Take the «A» train», напевали «Падн ми, бойз, из дет де Чаттануга-чуча?», стриглись под Тарзана, суживали свои московшвеевские брюки до восемнадцати сантиметров понижу, отрывали подошвы от скороходовских башмаков и наваривали белый каучук — «манную кашу», на вечерах

отдыха и танцплощадках танцевали особым стилем... За это они и получили кличку «стиляги».

Почему я назвал их тринадцатыми? Потому что в идеологической дробильне пятидесятых им не повезло больше всех. Издевались над ними все, даже первые, вторые, третьи, четвертые и так далее. Никто не хотел признавать родство с этими карикатурными фигурами в зеленых пиджаках, с набриолиненными коками, вихляющимися в непристойном танце буги-вуги. Наверху шла схватка гигантов: Лысенко — Вавилов, Жданов — Ахматова, Берия — врачи-убийцы... А где-то внизу копошились стиляги. Обычные ребята, простые парни, большинство из них не обладали высоким интеллектом, мало кто мог бы сформулировать свои общественные позиции и политические взгляды. Казалось, какая от них исходит опасность? Этого не понимали ни они сами, ни интеллектуалы. Власть же сразу и безошибочно уловила угрозу. И увидела она ее в том, что новизна, которую предлагали стиляги, была не на уровне идей, а на уровне быта. Стиляги первыми бросили вызов суконному прокисшему сталинскому быту, этому незатейливому жизненному стилю, для которого само-то слово «стиль» не применимо. Но в этом бесцветном жиденьком вареве повседневной жизни и заключался один из секретов прочности нашего государства. Населением в униформе легче руководить, чем людьми в разноцветных пиджаках. Вот против этих пиджаков, джазовой музыки, набриолиненных причесок, танцев неуставного образца и двинула советская идеологическая машина все свои боевые порядки.

На первых порах протест стиляг был чисто биологическим — протест молодого организма против старого, рутинного окружения. Нормально. И в Западной Европе добропорядочные горожане были против длинных волос, громкой музыки и развязных танцев. Недаром слово «стиляга» имеет аналоги во многих европейских языках. Но там со своими стилягами боролись, так сказать, на эстетическом уровне, в наших же ребятах видели врагов политических. Недаром установочный фельетон Д. Беляева «Стиляга» появился в том номере журнала «Крокодил», где открывалась правительственная кампания против безродных космополитов. Задушить маститых космополитов было в каком-то смысле легче. Эти люди уже достигли чего-то в своих профессиях и положении в обществе, им было что терять, государству — что отнимать у них. Стиляги же были еще почти никем — школьники, студенты, молодые ребята. Отнять у них можно было одно — будущее. Этим и занялись комсо-

Журнальный вариант. Полностью книга В. Славкина «Памятник неизвестному стиляге» выходит в издательстве СТД РСФСР.





## САКСОФОН..»

мольские организации, вузовское начальство, исключая из институтов, выгоняя из комсомола и выдавая тем самым волчий билет на всю жизнь. За что? За джаз, за узкие брюки, за танцы неуставного образца...

### Два звонка

Это о том, как родился замысел моей пьесы «Взрослая дочь молодого человека».

Редакция журнала «Юность», где я работал, помещалась на площади Маяковского. Ресторан «София» на первом этаже, мы — на втором. Дело было летом семьдесят первого, а может, семьдесят второго года. После работы я решил зайти в гостиницу «Пекин», купить газет в киоске вестибюля. Купил, направился к выходу, смотрю: у дверей стоит мой бывший однокурсник, вместе в МИИТе учились на строительном факультете. Стоит так скромно, в серой куртке, кого-то, видно, ждет, тоже, между прочим, с газеткой в руках. Я подошел: «Вот это встреча!» — «О, привет!» — «Здорово». Дальше, как обычно: «Ты ничуть не изменился». «Ну да! Посмотри, лысина какая». — «Да, старик, годы идут...»

— А ты где работаешь? — спрашивает меня мой бывший однокурсник.

— Я в «Юности». Редактором отдела сатиры и юмора. А ты?

— А я... — И тут он называет серьезное партийное учреждение, в котором он занимает крупный пост.

Мы слегка поиронизировали над тем, каких специалистов выпускает железнодорожный институт. И вдруг взгляд моего однокурсника устремился куда-то поверх моей головы вдаль. Я обернулся.

С мраморной лестницы в центре вестибюля спускалась живописная группа западных людей. Видно было, что они далеко не туристы — какая-то делегация, компания, бизнесмены, клуб миллионеров. Твидовые пиджаки, прочные, с массивными носами, как на рисунках Бориса Ефимова, башмаки, розовые лица, седые баки, сияющие линзы надежных очков. Волна запахов дорогого табака и недешевых духов (были в группе и дамы) катилась по вестибюлю далеко впереди их носителей.

Мой однокурсник сначала напрягся, потом, наоборот, расслабился и, широко улыбнувшись, включив все мощности своего обаяния, раскинув руки, пошел сквозь меня на иностранцев. Те увидели его, узнали, заговорили между со-



Альберт Филозов в роли Бэмса.

Слева: В. Славкин (с бородой) и С. Надеждин — прототип главного героя пьесы. 1981 г.

бой по-немецки, чуть ускорили шаг — и вот они сошлись. Мой однокурсник что-то говорил им не то по-немецки, не то по-английски, используя те небогатые знания, которые мы вместе с ним получили в МИИТе, целовал дамам ручки, твидовые пиджаки хлопали его по плечу, он смеялся... Они двинули к выходу. У самых дверей мой однокурсник обогнал их, выскочил первым, и, когда компания вывалила на жаркую улицу, двери черных «Волг» уже были распахнуты — по четыре человека, один впереди, трое сзади, прошу, прошу... Фр-р-р-р — и они улетели.

А я остался стоять в вестибюле у дверей, держа в руках ворох купленных в киоске газет, так до сих пор и не засунув их в сумку, болтавшуюся у меня на плече. Все произошло в какую-то минуту.

Потом я шел по душной длинной улице Горького и думал. По каким же причудливым лекалам вычерчивает судьба чертеж нашей жизни! Мой славный однокурсник в годы учебы в институте занимал все высшие комсомольские посты. Я не могу сказать, что он был таким уж ястребом, но с ребятами, которые знали Пикассо, слушали джаз, читали Хемингуэя, раздобывая довоенную «Интернациональную литературу», он не был. Где должен быть комсомольский вожак во время смертельной схватки идей при небывалом обострении международной обстановки? На лихом коне впереди передового авангарда прогрессивной советской молодежи, ведущей успешную борьбу с тлетворным влиянием Запада! Но вот жизнь повернулась — «детант», контакты с капиталистами, дружба с Америкой... Где оказался бывший комсомольский секретарь, став к тому времени партийным боссом, где он должен быть во время благотворной разрядки международного напряжения? Опять на том же боевом коне далеко впереди миролюбивой советской общественности, борющейся за взаимопонимание между народами! На нем, на этом лихом коне, он первым прорвался на Запад, первым из нас прошвырнулся по Бродвею, завернул в ресторанчик, где настоящие негры играли настоящий джаз, посетил выставку этого Сальвадора Дали или Хуана Миро, кто их там разберет, а может, и был приглашен на стриптиз где-нибудь в Мюнхене этими же твидовыми пиджаками, которых он с ответным визитом встречал сейчас в Москве. И повез он их в какое-нибудь там Архангельское, и будут они пить водку, есть икру и условятся, когда мой однокурсник приедет к ним снова, — они уж покажут ему настоящий Нью-Йорк, или Амстердам, или Токио... Впрочем, эти-то явно не японцы, японцы приезжают, кажется, в третьем квартале,



надо бы успеть выучить, как по-ихнему будет «Добро пожаловать»...

Конечно же, этот злопыхательский сюжет пришел мне в голову от городской июльской духоты, от ощущения безнадежности пыльного московского вечера, от чувства неприкаянности столичного тротуарного человека... Никто нигде меня не ждал, да и сам я никого не хотел видеть. Вот и напел про своего бывшего товарища. А может быть, на самом деле все не совсем так и совсем не так...

Та же улица Горького. Тот же, кажется, год, вроде бы то же лето или ранняя осень. Теперь двигаюсь я в обратном направлении — от Манежной площади вверх к Пушкинской по правой стороне. Где-то в районе магазина «Подарки» я замечаю, что впереди меня, метрах так в пяти, тащится по тротуару унылая фигура в белом плаще, который, видимо, был нов и бел еще во времена, когда «русский с китайцем братья навек». Поредевшие волосы на непокрытой голове... Словно гирию волочит за собой огромный портфель. Типичный московский малооплачиваемый инженер бредет домой из своего КБ или НИИ, использует протяженность улицы Горького для того, чтобы подольше побыть в самом своем любимом и безопасном состоянии — ни на работе, ни дома.

Я узнал себя.

И я узнал его.

Это был Бэмс, мой другой однокурсник. Блестящий стилига, король джаза, покоритель женских сердец, «Джонни — парень из Чикаго»... О, как он тогда, в молодые пятидесятые, утюжил эту улицу по нескольку раз в вечер — вверх-вниз, вниз-вверх. На всех углах и плешках — у телеграфа, возле кино «Центральный», на Маяковке и во многих точках между — его ждали друзья, приятели, девушки, и всех надо было обежать, со всеми перекинуться: «Старичок, прости, опоздал...», «Поверь, чувишка, не могу...», «Ну, чувак, ты железно не прав!». И только потом, после, уладив свои некрупные стилигские дела и условившись о встречах на завтра, можно расслабленно и вяло, походкой раненого жирафа прошвырнуться по Броду — «кинуть брэк по Броду» это называлось! — снизу вверх и сверху вниз. «Все, чувачки, баиньки пора. Чао!» — «Ну, Бэмс, ты даешь, знаем, какие у тебя баиньки...» И под хохот дружков он сбегал в метро — «Падн ми, бойз, из дет де Чаттануга-чуча...»

О, как он пел нам тогда про эту Чаттанугу! Взобьет кок, вздернет воротничок поплиновой рубашечки и заводит: «Падн ми, бойз...» И слово-то какое «Чаттануга»! Оно не было тогда для нас географическим названием, вовсе нет — туда, в это слово, вмещались все наши мечты о будущей жизни, все, чего добьется наша «поколёнка», одолев в конце концов этих стоеросовых пеньков, запрещающих теперь петь нам наши песни... Где теперь эта Чаттануга?.. В ней уже давно успели побывать эти самые стоеросовые пеньки, а Бэмс — когда еще туда дотащится... В своем грязно-белом китайском плаще и с огромным портфелем стосорокарублевого инженера, который он сейчас волочит все по той же улице Горького...

Может быть, я это тоже придумал. И шел Бэмс не в таком уж плохом настроении, и зарплата у него была выше, но...

Два звоночка. Дзынь, дзынь... И я сел писать свою пьесу.

## Пьеса

Что я придумал? У отца-стилиги дочь — хиппи. Сразу само собой выскочило название: «Дочь стилиги».

Ничего еще не было написано, ни строчки, а я уже видел на афише — «Дочь стилиги». Хотелось реабилитировать само слово. Хотелось так: «Дочь стилиги». Драма в 2-х действиях. И «стилига» не в журнале «Крокодил», а на мхатовской афише. Пока пьеса не написана, об этом можно мечтать...

Итак, Бэмс, рядовой инженер, работающий, допустим, где-то в Моспроекте и живущий, положим, в каком-то там московском микрорайоне Коньково-Деревлево, не ближе. В студенческие годы он, блестящий стилига, король джаза, покоритель женских сердец, «Джонни — парень из Чикаго», женился на Люсе, певичке из кинотеатра «Орион», которая пела там перед сеансами. Вот они до сих пор и живут. Бэмс — потертый стосорокарублевый инженер, Люся — располневшая советская женщина, в которой трудно узнать предмет вожделения студентов одного из технических вузов Москвы пятидесятых. Но вот где-то уже в начале семидесятых они вдруг собираются вместе, три бывших однокурсника и Люська, — и куда девались те двадцать — двадцать пять

лет!.. Они сидят за одним столом, выпивают, вспоминают свои студенческие годы, декана по кличке «Бум отчислить», факультетские вечера отдыха, поют песни тех лет — «Венгерское танго»! — слушают джаз... Джаз! Счастье и проклятие Бэмса. И снова звучит «Чуча» со старой рентгеновской пленочки, поставленной на древний проигрыватель «Концертный». Музыка на ребрах! Джаз на костях! Скелет моей бабушки! И Прокоп, старый друг Бэмса, заводит по-английски с сильным челябинским акцентом: «Падн ми, бойз, из дет де Чаттануга-чуча...» И опять они с Бэмсом в паре — один «ЧУ», другой «ЧА».

Но из-за этой самой «Чучи» этого самого Бэмса тогда, в пятидесятые, поперли из института и из комсомола, потом, правда, восстановили, но карьера, которую сделали его однокурсники, ему все же не удалась — какая-то пометочка в анкете, какой-то крючочек, галочка мешали ему всю жизнь... И бывшие однокурсники посередине уютного застолья, в паузе между двумя тостами, в самый пик встречи друзей напарываются на свой застарелый конфликт.

Дело в том, что Бэмс и Прокоп были стилигами, а Ивченко, третий однокурсник, — секретарем факультетского комитета комсомола и, как тогда было положено, прорабатывал ребят за тлетворное влияние Запада. Поводом явилась американская «Чуча», которую Бэмс исполнил на новогоднем вечере, и рентгеновская пластинка, под которую все потом танцевали запретными стилем, — ну и завертелось...

Я не буду пересказывать все повороты сюжета, все перипетии этого вечера и ночи с пятницы на субботу, поясню только, почему в заглавии есть слово «дочь». Дочь Бэмса и Люси — Элла, названная так в честь черной леди джаза божественной Эллы Фицджеральд, учится в том же институте, который кончал отец и ректором которого состоит в настоящее время Ивченко. Элла — резко хиппующая девушка, и, естественно, у нее конфликт с институтским начальством. Бэмс — Ивченко, Ивченко — Элла... На этом все строится. В общем, «Дочь стилиги».

Я носил свою пьесу по завлитам и режиссерам московских и ленинградских театров и всюду получал отказ — мелкая, с их точки зрения, тема. Пока не попал в Московский драматический театр имени Станиславского. В семьдесят седьмом году главным режиссером туда назначили Андрея Алексеевича Попова, а он привел с собой трех своих учеников: Райхельгауза, Васильева и Морозова. Они провозгласили программу театра — новая современная драматургия. И я со своей «Дочерью» двинул туда.

И Анатолий Васильев поставил мою пьесу. И Филозов, Гребенщиков, Савченко, Виторган — в главных ролях — сыграли ее. И мы имели успех.

Когда Васильев начал репетировать «Взрослую дочь молодого человека» (почему так стала называться пьеса, я расскажу потом), за его плечами уже был знаменитый спектакль «Первый вариант «Вассы Железновой», у меня же не было ничего... Я хочу рассказать об одной маленькой детали, по которой я понял, что театр меня заметил. Примерно за три-четыре репетиции до генеральной со мной стали здороваться рабочие сцены. В Театре Станиславского со служебного входа на сцену ведет узкий коленчатый коридор — прямо, налево, направо, снова прямо, опять поворот... За семь месяцев, пока репетировался спектакль, я курсировал по этому лабиринту сотни раз, встречные и обгоняющие не обращали на меня никакого внимания — мало ли народу шляется по театру... И вдруг стали здороваться. И именно рабочие сцены. И теперь я хорошо знаю, что признанием для драматурга являются не цветы на премьере, не похвалы прессы, не объятия друзей, а «здравствуйте» от монтировщика декораций.

## ЛЮСЯ:

Я помню, было нам шестнадцать лет,  
Душа не знала жизни тень,  
Поцеловались мы тогда с тобой  
В весенний день.  
Тянули ветки сада  
К тебе через ограду,  
Букеты роз роняли  
И на свиданье звали...

## «Прокоп в своем репертуаре»

Мы сидим в кабинете главного режиссера Театра Станиславского. Собственно, главного режиссера у театра уже нет — Андрей Алексеевич Попов к тому времени со своего



поста ушел. Его кабинет был превращен в некий театральный клуб. В комнате обитали три режиссера: Васильев, Райхельгауз и Морозов. Но своего стола ни у кого из них не было. Административный стиль начисто отсутствовал. На стенах, правда, висело несколько портретов. Штук восемь. Но все они — композитор Мусоргский в халате. Почему он, никто не помнит...

Мы сидим в этой комнате в окружении восьми Мусоргских и слушаем по трансляции «Взрослую дочь». Васильев никогда не смотрел спектакль из зала — сидел в кабинете возле динамика и слушал. Все три с половиной часа. Так было с «Вассой», так будет и с «Серсо». По фонограмме Васильев мог определить, что в данный момент происходит со спектаклем. Тон актеров для него всегда был важнее общего впечатления.

Мы сидим. Через динамик идет текст, при этом мы беседуем, звоним по телефону, кто-то приходит, кто-то уходит... Время от времени Васильев настораживается. Сбой тона он слышит сразу. Когда я учился водить машину, я не мог вообразить, как можно крутить руль, разговаривать с соседом, производить десятки манипуляций руками и ногами и при этом не упускать из виду другие машины, чтобы на тебя никто не наехал, да и самому ни в кого не врубиться... Мой товарищ, который учил меня всем этим премудростям, сказал: «А я другие машины вижу только тогда, когда они едут неправильно. Когда они едут правильно, я их не вижу».

Так о чем это я?... Ах да — о Прокопе в своем репертуаре. Так вот, однажды, когда мы сидели и слушали трансляцию, нам в головы пришла одна идея. Как сделать продолжение «Взрослой дочери». Приложение к спектаклю. Так сказать, вторую серию. Из всего того барахла, что скопилось за время писания пьесы, репетиций, да и после премьеры, зрители нам подбрасывали материальчик. Анекдоты, байки, песенки, стишки тех лет... Поступали и материальные ценности. Кто-то приволок настоящие туфли на «манной каше», кто-то откопал старую зеленую велюровую шляпу, кто-то притаранил галстук с обезьяной и пальмой — подлинный «пожар в джунглях», в котором потом Филозов стал играть спектакль. Подруга Вика стащила у своего дяди, старого стилиста, пластинку на рентгеновской пленке, где еще можно было разобрать нацарапанную фиолетовыми чернилами надпись «Чу-ча»... Все это хотелось показать, рассказать, спеть. Не вставлять в готовый спектакль, а вывалить кучей на всеобщее обозрение. Мы даже придумали, как это будет называться — «Прокоп в своем репертуаре». Чем не название для стилистического шоу! Сидят наши корифеи Прокоп — Гребенщиков, Филозов — Бэмс, Люся — Савченко, сидят на сцене в декорациях «Взрослой дочери» и травят байки о своих пятидесятых, поют, танцуют, демонстрируют шмотки, зачитывают фельетоны из «Крокодила», «Комсомольской правды»... Короче, «Прокоп в своем репертуаре»! Между прочим, реплика из первого акта.

С этой идеей мы носились вплоть до гибели Юры Гребенщикова — самого Прокопа. Теперь уже все. Поздно! Кстати, на этом слове замешан наш следующий спектакль — «Серсо». Да и после него мы все чаще и чаще натывались на это слово — «поздно».

Так о чем это я?... Ах да — «Прокоп в своем репертуаре»! Так вот, не удалось в театре, попробуем в книге. Пусть вместе с автором свои истории вспомнят и сами герои пьесы, тем более что воспоминания у нас общие. Что касается меня, то здесь я хотел бы предстать не писателем, не театроведом, не мемуаристом, не социологом, а старым трепачом Прокопом, который вываливает на стол все, что он знает и помнит, не слишком заботясь о смысле и композиции, не особо отличая главное от второстепенного, не очень-то следя за последовательностью излагаемого и совершенно не боясь произвести при этом несерьезное впечатление на читателя. Книга эта не для чтения, а для просматривания. Пусть потом, в будущем, когда-нибудь серьезные люди обобщат и проанализируют, что с нами происходило последние лет сорок — собственно, послевоенную историю нашей молодежи, — мы же можем лишь подбросить материальчику, подсыпать подробностей, поднапрудить фактиков для будущих исследований и диссертаций... Когда собираются люди моего поколения («нашей поколѐнки» — как это сейчас называется), рано или поздно обязательно кто-нибудь скажет: «А ты помнишь, старик?..» И — повело.

#### ПРОКОП:

— Так о чем это я?... Ах, да — о моче товарища Сталина! Так вот, мой друг Миша Ушац как-то сказал: «Знаешь, а для

меня крушение культа личности Сталина произошло гораздо раньше пятьдесят шестого года. Еще при жизни вождя. Вернее, в последние дни его жизни. Когда в газетах стали публиковать медицинские бюллетени о состоянии его здоровья. Там были такие слова: «В моче обнаружен белок и красные кровяные тельца». Это меня поразило: ах, он такой же, как мы, у великого Сталина моча... И все! Как отрезало. Доклад Хрущева потом, через три года, на XX съезде, меня уже не удивил».

#### БЭМС:

— Когда приезжал с Запада на гастроли какой-нибудь джаз, мы начинали ходить по бакалейным магазинам и скупать сахар. Синяя обертка, в которой тогда продавали сахар-рафинад, по цвету и толщине походила на бумагу, на которой были напечатаны концертные билеты. Правда, все же надо было подобрать, чтоб никто не подкололся. Вот мы и накупали сахара. Снимали обертку и на ней подделывали билеты. Это раньше, в школьные годы, мы работали на протырку, со временем техника усложнилась.

Все работы велись у моего знакомого скульптора, я знал его еще со школы. Мы накупали сахара на год, но зато три-четыре билета мы имели — не отличишь! Наш этот скульптор был большой мастер билетной миниатюры. Он нацеплял на глаз лупу часовщика и тоненьким перышком срисовывал все, что напечатано на настоящем билете: «Московское городское управление культуры... Ряд №... Место №... Цена... Контроль...» И на обороте все, как положено, — «Вход после третьего звонка воспрещен...». Там еще много текста — адрес, как проехать... Наш скульптор, большой матерщинник, вставлял в этот текст черт знает что... Отыгрывался. Ну, какой билетер будет читать... Ему надо, чтобы билет стандартным был, а стандарт наш умелец держал железно! На Бенни Гудмана мы все были в зале. И на Эллингтона. Пройдем через контроль, а там расползаемся по стеночкам и рассыпаемся по проходам — уже не зассечешь!..

Этот мой приятель, теперь уже известный скульптор, лауреат, чуть не академик, больше всего гордится, что один им изготовленный билетик до сих пор хранится в каком-то там специальном музее в МВД как учебное пособие для молодых блюстителей порядка.

#### ЛЮСЯ:

— Расскажи, о чем тоскует саксофон,  
Голосом своим терзает душу он.  
Приди ко мне, приди,  
прижмись к моей груди,  
Любовь и счастье ждут нас впереди...

«Венгерское танго»! Господи, вся Москва пела его!.. Была такая музыка и действительно называлась «Венгерское танго», а кто-то написал на эту музыку наши слова — и получил-ся стилистический шлягер, я бы даже сказала, гимн.

Пройдем с тобой мы ресторана зал,  
Нальем вина искрящийся бокал,  
С тобой одной я буду танцевать,  
Любимой называть...

О, эти наши песни-песенки — я их все помню!.. Соврала, нет, не все. И восстановить трудно. Магнитофоны тогда были редкостью, переписывали слова от руки, но листочки эти растерялись, память поистерлась, в голове лишь отдельные строчки застряли, мало что можно воспроизвести целиком... Всеобщий склероз! Так и живешь среди руин и обломков.

Одна чува хляла по Бродвею,  
Она хляла взад-вперед...

Ну, а как дальше?..

Эй, чувак, не пей из унитаза,  
Ты умрешь, ведь там одна зараза...

А дальше, дальше-то как! Никто не помнит. А жаль. Хорошая песенка была... Ну, слова — не шедевр. Да тогда не до шедевров было. Очень хотелось петь свои песни. Хотя какие, но свои! Кто-то стишки в тетрадошке наковыряет, прикинем мелодию, музыка между фоно и гитарой разбросаем, постучать всегда кому найдется — и повело!

А мой пиджак, а канареечного цвета,  
Тот не чувак, кто не носит узких брюк...

Не ахти, конечно... Но разве сравнишь с «Мы все за мир, к счастью идут народы»?!



Это как джинсы-самострок. Когда еще наша промышленность раскачается на массовый выпуск ковбойских штанов, когда еще деньги накопишь на настоящие американские... А мы вот купим материальчику синенького, ниточками желтенькими швы прострочим, этикетку от чешской рубашечки сзади приделаем — и порядочек! Издалека, вечером, да при быстрой ходьбе вполне за фирму принять можно. Вот как вертелись!..

«А ну-ка, Джени, почешу мне позвоночник», —  
Кудрявой Джени Джонни говорит.  
И только месяц, глупый полуночник,  
Ко мне в окошечко глядит.

Отвечает Джени Джонни хмуро:  
«Я не буду портить маникюра,  
Я не буду портить маникюра —  
Ты иди о стенку почешу».

А недавно, не поверите, познакомилась с парнем, который слова того самого «Венгерского танго» написал! Конечно, сейчас он уже далеко не парень — солидный инженер, добропорядочный отец семейства. Он оказался родственником одной нашей знакомой. Я у нее эту песенку спела — на Первое мая было, — а он потом за столом мне говорит: «Это я, — говорит, — в пятьдесят четвертом слова написал». Я: «Да вы великий человек! Страна должна знать своих героев!» А его Димой зовут, фамилия Зеленый. Просил не афишировать. «На лекции прямо в конспекте набросал, дал ребятам, они спели... И пошло».

Господи, как щемило сердце от этих слов...

Пускай мотив звучит нам: «Ай лав ю»,  
Я о любви, любимый мой, пою,  
На свете нас никто не разлучит,  
Так пусть танго звучит.

## Похвальное слово «Крокодилу»

И получилось так, что единственный печатный источник, по которому можно восстанавливать историю стилига — это «Крокодил». Стилиг можно было только ругать и высмеивать, что абсолютно совпадало с профилем официального сатирического органа — «Смехом по помехам!», «Факты сличай и бей сплеча!», «Вилы в бок!»... В нашем боку до сих пор саднит от этих вил, но если бы не кровожадность «Крокодила», негде было бы посмотреть, как одевались молодые люди пятидесятых, что в гротескном виде, но все-таки отражалось в карикатурах; как они говорили, что с перебором, но давалось в фельетонах; и как их били — тут уж «Крокодилу» вовсе не было необходимости прибегать к своему методу преувеличения.

Когда нам надо было показать молодым артистам Театра Станиславского, как выглядели стилиги, мы повезли их в Белые Столбы, где мы посмотрели две советские сатирические кинокомедии — «Иностранцы» и «Секрет красоты». Это тот же «Крокодил», но на киноплёнке:

— Какую вы стрижку делаете?  
— Стильную. По просьбе клиента.  
— В учебной программе такой стрижки нет. Выполняйте полечку.

Социологи, которые через сто лет будут изучать жизнь своих предков, не смогут миновать путей, по которым прошли мы. И наша задача снабдить их кратким путеводителем.

Полистаем журнальчик! Заглянем в книжечку! Почитаем газетку!

## Полистаем журнальчик!

«В одной из школ был литературный вечер старшеклассников. Когда окончилась деловая часть, объявили танцы. В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеши; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши.

Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую, после чего обнаружили носки, которые слепили глаза, до того они были ярки...

— А, стилига пожаловал! Почему на доклад опоздал? — спросил кто-то из нашей компании.

— Мои вам пять с кисточкой, — ответил юноша. — Опоздал сознательно: боялся сломать скулы от зевоты и скуки... Мумочку не видели?

— Нет, не появлялась.

— Жаль, танцевать не с кем...

В это время в зале показалась девушка, по виду спорхнувшая с обложки французского журнала мод. Юноша гаркнул на весь зал: — Мума! Мумочка! Кис-кис-кис!

Он поманил пальцем. Ничуть не обидевшись на такое обращение, девушка подпорхнула к нему.

— Топнем, Мума?

— С удовольствием, стилигочка!

Они пошли танцевать.

Стилига с Мумочкой под музыку обычных танцев — вальса, краковяка — делают какие-то ужасно сложные и нелепые движения, одинаково похожие и на канкан, и на пляску обитателей Огненной Земли. Кривляются они с упорным старанием в самом центре круга.

Оркестр замолчал. Стилига с Мумочкой подошли к нам.

— Скажите, молодой человек, как называется танец, который вы танцуете?

— О, этот танец мы с Мумочкой отрабатывали полгода! — самодовольно сказал юноша. — В нем шикарно сочетается ритм тела с выражением глаз. Учтите, я и Мума первые обратили внимание на то, что главное в танце не только движение ног, но и выражение лица. Называется наш танец «стилига це-дри». Вам нравится?

— Еще бы! — в тон ему ответил я.

— Мумочка, не дуйся. Убери сердитки со лба и пойдем топнем «стилигу це-дри».

Мума деревянно улыбулась, и они снова принялись за свои кривляния...

— Теперь вы знаете, что такое стилига? — спросил сосед-студент. — Как видите, тип довольно редкостный, а в данном случае единственный на весь зал. Однако находятся такие девушки и парни, которые завидуют стилигам и мумочкам.

— Завидовать? Этой мерзости?! — воскликнула с негодованием одна из девушек. — Мне лично плюнуть хочется».

Д. Беляев «Стилига», «Крокодил», март 1949 г.

БЭМС:

— В декабре пятьдесят шестого в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина состоялась выставка Пикассо.

О, что это было!..

Я метался от стены к стене, записывая в черную клеенчатую книжечку названия картин, чтобы потом, дома, завтра, через неделю, на другой год, в следующем десятилетии — в любой момент вызвать у себя в памяти все, что я увидел. Потому что это был мой художник, мои картины и без них я уже не представлял свою дальнейшую жизнь.

Я ввинчивался в толпу спорящих, достигал центра и там, срывая голос и активно жестикулируя, пытался переубедить тех, кто считал все это мазней — «и я так могу». Ну что было делать?! Собственное бессилие повергало меня в отчаяние.

Я приходил на выставку еще и еще. Каждый раз у меня в запасе был новый убойный аргумент в защиту Пикассо. Мне казалось, ну еще немного, еще чуть-чуть — и они скажут: «А этот парень прав». Момент повыигрышной найти, цитатой ловкой ударить, примером из классики поразить, остроумную фразу вовремя вернуть — и скажут: «Прав этот парень, прав!» Еще немного, еще чуть-чуть, ну уж на этот раз трудно им со мной будет и скажут: «Тысячу раз прав!»

Нет, сказали: «И я так могу» — против лома нет приема!..

На факультете к Новому году мы выпустили специальную стенгазету, посвященную Пикассо. Собрали две-три статьи, сами ребята написали — Лева Смилянский, Боря Цетлин, еще кто-то... Наш художник Миша Марьямов обгорелой спичкой скопировал «Дон Кихота и Санчо Панса». «Мне кажется, что Пикассо это так спичкой и делал», — говорил он нам. Классно получилось! И женское лицо с крылом голубя вместо волос по всей газете...

Провисела она три дня. Или четыре. Вышли мы на большую перемену из аудитории — нет нашей газеты. Деканат снял. Снял и устроил разбирательство. Идеологическая диверсия! В напряженный момент борьбы за светлые идеалы студенты богатого боевыми традициями железнодорожного вуза прославляют буржуазное упадническое искусство. Вызывали в комнату заседания партбюро по одному, требовали назвать зачинщиков...

Мы имели бронебойный аргумент, железное алиби: Пикассо — коммунист, лауреат Премии мира, активный участник антивоенного движения... Вышло все наоборот. Эта наша защита обернулась против нас. Один аспирант в железнодорожном кителе с зелеными кантами, сказал мне: «А отдаете ли вы себе отчет, молодой человек, что вы сейчас своим высказыванием оскорбили всех коммунистов?» Они не верили нам! Они не верили, что Пикассо может быть коммунистом. Они нам не верили... Темные пенки! Двадцать лет им



понадобилось, чтобы понять, что Пикассо — великий художник.

Но фразу: «А эти-то ребята были правы», — мы так и не услышали...

#### ПРОКОП:

Жил-был в Лондоне стилига,  
В узких брючках он ходил,  
Жил в пещере, как собака,  
Водку пил, табак курил.

Раз заставили стилигу  
Трое суток танцевать,  
А на третьи он свалился  
И собрался умирать.

«Вы меня похороните  
На могиле бедняков,  
Через год туда придите  
И сыграйте рок-н-ролл».

Год прошел, настало время —  
Джаз на кладбище пришел.  
Разложили инструменты  
И сыграли рок-н-ролл.

Вдруг мертвец пошевелился,  
Носом крышку приподнял,  
А потом он в пляс пустился,  
На все кладбище орал:

«Мы идем по Уругваю.  
Ночь — хоть выколи глаза,  
Слышим крики попугаев  
И гориллы голоса.

Денег нету — и не надо,  
Деньги можно заменить.  
Мы подходим к коммунизму,  
В коммунизме будем жить.

Водки нету — и не надо,  
Водку можно заменить.  
Мы нагоним самогону,  
Самогон мы будем пить.

Женщин нету — и не надо,  
Женщин можно заменить.  
Африканскую гориллу  
Тоже можно полюбить.

#### Имя собственное

Итак, «Чатануга-чуча» — а что было на самом деле? А на самом деле были пятидесятые годы, а на самом деле был Московский институт железнодорожного транспорта имени И. В. Сталина, а на самом деле был новгородный факультетский вечер... Москва не представлялась тогда такой разноцветной, как сейчас. Во всех театрах шел один и тот же спектакль, во всех кинотеатрах показывали один и тот же фильм, телевидения почти не было, а по радио исполнялась одна песня на всех. Это, конечно, гротеск или гротеск, как говорил мне один редактор, но по сравнению с одними только видеовозможностями нашего времени так оно примерно и было. А того, что у нас обозначается термином «молодежная культура», просто не существовало. Все, что относилось к этому разряду, называлось хулиганством. С одной стороны — бронебойное официальное искусство, с другой стороны — блатняга, включался сюда и стилижный фольклор. Примыкали к этому и осколки довоенного мещанства, недобитого дореволюционного салона, то, что сейчас называется «ретро». Хотя в те годы Вертинский, Козин, Лещенко как прошлое не оценивались. Тогда вообще чувство прошлого отсутствовало. Война остановила механизм бытовой жизни, подравняла все возрасты, и когда она кончилась, мы все вдруг стали ровесниками. Вчерашний десятиклассник и вчерашний солдат поступали на первый курс вуза и начинали вариться в одном студенческом компоте.

Я не знаю, как там было в институтах в конце сороковых, но мне кажется, что в начале пятидесятых в студенческой среде стали происходить качественные изменения. Стали появляться новые признаки. Вернее, старые. В студентах восстанавливались их родовые свойства, оттаивали древние гены. Молодые люди вдруг ощутили себя единым организмом, одним обширным телом, и это тело вспоминало свое предназначение, свою социальную функцию. Конечно же, смерть Сталина, конечно же XX съезд, конечно же Всемирный фестиваль молодежи и студентов, — но что-то началось и до этого. В начале пятидесятых из школьных стен стали выходить выпускники, которые, несмотря на военное детство, на нищие послевоенные годы, несмотря на отсутствие

информации о своих сверстниках за рубежом, тем не менее были уже современной молодежью. Да и само слово «молодежь» стало приобретать совсем другой смысл, чем в формуле «Молодежь страны Советов». В традиционной советской идеологии это слово не имело социального смысла, оно обозначало лишь возраст. Человек-ребенок, человек-подросток, человек — молодой человек, человек-взрослый, человек-старик. Все это один и тот же советский человек, но в разные моменты своей жизни. Вплоть до смерти — «хороший был человек»... И еще — каждая предыдущая категория своевременно, охотно и безболезненно переходила в последующую, обеспечивая круговорот советского человека в природе. Ребенок, отцветая, переходил в молодые люди; молодой человек, отгуляв, вливался во взрослую жизнь; взрослый, отработав, становился стариком... И вот впервые в истории нашего государства молодежь начала пятидесятых почувствовала свою жизнь не одной из стадий развития советского человека, а своей отдельной, самостоятельной, замкнутой жизнью. Появилось сначала неосознанное, а потом и вполне осознанное желание не становиться такими, как их родители. Как-то измениться, переделаться, перевернуться, соскочить с колеи, выпрыгнуть из стандартов, а если к сроку не получится, лучше продлить срок, затянуть свою молодечность, может быть, даже стать пошлостью — пусть! — только бы нарушить этот инкубаторский график. Слово «инфантильность» возникло гораздо позже. Но то, что оно обозначало, уже началось.

Разумеется, всех этих выводов и построений в мозгах у молодых людей тогда еще не было, их мозговые извилины выглядели еще достаточно прямыми, но организм уже действовал. И опознавал другие, сходные с собой организмы, и тянулся к ним, и сливался с ними, и ошестинивался против организмов враждебных, накапливал силы, самосовершенствовался. И искал себе название. Слово «молодежь», которое было принято для обозначения «этого» во всем мире, нас не устраивало. Мы искали свое. Слово было найдено лишь тогда, когда мы уже отгуляли, оттанцевали, отспорили, отпили, от-все. Слово это — шестидесятники.

#### Полистаем журнальчик!

«И недаром мы все чаще  
Убеждаемся сейчас:  
Даже сахар русский слаще,  
И табак вкусней у нас.  
Лучше нашей водки нету,  
Лучше хлеба не найдешь,  
Поищи пойдя по свету  
Ты еще такую рожи!  
И ботинок русский тоже  
Сам о многом говорит,  
Если он из русской кожи,  
Если он по-русски шит.  
Если шуба из Калуги,  
Значит, ей не страшны выюги.  
Если вещь из Ленинграда,  
Значит, сделана, как надо...»

В. Масс и М. Червинский «Это сделано у нас».  
«Крокодил», март 1947 г.

#### ПРОКОП:

— Когда умер отец, в нижнем ящике комода, который он всегда запирали, я нашел пачку газет: «Правда» от 9 мая 1945 года, денежная реформа, семидесятилетие Сталина, мартовские газеты пятьдесят третьего, XX съезд, ну и так далее. Была там страница уфимской газеты «Ленинец», органа обкома ВЛКСМ («волкасьем» — как говорили тогда студенты), из командировки, наверное, отец привез. Не помню, чтобы он ее мне показывал, но в «сейфе» (так он называл нижний ящик комода) держал явно для меня. В центре страницы крупным шрифтом были набраны стихи:

Стилига  
в потенции  
враг.  
С моралью  
чужой и куцей,—  
На комсомольскую мушку  
стилиг:  
Пусть переделываются  
и сдаются!

Наверное, отец хотел использовать эту газету в качестве воспитательного пособия, если бы я покатила по наклонной плоскости. Но, наверное, я все-таки не покатила,



А когда же вышла эта газета, в каком именно году? На странице даты я не нашел. Как же определить?.. Я стал шарить глазами по оборотной странице и наткнулся на подпись к фотографии, где был изображен экскаватор: «Свое сменное задание Николай Ермолаев выполнил на 140—160 процентов. В честь 40-летия Ленинского комсомола он обязался...» Ага — 1958-й! (1918+40). Интересно, выполнил ли товарищ Ермолаев свое обещание?.. Кстати, оказался универсальный способ определения времени, к которому принадлежит та или иная вырезка, — по обратной стороне газеты.

Я не знал, что ты такая дура,  
Как корявый пень, твоя фигура,  
Ноги, как картошка, и еще немножко —  
Можно и в зверинец поместить.

тебе подобного уroda.

## Твою породу

**я не забуду никогда.**

Тебя создать напрасно думала природа —  
Ты родилась у черта в пьяной голове.

Если б ты была совсем другою,  
Я б назвал тебя своей женою,  
Я бы с песней этой проходил по свету,  
Я б такую песню напевал...

## Подарок Аксенова

И вот сижу я в аксеновских «Жигулях», Василий подвозит меня до Дома литераторов. О чем-то разговариваем, и Аксенов спрашивает меня — что с пьесой? «Что с пьесой... — говорю. — Требуют новое название». — «А ты назови ее «Взрослая дочь молодого человека». Вот так с ходу сказал, почти не сделав паузу между репликами. Мгновенно придумал или держал про запас для себя и решил подарить товарищу — не знаю... Четко помню, где это произошло: мы спускались по Манежной площади и остановились перед красным светофором при повороте на улицу Герцена. И когда этот светофор стал зеленым, я уже знал, с чем я завтра пойду в Министерство.

Но не только название связано с Аксеновым. Вся пьеса пропитана им. Иначе быть не могло. Василий Аксенов — первый певец этого поколения, сам в прошлом казанский стиляга, любитель джаза... А как он писал о нем! В 1967 году мы вместе были на первом международном Таллиннском джазовом фестивале, а потом в журнале «Юность» появилось его эссе «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах»: «Пока что исполняется оригинальная композиция Германа Лукьянова «Третий день лета». И это, конечно, не второй и не четвертый. Первые два дня прошли с жарой и ливнями, наступил третий день, очень ветреный, в легком, порывистом кружении облаков и назойливого тополиного пуха, тот день, когда некто в синем костюме, внешне спокойный, в неясном смятении, прошел по поселку, заглядывая на веранды, кого-то разыскивая, не находя, продолжая поиски, удивляясь, пока не побегал с набитым ветром ртом, и день кончился». Мы ужасно гордились, что в год пятидесятилетия советской власти протащили на страницы органа Союза писателей СССР имя Уиллиса Коновера, бархатный бас которого — «The jazz of «The Voice of America» — в то время из всех сил глушился нашими славными бойцами идеологического фронта.

Потом стали глушить и самого Аксенова... Помню, как я метался со своим приемничком по квартире — из комнаты в кухню и обратно, забегал даже в ванную — в поисках точки, где хоть чуть-чуть слышнее будет «Голос Америки», потому что в своей «Смене столиц» Василий, уже из Вашингтона, рассказывал что-то о стилягах, о пятидесятых, о джазе, вспоминал, как был на премьере «Взрослой дочери»... — и у-у-у-у-у-у-у-у-у-у...

## Полистаем журнальчик!

«Не хочет ли эта смазливая барышня придушить молодого человека, занявшего столь невыгодную позицию? Отнюдь нет. Они оба заняты одним и тем же: они... танцуют.

В свое время этот «танец» изобрел малоизвестный американский делец, занимавшийся спекуляцией роялями. Бизнесмены полюбили «танец» за то, что улюлюкающие звуки и непристойные телодвижения вполне соответствовали их идеалу «прекрасного». «Танец» назвали коротко и выразительно: буги-вуги. Западно-германская газета «Динсей дейтунг» (так в «Крокодиле»), поместившая этот снимок, взяла на себя нелегкий труд — рекламировать буги-вуги среди населения Западной Германии. Но «танец» не прижился. В наше время под американскую дудку охотно пляшут лишь боннские политики».

**Комментарий к фотографии.**  
**«Крокодил», октябрь 1951 г.**

**БЭМС** (на мотив песенки «Шеф нам отдал приказ лететь в Кейптаун»):

**Вот получим диплом,  
Хильнем в деревню,  
Будем там удобрять  
Навозом землю.**

Мы будем сеять рожь, овес,  
Лабая буги,  
Прославляя колхоз  
По всей округе.

**Через несколько дней  
В колхозе нашем  
Мы проложим Бродвей —  
Всех улиц краше.**

На селе джаза нет,  
Там жить не мило.  
Чтоб зажечь в жизни свет,  
Собьем джазилу.

**Ресторанов там нет,  
Там есть пивные.  
Будем мы целый день  
Ходить кирные.**

**Ты на ферме стоишь,  
Юбка с разрезом,  
Бодро доишь быка  
С хвостом облезлым.**

Ах ты, чува, моя чува,  
Тебя люблю я.  
За твои трудодни  
Дай поцелую!

**ПРОКОП:**

— 23 декабря расстреляли Берию, а через неделю в новогоднем концерте по радио Поль Робсон спел «Сан-Луи». Мы прямо так на пол и сели!..

## Первый Бэмс

И вот ко мне явился Бэмс.

Я знал, что рано или поздно он явится, и он явился. Тот самый, настоящий Слава Надеждин, который тогда, в тысяча девятьсот пятьдесят затертом году, на факультетском вечере в нашем железнодорожном институте взбил свой кок, вздернул воротничок поплиновой своей рубашечки и рванул «Чучу». «Падн ми, бойз, из дет де Чаттануга-Чуча?..» Это я помнил, помню и сейчас, но после окончания института — более двадцати лет (опять эта проклята цифра 20!) — я его не видел. Был у нас вечер встречи в 1968 году, но Бэмс в ресторан «Украина» не пришел. Уже после, когда пьеса была написана, я вспомнил, что на том традиционном сборе не было именно тех двоих, которые стали героями «Взрослой дочери». По разным причинам. Может быть, я ошибаюсь, но зачем Бэмсу встречаться со своими однокурсниками, которые помнят его, беспечного и самоуверенного, а теперь увидят перед собой рядового инженера, прозябающего в зачуханной конторе?.. С Ивченко другое. Зачем Ивченко,



крупному партийному работнику, приходиться на традиционный сбор, не будучи уверенным, что его бывшие однокашники не поиронизируют над неинженерной карьерой своего бывшего комсомольского секретаря? А вдруг кто-нибудь, выпив да подсев, попросит его о чем-то? Надо будет обещать, давать телефон... Нет, лучше не ходить. И не пришли. Ни на десятилетие, ни на двадцатилетие. В той же «Украине».

И вот отшумела премьера, появились рецензии, прошли отрывки по телевидению... Сажу я у себя в кабинете в журнале «Юность», приоткрывается дверь, и в образовавшейся щели я вижу странную фигуру в синтетической меховой шубе, мехом наружу, и в белой ковбойской шляпе на голове. Дверь открывается шире — Бэмс! Ну, думаю, сейчас, как говорит Зоценко, начнется некрасивая сцена. Стащил подлинную, реальную кличку, использовал настоящие жизненные детали и в то же время выдумал историю, которой, собственно говоря, не было... И все это не спросив разрешения у прототипа. Имеет право обидеться. И даже устроить скандал.

Я встал из-за стола.

— Бэмс...

— А я читаю рецензии, смотрю телевизор — Славкин, Бэмс, «Чуча», декан «бум отчислять»... Думаю, может, про меня?

— Я ждал, что ты придешь...

— Слушай, а как посмотреть-то?

— О чем разговор! — На сердце у меня отлегло.

Вечером Бэмс уже сидел в первом ряду вместе со своим другом Сашей Черным, который по звонку тут же явился в театр. Выглядел Бэмс теперь вполне респектабельно. Видно, тогда, на улице Горького, я видел Бэмса не в лучшую его пору...

После спектакля я повел Бэмса за кулисы. Он с удовольствием демонстрировал себя актерам, надевал и снимал свою ковбойскую шляпу, обнажая лысину, сделал два-три замечания Филозову по части танца, показал, как это делал он... Мне сказал:

— Чего Бэмс у тебя такой грустный? Я — веселый.

— Ну, Бэмс, ты даешь! Это все-таки не ты. Ты хочешь прямо «Жизнь замечательных людей»!..

Долго в тот вечер мы сидели в режиссерской комнате.

— Ведь это все было красиво — прически, пиджаки, — говорил Бэмс. — Мы всего-то и хотели — чтобы было красиво. Я и сейчас одеваюсь, как считаю для себя нужным. Я иду по улице, на меня прохожие оборачиваются. И на работу я прихожу в своем стиле. Начальство мне говорит: «Вы что, товарищ Надеждин, носите рубашку с американским флагом?» А я все равно хожу. Надеваю — и в министерство! И у меня уже есть последователи. Подходят в коридоре и говорят: мы, говорят, будем одеваться, как вы. Для дочки я — бог! Ей восемнадцать лет, она советуется со мной, что ей носить, как танцевать. Мы в дискотеку ходим вместе. В МАЛМИ сейчас лучшая дискотека. Хочешь, покажу? Позвони.

И дал телефон.

— Если подойду не я, спроси Стаса. Я — Стас.

— Не Бэмс?

— Она не знает...

— Жена?

— Типа того.

Отгадал ли я своего героя? Я мог бы радоваться — да, отгадал! И даже сюжет с дочкой точь-в-точь... Но вторая наша встреча заставила меня засомневаться в собственной прозорливости. Об этом я расскажу потом, а пока — иллюстрация к первой встрече. Расшифровка с магнитофонной ленты.

## Подлинный рассказ настоящего Бэмса о том, что было на самом деле

У меня был такой очень хороший приятель, он и сейчас существует, это доктор наук, физик, очень известный человек, Сережа Родин. Он жил в районе Курского вокзала. И вот там, у него, где-то в пятьдесят пятом, пятьдесят шестом... может, в пятьдесят седьмом мы очень часто собирались. Туда ходил такой, я помню, очень колоритный парень, Саша такой, колоритный, красивый, он увлекался Элвисом Пресли. Мы еще не знали, кто это такой, Саша страшно его рекламировал, у него уже была какая-то пластинка Пресли, в то время это было большой редкостью, такие пластинки доставали окольными путями, за большие

деньги... Сережа Родин, он имел записи, к нему приходили не пластинки, а джазовые записи. У него стоял МАГ-8, громадный металлический ящик — МАГ-8, полустудийного типа, громадные колонки... Целая комната у Сережи была посвящена этому, как студия была. И я у него бывал регулярно, два раза в неделю примерно, я получал там полнейшую информацию и великолепное удовольствие от музыки, от общения с этим человеком. Потом мы с ним очень долго еще дружили... Когда мы там сидели, у Сережи Родина, у него собиралась очень интеллигентная публика, мы, может быть, еще не так понимали, знали — дилетанты, все только начиналось. Сережа был наиболее такой осведомленный, информированный товарищ, и он нам выдавал каждый раз какое-нибудь имя, которое мы первый раз слышали. Ну, например, Эррол Гарнер. В двух словах о нем и вдруг ставит эту мелодию, и мы первый раз, первый раз... Причем мы реагировали, не то что сидели, слушали просто — реагировали, руками, ногами, ритм отбивали, подтанцовывали еще что-нибудь, старались своим поведением как-то быть в этой музыке. Громко было, соседи, коммунальные дела — а было громко! Соседи как-то привыкли к этому грому... Я любил большие оркестры — как будто небоскребы рушатся, музыка такая, я был в страшном экстазе. Не то чтобы — это вот Америка! Мы не знали тогда, что такое Америка. Музыка сама по себе страшно волновала, вдохновляла, действовала... Уже неважно, чья она, американская... она была новая для нас музыка, была такая бодрящая, зовущая, давала оптимизм, настрой хороший. И после, когда мы выходили на улицу, мы напевали, насвистывали эти мелодии... А вообще впервые я услышал джаз в сорок восьмом году в кинотеатре «Ударник», играл Лаци Олах. Каждую неделю в «Ударнике» шел новый фильм, я ходил... Я много писал джаз, у меня был «Днепр-3», потом «Днепр-5»... Я был влюблен в джаз! Я знал всех музыкантов Москвы. У них была биржа, где сейчас Хореографическое училище, на Неглинной, и я приходил на эту биржу, вместо того чтобы идти на занятия в институт. Как только я поступил на первый курс в МИИТ, я сразу стал интересоваться музыкальными программами, индустрией развлечений. Это стояло у меня на первом месте. Учеба — на втором, девочки — где-то между первым и вторым, посередине, ну, это входило как составная часть... В Москве тогда появились первые джазовые коллективы. «Восмерка ЦДРИ»! Гаранян, Зубов, Салганик, Зельченко, Гареткин... Я знал Матвеева Борю, ударника, он был любимцем публики, и я имел популярность как знакомый Матвеева и был тоже в центре внимания на вечерах. Через меня шла информация по студенческим вечерам, я жил на Софийской набережной, и телефон работал, просто как в Смольном. Я знал, где что, и, кроме того, я говорил, где лучший оркестр и куда идти... Ну в основном это был Экономический институт, где девочки, Плехановский. И не только вечера, но и ночники, очень часто в субботу, целую ночь, с буфетами, с какими-то мероприятиями. Играли живую музыку! Никаких дискотек тогда не было — только живая музыка! Были те, которым не нравилась программа: «Почему не играете вальс?» И вальсы играли! «Домино» — прекрасный вальс, и я танцевал. Я каждый день ходил на эти вечера, почти каждый день... Первый раз я увидел рок-н-ролл, был вечер в МГУ на Ленинских горах, и я увидел... Был такой парень, которым я восхищался, — Юра Пак. И вот этот Юра Пак вдруг такой рок-н-ролл сплясал — я обалдел! Я смотрел... Я знал его немножко, я проникся к нему большим уважением и благодарностью за то, что он доставил всем нам эстетическое удовольствие. Я пригласил его к себе домой: «Ты обязан, ты должен научить меня танцевать рок-н-ролл!» И он пришел ко мне на Софийскую набережную. У меня была большая комната, метров двадцать, у меня была пластинка на рентгеновской пленке «Рок эраунд де клок» Билла Хейли, — вот под эту музыку он стал меня обучать. Проигрыватель примитивный, на пластинку ставили стакан или фужер, чтобы рентгеновский снимок не загибался... И вот он стал мне показывать эти «па», он мне показал примерно десять «па», я их все помню, я записывал, зарисовывал, как ногу ставить. Он показал, у меня коряво получилось, но тем не менее он одобрил. Я стал повторять, пробовать... Я и сейчас часто в ресторанах танцую рок-н-ролл, последний раз я выступил в Сочи в прошлом году — до упаду! Но вернемся... Через некоторое время после того, как ко мне приходил Пак на Софийскую набережную, у нас в институте готовился вечер, там была девочка, она прекрасно танцевала, и я с ней в паре должен был танцевать рок-н-ролл. Мы провели две или три



репетиции. Мы участвовали в студенческом капустнике, сюжет — такая, что ли, золотая молодежь, смотрит на Запад, что ли... Танцуем рок-н-ролл, потом должен был прийти на сцену наш чтец Толя Нейман, читать Маяковского, значит, мы, погань такая, все такое, — и смахнуть нас, мы должны были уйти. Такой банальный сюжет. Читал он «О дряни», что ли... И мы просили его почитать подольше, не спешить, чтобы мы потанцевали побольше, чтобы люди посмотрели, все-таки было приятно. Настоящий, чистый рок-н-ролл. И мы как-то протанцевали, я даже устал. Нейман затынул, он сам большой любитель рок-н-ролла, ему самому хотелось. Потом смахнул нас метлой, прочитал Маяковского — все было соблюдено, моральные все нормы. А уже к следующему вечеру появилась идея спеть «Чаттанугу-Чучу». А у нас с Сашей Черным был фильм свой собственный, аппарат Саша Черный достал. Фильм «Серенада Солнечной долины». Своя копия! У нас было три фильма: «Джордж из Динкиджаза», «Серенада Солнечной долины» и «Сто чертей и одна девушка». Собственное дело. И мы ездили, показывали по квартирам на простыне, потом уже стали в спортивных залах крутить. Нас приглашали, нас искали... Моя сторона была — организовывать людей, ну, я с удовольствием это делал, потому что была большая перспектива знакомства с новыми людьми. Я сам с удовольствием смотрел каждый раз, в общей сложности раз сто. Я «Серенаду» знал наизусть — и как они поют, и как они танцуют... Вот так же и мы вышли на том вечере, был фрагмент какой-то, вставка. Причем я знал слова очень приблизительно, я знал первый куплет, потом так... Эта песня у меня была просто внутри, я все время искал для себя возможность показать ее. Это был курсовой вечер, может быть, новогодний, в малом зале клуба МИИТа. Решили подобрать песню, которую можно показать в движении, в динамике. Прямо взяли из фильма, выходили вчетвером, сначала насвистывали, потом обнимаем друг друга за плечи, начинаем петь, все подпевают — «ез, ез!». Мы пропели первый куплет благополучно, потом я там что-то начал путать, в общем, на втором куплете я закончил, до конца не допел, и мы смотались. Потом все подходило к нам: «Здорово!» Деканат не протестовал, не вызывали, не ругали, может быть, им понравилось, может быть, их не было — не знаю... Когда появился твист, он захватил меня сразу! Был Коля Клоун, он умер, к сожалению, он на Каменном мосту стал танцевать, мы шли, и он на Каменном мосту стал танцевать твист. Я ему сказал: «Коля, ты обязан меня научить». Он пришел ко мне на Софийскую набережную, у меня была пластинка «Твист эгейн», и я у него стал учиться. Он говорил: «Ты руками, как полотенцем, обтирайся». И я стал публично танцевать твист. Чабби Чеккерс! Это было, как гимн. В Москве были твистовые рестораны: «Будапешт», 2-й этаж, кафе «Националь» и ресторан «Урал» и еще «Советская» гостиница. Шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый, шестьдесят шестой...

## Совпадения

До начала репетиций я не был знаком с актерами, которых распределили на роли во «Взрослой дочери». А когда я их узнал, удивился, какой точный получился расклад по характерам и биографиям.

Альберт Филозов и Юрий Гребенщиков. Бэмс и Прокоп. Два друга. В пьесе и в жизни. Оба из Свердловска. Оба в пятьдесят пятом приехали в Москву поступать в школу-студию МХАТ. Вместе поступили, вместе играли в учебных спектаклях, оба очутились потом в труппе Московского драматического театра им. К. С. Станиславского. Алик — организованный, сдержанный, скрытный; Юра же был подвержен всем земным страстям. Во «Взрослой дочери» в их тандеме присутствовала абсолютная гармония. Алик — лирический, склонный к рефлексии; у Юры более здоровые эмоции, он готов скорее посмеяться над жизнью, чем вздыхать по поводу ее несовершенства — «Что прошло, то ушло — живи!». Потом все это переместилось в «Серсо». Петушок и Владимир Иванович. «Вместе работаем, вместе отдыхаем!»

Так оно и шло.

Во втором акте «Взрослой дочери» был маленький эпизод: Бэмс со сцены просил Прокопа, находящегося якобы внизу, на улице, поискать ключ, который Элла выбросила в окно. Бэмс бросал Прокопу спички, а потом кричал, чтобы тот кинул ему коробок обратно. Прокоп выполнял просьбу, из-за сцены мы слышали его слова: «Держи дак». Мне очень понравилась интонация и это «дак». Я похвалил Юру. «Дак

это же уральский акцент, — сказал он. — Ты же сам написал, что Прокоп из Челябинска». Юра из Свердловска, Прокоп из Челябинска... Сошлось.

Место жительства Прокопу я выбрал потому, что мой товарищ по МИИТу Витя Бураковский был челябинский. Челябинск, «Челяба», — говорил Витя, — мне нравились эти слова! И сам Витя имел непосредственное отношение к теме пьесы. Все студенческие годы мы в МИИТе под руководством Бураковского писали и ставили факультетские капустники, те самые, с которых и начались все неприятности Бэмса. Витя был наших Худом — художественным руководителем. Я даже хотел вставить в текст фразу про него: «Нет Худа без добра» — не влезла!.. Но Челябинск Бураковского вошел. Потом на роль Прокопа был назначен Гребенщиков из Свердловска — все совпало!

Точно так же, как Люся, жена Бэмса, совместилась с актрисой Лидией Савченко. Для меня это проявилось уже после. На один из первых спектаклей пришел Марлен Хуциев. Заглянув в гримборную Савченко в конце, я увидел его там. Марлен Мартынович произносил горячий монолог: «Нет, мы не должны сейчас расходиться! Мы должны купить вина и куда-нибудь поехать... Расходиться сейчас нельзя!» Мы рванули в ресторан «Минск» и буквально за минуту до закрытия захватили там несколько бутылок. И все вместе поехали ко мне домой. Уже ночью стали метаться по соседям в поисках гитары. «Лидя должна петь!» — настаивал Хуциев. И Лидя пела. А Хуциев, закрыв глаза, улыбаясь какой-то потусторонней улыбкой, лежал поперек дивана...

Оказывается, в юности они с Лидой были в одной компании. Хуциев: «Лидя, помнишь, какой я был в поступках?» Лидя была красоткой, играла на гитаре, пела, все ребята были в нее влюблены. Ну прямо как Люська, певичка из «Ориона»! Совпало.

И четвертая фигура в нашем квартете «стариков» — Эммануил Виторган. Элегантный, невозмутимый, экономный в движениях, он держался на расстоянии от других актеров. Был между ним и «стиляжной» компанией какой-то холодок. Меня это беспокоило — хотелось, чтобы мы все были теснее спаяны. В репетициях, в быту напряжение между Виторганом и остальными мешало, а на сцене, я рискну сказать, помогало. Ведь Ивченко и был человеком со стороны по отношению к Бэмсу, Прокопу, Люсе...

Так мы и жили. И все было радостно, естественно, логично, и казалось, так будет всегда. Жизнь подбрасывала нам приятные совпадения. Но «все ненадолго». Роковая реплика Павла из «Первого варианта «Вассы Железновой»: «Все ненадолго!»

26 января 1988 года около часа ночи на улице Красноармейской машина «Жигули» № ц 39—64 МК, за рулем которой сидел гражданин Межиров А. П., оборвала жизнь Юрия Гребенщикова. Нашего Прокопа. Нашего Владимира Ивановича. Юра шел по улице Красноармейской, а Межиров ехал по ней... Так совпало...

Теперь можно поправить диалог из «Взрослой дочери»:

— Это жизнь, Бэмс!

— Нет, это смерть.

И все. И кончилась наша история. Хотя она и длилась после этого некоторое время.

**ЛЮСЯ** (песенка из кинофильма «Серенада Солнечной долины»):

Мне сентябрь кажется маем,  
И в снегу я вижу цветы.  
Отчего так в мае  
Сердце замирает —  
Знаю я и знаешь ты.

Солнце я вижу в день дождливый,  
Радужно сияют мечты.  
Почему прекрасен  
Этот мир счастливый —  
Знаю я и знаешь ты.

## Заглянем в книжечку!

«Но вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек — раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за ними, точно кусок грязи в чистой воде, падает дикий визг, свист, грохот, вой, рев, треск; врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание, раздаются хрюканье медной свиньи, любовное кваканье огромной лягушки; весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимому, и, послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что



это играет оркестр безумных, они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фаллосом... Это — музыка для толстых.

Это эволюция красоты от менуэта и живой страстности вальса к цинизму фокстрота с судорогами чарльстона, от Моцарта и Бетховена к джаз-банде негров, которые, наверное, тайно смеются, видя, как белые их владыки эволюционируют к дикарям, от которых негры Америки ушли и уходят все дальше...

Наконец музыка для толстых разрешается оглушительным грохотом, как будто с небес на землю бросили ящик посуды. Снова светлая тишина, и мысли возвращаются домой, откуда селькор Василий Кучерявенко пишет мне:

«Раньше в нашем хуторе Россошинском на триста дворов была одна только школа, а теперь имеются три... Вечером клуб полон, начиная от седобородых стариков и кончая краснопегими пионерами. Крестьяне с охотой покупают заем, даже маленькие ученики и те. У нас недавно умерла семидесятилетняя старуха, которая еще при жизни говорила: «Записалась бы в комсомолки, да только беда, что стара. И почему это все так поздно стало». А перед смертью говорила, что хоронить ее по-советски, со знаменем...»

Очень хорошо работать и жить в наше время».

Максим Горький «О музыке толстых», 1928 г.

#### БЭМС:

— Рассказывали, что когда судили первых валютчиков, я еще в институте учился, в общем, такая история ходила: присудили их к расстрелу, приговор объявили и предоставили им последнее слово, что они хотят сказать перед смертью. Один из них встал и говорит: «Тут прокурор в своей речи произнес слово «джипсы». Так вот, я хочу сказать, чтобы вы знали, — не «джипсы», а «джинсы». Это такие штаны из плотного синего материала, из которого когда-то паруса шили. Самая знаменитая фирма — «Леви Страусс», основанная еще в 1850 году...» Короче, прочел небольшую лекцию о джинсах и их истории. «У вас все?» — спросил судья. «Все», — сказал тот валютчик и сел. И его расстреляли.

### К истории вопроса

В моем архиве хранится вырезанная из «Недели» статья преподавателя Военно-дирижерского факультета Московской консерватории В. Иванова «Звук, найденный Саксом». Время публикации установить трудно, фраза, найденная на обороте газеты «Сейчас главное дело — четкая организация», — ничего не дает, правда, далее упоминается город Тольятти, значит, что-то ближе к нашему времени, тучи над джазом уже рассеялись. Впрочем, это легко определяется по элегической интонации самой статьи. Вот она.

«Брюссель. Зима 1842 года. В мастерской придворного музыкального мастера Шарля Сакса уже который месяц подолгу не гаснет свет. Над рабочим столом склонился молодой человек. Это сын Шарля — Антуан. Сейчас Антуан увлечен заманчивой идеей: создать духовой инструмент с совершенно новыми звуковыми свойствами. Рассказывают, что как-то в минуты небольшого отдыха Сакс приставил мунштук от бас-кларнета к офиклейду, медному духовому инструменту басового регистра, и попробовал играть. Едва он извлек первые звуки, как в его сознании пронеслось радостное — «Эврика!», а творческая мысль заработала быстро и в нужном направлении. И вот уже родился желанный инструмент. Как же его назвать? Видимо, просто — саксофон, то есть «звук, найденный Саксом».

Это время совпало еще с одним событием, ставшим для молодого изобретателя знаменательным. В один из весенних дней в мастерскую Сакса вошел молодой, стройный, с пышной шевелюрой и горящим взором человек.

— Месье Берлиоз из Парижа, — сняв шляпу, представился он. — Я бы очень хотел познакомиться лично с вами, месье Сакс, и с вашими новыми изобретениями.

В этот день они много беседовали, а когда Сакс сыграл на саксофоне композитору, тот был буквально ошеломлен звучанием инструмента. «Характер звучания саксофона совершенно необычен и не похож ни на один из тембров, которые можно услышать в современном оркестре. Композиторы будут многим обязаны Саксу, когда его новый инструмент получит распространение», — напишет вскоре Берлиоз.

По совету композитора изобретатель переезжает в Париж. Там Сакс продолжил работу над саксофоном, доведя его до должного совершенства.

Париж. 3 февраля 1844 года. Столичный концертный зал Герца. Публика затаив дыхание вслушивается в величаво-торжественную музыку, обозначенную в афишах как «Свя-

щенный хорал». Мягкая тема хорала поочередно звучит то у одного солиста, то у другого. И вот в один из моментов ансамбль прерывает игру, предоставив соло Саксу. На слушателей хлынул, по словам Берлиоза, поток «торжественных и меланхолических, а иногда расплывчатых, подобных звучанию эха, звуков. Как только растворились в зале последние пассажи инструмента, публика устроила бурю оваций». Потрясенный услышанным, Мейербер даже воскликнул: «Вот для меня совершенство звука!»

Шло время. Сакс не сидел сложа руки: он сконструировал целое семейство саксофонов и дал им названия, соответствующие певческим голосам, — сопранино, сопрано, альт, тенор, баритон и бас.

Со дня своего рождения саксофон не претерпел особых изменений в конструкции и звучании. Лишь медный тяжелый корпус уступил место специальным легким металлическим сплавам, придав внешнему виду инструмента большую нарядность и элегантность».

Знал ли бедный Сакс, долгими зимними брюссельскими вечерами трудясь в своей мастерской, какое смертоносное оружие готовит он против самой передовой в мире идеологии?..

#### ПРОКОП:

— Сколько же на этот бедный сакс собак вешали!.. «Почему он такой странной формы? — спрашивал про саксофон конферансье оркестра под управлением Ренского и сам же отвечал: — Согнулся под бременем капитализма!» А в «Крокодиле», я помню, рисунок был Бориса Ефимова — такие толстые, носатые карлики насакивали на портреты композиторов, нарисованных на стенах Московской консерватории, и подпись: «В музыке они замахивались критическими саксофодубинками на великих композиторов-мелодистов». А у нас парень был в Челябине, откуда-то саксофон раздобыл и дома тренировался целыми днями, говорил: «Сакс раздуть надо, тогда он становится твоим». Вот он и раздувал. Пока соседи милицию не вызвали. И на что он, этот парень, обиделся — что привлекли его за хулиганство, ну, не как музыканта, а как мелкого хулигана, мол, нарушает тишину не известным никому способом, мол, согнул специально трубу и нарушает... Не признавали, что это инструмент. Он прямо готов был в тюрьму пойти, но только как саксофонист! А те — ну, никак! Все обошлось. В результате, правда, играть он после этого стал хуже...

#### БЭМС:

— Всю свою жизнь я прожил в обнимку с этим инструментом. Всю жизнь я разговаривал с ним. С ним хорошо разговаривается... «Как дела?» — спрашивал он у меня. «Как сажа бела, — отвечал я. — А у тебя?» — «Как у утопленника!» — И мы смеялись. «Смеющийся саксофон», помните, такой номер коронный?.. И вот что удивительно: он всегда был моим ровесником — сначала веселым молодым человеком, потом таким ироничным плейбоем, потом меланхолическим мужчиной, потом гудящим простуженным господином... Как говорил мне один лабук: «Меня в гроб положить в джинсах и белых тапочках, и чтобы саксофон рядом». «Как дела, старина?» — «Да так как-то...» — «Плюнь, чего там...»

Я тоже читал ту статью в «Неделе» об этом Антуане. Там есть слова... Чего их автор не привел?.. «Сравнивая соотношения тембров и силу звучания оркестровых групп, он думал о посреднике, который не смог бы заглушить слабых, но и был бы наравне с сильными...» Сакс это умеет — и то, и другое! Что касается меня, у меня хорошо получается только первая половина...

А в коктейль-холле на улице Горького саксофонистка играла. Женщина! И у нее еще у саксофона красный пластмассовый мунштук был. Представляете, что с нами было, когда она начинала свое соло...

#### ЛЮСЯ:

Так плачь же, сакс,  
Рыдай, труба,  
И пойте, губы.  
Жизнь тогда хороша,  
Когда нас любят...

(Окончание следует.)



Александр  
ПЛАТКОВСКИЙ

# Я ПОМНЮ ТЯНЬАНЬМЭНЬ...



Два года назад, в июне 1989 года, Китай пережил сильнейшее потрясение. Мощное движение за демократизацию было подавлено с помощью армии. Пролилась кровь, были убитые и раненые. Тяньаньмэнь — центральная площадь страны, ставшая ареной противоборства, — вошла в политический лексикон как символ трагической попытки вырвать общество из власти тоталитарного прошлого. Тяньаньмэнь...

Я приехал в Пекин 14 апреля 1989 года. На следующий день по городу прошел слух: умер Ху Яобан — бывший Генеральный секретарь ЦК КПК. Потом появилось официальное подтверждение печальной для миллионов китайцев вести. В некрологе, опубликованном в газете «Жэньминь жибао» (Ху Яобан оставался до последних дней членом Политбюро ЦК КПК), указывалось, что смерть наступила в результате обширного инфаркта. Первый сердечный приступ произошел 8 апреля, когда Ху Яобан присутствовал на заседании Политбюро...

Почему в газете появилось уточнение, имеющее прозрачный политический подтекст, — «на заседании Политбюро»? Это один из тысяч вопросов, которые множились по мере развития событий, но ответа на которые до сих пор никто не смог дать. Только предположения.

В Пекине весна. Цветут персиковые деревья, лепестки — нежно-розовые — лежат на мостовых. 16 апреля у памятника Народным героям в центре площади Тяньаньмэнь стали собираться первые группы студентов. Юноши и девушки шли по улицам организованно, соблюдая строжайшую дисциплину. Они двигались с северо-востока столицы. Там — университетские районы. В руках транспаранты: «Скорбим по тебе, Яобан», «Яобан — борец за демократию». Его любили в народе, любили за скромность, неподкупность, простоту, за то, что симпатизировал студентам и поддерживал их порывы к демократии. Именно за это, так считали в народе, его сместили с поста Генерального. Именно поэтому, люди были уверены, его сердце не выдержало «на заседании Политбюро».

Вокруг памятника Народным героям с каждым часом растет гора цветов. Студенческие делегации возлагают венки. Ху Яобан ушел из жизни в ореоле великомученика, жертвы. И благородная идея защиты его духовного, политического наследия спланивала всех тех, кто ступал на площадь, чтобы воздать дань уважения и проститься с Ху Яобаном. С этого момента Тяньаньмэнь стала эпицентром небывалой политической активности студентов.

Почти неделю продолжалась траурная вахта студентов на площади. И днем, и ночью, и в полуденный зной, и под проливным дождем. А в это время в университетских городках закипали страсти. В общагах, в аудиториях, на спортплощадках спорили до хрипоты, пылали гневом, обличали, указывали путь и требовали действий. Все сходились на том, что как воздух обществу нужна демократия, а для этого

нужны политические реформы, на которые власти не решаются потому, что им так легче управлять народом.

На площади никто не митингует, но люди собираются в кучки и слушают студентов, которые говорят вполголоса и все время оглядываются по сторонам. Ежедневно здесь, на Тяньаньмэнь, собирается по 45—60 тысяч пекинцев. Приходят семьями, с детьми. Предприимчивые лавочники развернули переносные кухни, бойко торгуют напитками. В толпе ни одного подвыпившего. Полиция держится на расстоянии, прохаживаются вокруг площади дежурные наряды. Но в людской массе несложно заметить филеров — их много. Однажды что-то произошло — возможно, это была хулиганская выходка или же провокация. Вдруг люди бросились бежать — тысячи людей, объятые паническим страхом. Слава Богу, все обошлось — на площади воцаряется спокойствие. Однако напряженность возрастает. 19 апреля произошел первый инцидент. У ворот резиденции китайского руководства, которая расположена недалеко от площади, собралась толпа. Как писали газеты, «небольшая группа людей пыталась проникнуть на территорию резиденции, но была остановлена охраной». В результате столкновения осколком бутылки был ранен один из охранников. Его окровавленное лицо показали по телевидению и предупредили, что нарушителей порядка ждет возмездие.

22 апреля Китай провожал в последний путь Ху Яобана. На площади Тяньаньмэнь были приспущены национальные флаги. Церемония прощания проходила в Доме народных собраний. В это время более 100 тысяч студентов и жителей города стояли у входа в это величественное здание на площади Тяньаньмэнь. Они молчали, на лицах были слезы, скорбь. В Пекине день похорон прошел спокойно. Но в некоторых провинциальных городах, как было сообщено, «хулиганствующие элементы» нападали на магазины, занимались грабежами, совершали поджоги. Газета «Жэньминь жибао» заметила: «Если кто-то считает терпимость правительства признаком его слабости, тот глубоко заблуждается». Полиция провела кампанию арестов «погромщиков».

После похорон правительство решило, что пора «выяснить отношения» со студентами. Как показали последующие события, особая роль была отведена передовой статье в «Жэньминь жибао» от 26 апреля, в которой студенческие траурные манифестации были названы «беспорядками». Это была позиция верха, который решил действовать. В тот же день член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского горкома Ли Симин призвал к решительным мерам в отношении тех, кто «расклеивал дацзыбао, вел агитацию, организовывал боевые дружины, создавал незаконные студенческие организации».

Последовала бурная ответная реакция — студенты вышли на улицы. По оценкам, их было от 100 до 150 тысяч. Манифестация продолжалась 12 часов. Демонстранты пытались пройти на площадь Тяньаньмэнь, но были остановлены усиленными подразделениями министерства общественной безопасности. К счастью, все закончилось миром. Студенты разошлись, потребовав, чтобы правительство вступило с ними в переговоры. Обращение «толпы» было услышано. Правда, центральные газеты продолжали настаивать на «решительных мерах» по отношению к тем, кто провоцирует беспорядки, инспирирует антипартийные и антисоциалистические призывы.

В последних числах мая 45 студентов — представителей 16 пекинских вузов — в течение нескольких часов беседовали с представителем Госсовета КНР Юань Му и заместителем председателя Госкомитета по делам просвещения Хэ Дуанчаном. По поручению премьера Госсовета КНР Ли Пэна студентов заверили в том, что огонь критики передовой «Жэньминь жибао» был направлен лишь против «незначительного числа людей», которые нарушали законы и порядок, а не против студенческих масс. Правительством было признано, что патриотизм большинства демонстрантов, их недовольство коррупцией и бюрократизмом кадровых работников соответствуют настроениям руководства КНР. Однако диалога со студентами все же не получилось. Прежде всего потому, что власти не признали ассоциацию студенческого самоуправления, созданную во время манифестаций, в качестве законного партнера по переговорам. Это было очень важно для студентов, которые не доверяли официальным «проправительственным» структурам студенческого управления. А наверху не могли пойти на диалог с «самозванцами». Однако следует все же отдать должное прошедшей беседе — шаг навстречу был сделан, и это отразилось на атмосфере в университетских городках. Некоторые студенты из числа



активистов апрельского движения стали призывать к «перемирию» с властями. Позиция правительства выглядела в их глазах гибкой и разумной. Было обещано, например, что студенты, изучающие экономику и право, будут привлечены к участию в расследовании случаев должностной коррупции, ревизии бухгалтерских книг тех компаний, в которых работают крупные правительственные чиновники.

Начиная с 4 мая студенческие выступления пошли на спад. Большинство вернулось в аудитории, прекратили бойкот занятий. Это было воспринято наверху как обнадеживающий признак того, что молодежь скоро уgomонится, а с наступлением экзаменационной сессии с головой погрузится в учебники и конспекты. Между тем в университетских городках продолжались дискуссии. Главный вопрос в повестке: продолжать демонстрации или нет. Многие высказывали опасение, что студенты, не искушенные в политике, окажутся пешкой в руках тех сил, которые постараются использовать их в своих интересах. Другие усматривали угрозу в том, что в случае продолжения демонстраций противники реформ получат козырь в руки и развернут наступление по всему фронту. Третьи настаивали на том, чтобы идти до конца... Сегодня вопрос стоит так, говорили они: либо Китай станет цивилизованной, демократической страной, либо будет обречен на политическую деградацию. «Если кто-то боится за свою шкуру и тешит себя надеждой получить тепленькое место, тот может уходить. Но народ не простит предателей», — звали голоса студенческих трибунов. «Народ нас все равно не поддержит», — отвечали скептики. — У людей на уме одно: деньги, деньги, деньги...

В эти дни дети великой страны постигали азбуку политической борьбы. Они стояли перед выбором, но мало кто из них сознавал, какую цену придется заплатить за право воспользоваться им. В те дни еще оставалась возможность предотвратить гибельную конфронтацию. Китайцы воспитаны быть терпеливыми к трудностям и лишениям. Но что дали десять лет реформ? Что дали они рабочему, крестьянину и интеллигенту?

В магазинах стало много товаров, с продуктами нет проблем, если, конечно, есть деньги. Им сказали: «Обогащайтесь!» Но у кого это получилось? У чиновников и спекулянтов. А народ так и остался при своем — при лозунгах. И нет больше терпения мириться с тем, что день ото дня исчезает главное преимущество социализма, то, которое, как говорят руководители, отличает его от капитализма. И дело здесь вовсе не в том, что рынок, а в том, чтобы все было по-честному, справедливо. Пусть преуспевают, кто не ленится, пусть прозябают, кому нравится «железная планка риса». Но пусть все будет по-честному.

Так говорили между собой простые китайцы. Говорили полупрошепотом, с оглядкой. Студенты решили, что настала пора говорить об этом открыто, громко, чтобы услышали на самом верху.

13 мая Генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян встретился с рабочими Пекина. Он сообщил им о том, что «Центральный Комитет готовится к основательному решению проблем, волнующих народные массы». Разрабатываются различные меры и шаги, рассказывал он, которые должны ускорить процесс демократизации. Будут укреплены правозащитные институты, будет создано бескорыстно работающее правительство и аппарат. «Разумеется, наша деятельность может строиться, только исходя из реальных условий, и за одну ночь невозможно добиться всеобщей гармонии», — призывал к терпению Чжао Цзыян. Но терпение уже кончилось.

После полудня на площадь Тяньаньмэнь опять собрались студенты — несколько десятков человек. Они уселись на плиты напротив памятника Народным героям и объявили голодовку. Эта акция всколыхнула весь город. Атмосфера еще более накалилась, достигнув опасного предела.

На третий день голодовки некоторые стали терять сознание. Площадь напоминала раскаленную сковородку. Солнце палило нещадно. Из-за огромного скопления людей перехватывало дыхание. Под завывание сирен «Скорой помощи» с площади вывозили тех, кто потерял сознание. Более 2 тысяч рейсов за сутки. Круглосуточно дежурили у голодающих студенты из Пекинского медицинского института, из других медицинских училищ.

К голодающим приехали профессора, преподаватели. Умоляли их вернуться домой, возобновить учебу. Но напрасно: они покидали площадь со слезами на глазах, с потерянными видом. Больно было видеть стариков родителей, которые молча, прижавшись друг к другу, стояли у веревочных загра-

ждений. Они смотрели туда, где в лучах прожекторов лежали их дети. Время от времени подходили санитары, клали кого-нибудь на носилки и оттаскивали к машинам с красным крестом.

17 мая улицы города заполнились демонстрантами. Их было более миллиона. Они шли под лозунгами солидарности со студентами. Рабочие пекинских заводов, служащие госучреждений, учителя, врачи, артисты, музыканты, журналисты, обслуга гостиниц, официанты, продавцы магазинов. На пекинском вокзале, там, где часы на башне играют «Алеет Восток...», тысячи людей криками и аплодисментами встречали все новые и новые студенческие делегации, прибывающие для поддержки столичных ребят. По 40, а то и по 70 тысяч в день доставляли их бесплатно в Пекин железнодорожники со всех уголков страны. Кампания протеста принимала общенациональные масштабы.

На фасадах домов — транспаранты: «Не допустим гибели наших детей!». Студенты на площади развернули белое полотнище: «Демократия или смерть!». По улицам разъезжали грузовики, набитые до отказа молодыми людьми в белых и красных повязках на голове. Они выбрасывали над головой руки с двумя расставленными пальцами и выкрикивали хором: «Разобьем продажных чиновников!». На автобусах и троллейбусах были нарисованы иероглифы, требующие отставки высшего руководства страны — Дэн Сяопина и Ли Пэна.

В тот день газеты опубликовали письменное обращение Генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна к студентам. От имени Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК он признал ценность их патриотического движения против коррупции, за демократизацию общества. Студенты тем временем продолжали голодовку и требовали, чтобы к ним на площадь пришли лидеры партии и государства. Сейчас сложно понять, почему не был сделан этот шаг. Его ждали, верили, что будет найдено мудрое решение, которое спасет студентов и страну. Но время шло, а нужные слова не были произнесены. На призыв снизу спасти политику реформ сверху отвечали молчанием. На одном из листовок, наклеенных на фонарном столбе, я прочитал такое изречение: «Когда говорят и не слушают людей — теряют слова. Когда нужно говорить, но молчат — теряют людей».

— Я пришел слишком поздно, слишком поздно... — обратился Чжао Цзыян к голодающим на площади студентам. Он встретился с ними на рассвете 19 мая. Фраза, произнесенная им, была наполнена, как показали последующие события, трагическим смыслом. Чжао Цзыян со слезами на глазах — это было видно даже в кадрах телерепортажа — просил студентов прекратить голодовку. «Вы должны жить, быть свидетелями модернизации Китая», — убеждал он, но безуспешно.

Вместе с Генеральным секретарем на Тяньаньмэнь пришел премьер Госсовета Ли Пэн. Студенты не захотели его слушать, и он через несколько минут покинул площадь. Накануне состоялась встреча Ли Пэна с лидерами студенческого движения, на которой он отчитал их, как непослушных мальчишек. Студенты не простили...

Наступила ночь. В Пекине было срочно созвано совещание партийных, правительственных и армейских кадров. Перед собравшимися выступил Ли Пэн. Его речь прерывалась единодушными аплодисментами. Оратор обличал «незначительное число людей», которые «пытаются использовать беспорядки в своих политических целях — для свержения правительства и ликвидации руководящей роли партии». «В этой ситуации мы вынуждены принять решительные меры», — заявил премьер под рукоплескания в зале.

20 мая в 10 часов утра на основании приказа, подписанного премьером Госсовета, в центральных районах Пекина было введено военное положение. В изданном одновременно указе народного правительства города говорилось, что органы общественной безопасности, вооруженная полиция и армейские части наделяются правом использовать все необходимые меры для пресечения беспорядков.

20 мая, 1 час 30 минут. В Пекине ночь. Воздух наэлектризован, будто перед грозой. Душно. По центральной улице Чанань группами спешат люди. Они возбуждены, жестикулируют. На перекрестке гудит толпа. Доносятся отдельные слова: «армия», «танки», «студенты». Пожилой китаец в кепке, с авоськой в руке неожиданно обращается ко мне: «Теперь лучше подумать о собственной шее, фонарных столбов в Пекине много». Усмехнувшись, он поворачивается и удаляется в темноту.

2 часа 15 минут. В переулке рядом с Тяньаньмэнь меня



останавливают двое — юноша и девушка. «Что там, на площади? Войска?» — спрашивают меня. Отвечаю: «На площади только студенты, солдат не видел». Я иностранец, поэтому ребята откровенны, рассказывают, что утром их увезли с Тяньаньмэнь на «Скорой помощи». Они были в числе голодовщиков, потеряли сознание. Это очень тяжело — голодать пять дней. Сейчас они сбежали из госпиталя и возвращаются к своим, на площадь, продолжать голодовку. Говорит в основном парень. Глаза у него воспаленно горят, лицо землистого цвета. Девушка молчит, смотрит под ноги и, кажется, не реагирует на окружающее.

— Что же делать? — юноша задает самому себе вопрос. — Неужели они готовы на это? Нет, они не смогут стрелять в нас. Это для них самоубийство. Надо быстрее на площадь, к ребятам. Главное, чтобы они не испугались.

Поддерживая друг друга, юноша и девушка бредут по узкой улочке. Впереди — Тяньаньмэнь.

3 часа 20 минут. На большой скорости в западном направлении прогрохотали грузовики. В кузовах — студенты. За ними проревела колонна мотоциклистов — пекинских рокеров. Они размахивали красными флагами и кричали: «Мы победим!» В толпе говорили, что несколько дивизий уже на подступах к городу, а студенты едут навстречу, чтобы уговорить военных не входить в Пекин.

Утром стало известно, что колонны военных грузовиков были остановлены на марше. Студенты объясняли солдатам, что в столице нет беспорядков, все спокойно, никто не собирается устраивать контрреволюционный переворот. Молоденькие солдаты с раскрытыми ртами слушали о том, что происходит на Тяньаньмэнь, почему и для чего голодают там студенты. Для них все это было в диковинку: ни газет не читали, ни радио не слушали уже несколько недель, признавались они. «Армия никогда не пойдет против народа», — говорили командиры студентам, говорили это вполне искренне. Шоферы сливали воду из радиаторов: «Нам делать в городе нечего».

С 20 мая в центральных районах Пекина было введено военное положение, но армия в город не вошла. Она оставалась на его окраинах. Пекинцы ощутили себя в осажденном положении. На фасадах домов появились размашистые лозунги «Не допустим военного правления!», «Все на защиту города!». Студенты на перекрестках раздавали листовки, в которых призывали жителей к спокойствию, соблюдению порядка и дисциплины, не поддаваться на провокации. «От этого зависит наша судьба, судьба демократии», — говорилось в листовках.

В дневное время город жил своей обычной жизнью. Работали предприятия, учреждения, магазины, детские сады, школы. В парках гуляли влюбленные и детишки с бабушками. Газеты писали, что в эти дни резко сократилось число дорожно-транспортных происшествий и даже карманных краж и прочих уголовных преступлений. Пекинцы стали как никогда внимательными и вежливыми друг к другу. Но тревога не покидала их. Ходили упорные слухи о том, что войска уже получили приказ занять город и очистить площадь от студентов, которые по-прежнему находились там. По вечерам горожане выходили на улицы и дружно, словно на субботнике, возводили баррикады на перекрестках, блокировали развязки магистралей автобусами и троллейбусами, самосвалами, груженными гравием. На фонарных столбах появились рукописные призывы к жителям города готовить убежища для студентов на случай охоты за ними: «Мы должны спасти цвет нашей нации».

Я уехал из Пекина 25 мая. Противостояние продолжалось. Войска по-прежнему стояли на окраинах города, частично были отведены даже в дальние пригороды. Мне казалось, что обстановка постепенно нормализуется. Все кончится миром. Я ошибался.

То, что произошло потом, после моего отъезда, было настолько страшно, что рассказы очевидцев звучали неправдоподобно.

В ночь на 4 июня войска приступили к «умиротворению контрреволюционного мятежа». Из корпункта «Комсомольской правды» в Пхеньяне я связался с коллегами в Пекине. Короткие телефонные интервью с ними я передал по горячим следам в газету. Они не были опубликованы — в последний момент «по звонку», как мне потом объяснили, их сняли из номера. Поэтому с опозданием на два года даю эту информацию «из первых рук».

Джаспер Бейкер, корреспондент газеты «Гардиан» (Англия):

— Я все время нахожусь в корпункте и наблюдаю за тем,

что происходит за окном на центральной улице Чанань. Сейчас она совершенно пустыня — ни машин, ни людей. Город в шоке после того, что произошло за последние сутки. Я не спал до самого утра. Из различных районов доносились звуки стрельбы, рев танковых двигателей. По приблизительным подсчетам, сейчас в Пекине около трех сотен танков и бронетранспортеров. Техника продолжает подходить. Войска вошли в ночь с субботы на воскресенье. Танки и бронемашин на большой скорости неслись по улицам. Они крушили баррикады на своем пути, вели стрельбу из пулеметов, давили прохожих. За танками следовали грузовики с вооруженными солдатами. Они окружили Тяньаньмэнь. Пекинцы — их было очень много — встали на защиту студентов. Я не знаю, как проходила операция на площади. Но я слышал, там стреляли. Только что по радио сообщили, что «армия одержала крупную победу над контрреволюционными мятежниками».

Зорана Бакович, корреспондент газеты «Дело» (Югославия):

— Никто не может до сих пор поверить в то, что творится сейчас в городе. Разум противится этому. По последним сведениям — неофициальным, — убито около трех тысяч, ранено — около пяти. В Красном Кресте сообщили, что в госпиталях скончалось около 2,5 тысячи. Никто не в состоянии подсчитать, сколько всего убито за это время, сколько раздавлено. Сейчас в городе повсюду солдаты. Горожане тем не менее и сейчас предпринимают попытки прорваться к площади, чтобы помочь студентам. В них стреляют. Откуда такая жестокость?!

Что произошло в субботу? Я уверена, что не было абсолютно никаких причин для проведения военной операции. Грузовики с солдатами ехали на большой скорости по улицам. Люди — тысячи людей — высыпали на проезжую часть, чтобы остановить продвижение колонн. Военные врезались в толпы. Это была явная провокация. Горожанам удалось остановить несколько грузовиков и обезоружить солдат. В районе улицы Сидань люди блокировали грузовик и в течение десяти часов не пускали его на площадь. Спокойно, очень мирно солдатам объясняли, что студенты не преступники, что нельзя допустить кровопролития. «Вы же не убийцы и не фашисты», — обращались к солдатам горожане. Молодые ребята в армейской форме плакали. Потом по телевидению этот эпизод представили «агрессивной акцией мятежников». Я была сама свидетельницей, как военный грузовик наехал на тележку, на которой сидела женщина с ребенком. Муж находился в безумном состоянии, пырвался убить водителя. Но студенты держали его за руки и всячески успокаивали разгневанную толпу.

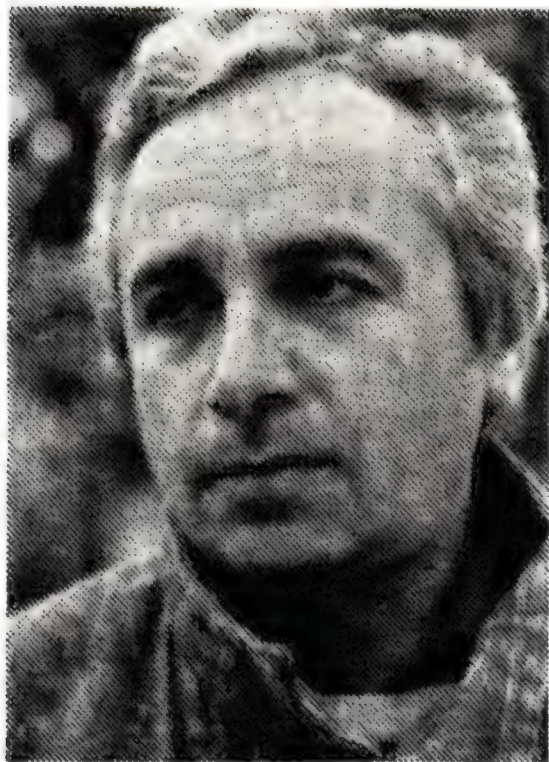
«В целях быстрейшего усмирения мятежа и в ответ на нападения солдаты были вынуждены открыть огонь и в результате уничтожили несколько наиболее отъявленных бунтовщиков. Но поскольку эти элементы смешались с толпой, которая была введена в заблуждение, то некоторые жители были ранены», — прочел я официальную трактовку событий в одной из пекинских газет. Как сообщили официальные источники, в ходе операции было убито около 300 человек, в числе которых — военнослужащие, а также преступные элементы и гражданские лица и 36 студентов. Число раненых солдат — 6000, гражданских лиц — 3000. Во время «операции по очистке Тяньаньмэнь от студентов, которая проводилась с использованием танков и бронемашин при поддержке пехоты, жертв не было».

Так подвела итоги той кровавой ночи официальная пропаганда.

Правду знает только Тяньаньмэнь?

*Р. С. Я подготовил этот материал в марте 1991 года — к двухлетней годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. Старательно придерживался правила — излагать только факты. Без комментариев. Поскольку в марте — я не знаю, что произойдет потом — мы оказались у самой черты, за которой может быть только Тяньаньмэнь. Неужели нам не избежать этого?*





Аркадий  
КАИДАНОВ

☆☆☆

Очень редко бываю прав,  
ну, а если порой бываю —  
никогда не качаю прав,  
молча в сторону отступаю.

Это роскошь — права качать.  
Время, ссуженное мне скупю,  
расположено истекать,  
и права качать — просто глупо.

### Старый адрес

Ступать ноге туда не то чтобы  
запрещено, а просто нет резона, —  
как жарить ядовитые грибы,  
как выходить на улицу с балкона,  
как при фужерах из ладоней пить,  
как спичкою дразнить лежалый порох,  
как при цейтноте время проводить  
в постыдных и ненужных разговорах.

☆☆☆

И вздох тяжел, и невозможен выдох,  
и быть нельзя, и тошно делать вид,  
и дверь, которая сулила выход,  
заколотил поддатый инвалид.  
За днем издохшим следующий входит,  
и алый стяг полощет надо мной,  
и слов для восхищенья не находит  
могуществом системы пропускной.  
На входе — шмон насуленной таможни,  
внутри — портреты мудрого вождя.  
И может сапоги тачать пирожник,  
но печь пирожных бедному нельзя.

☆☆☆

О чем есть дозволенье размышлять  
проснувшись в шесть, в чужой постели?  
О том ли, что с надеждой пролетели,  
или о том, на кой мне эта?.. Глядь,  
уже не шесть, а без чего-то нечто  
существенное. Впрочем, как кому.  
Оттяг с времен гороховых извечно  
дает отключку телу и уму.  
Пошарить выключатель. Не найти.  
Но вычислить расположение ванной.  
Гори, гори, моя звезда! Свети  
над всею этой лажей разливанной!  
Горячей нет. Воиючий «Поморин».  
Могучий пафос «Пионерской зорьки».  
Велели: говорите! Говорим.  
Тоска, тоска... И только привкус горький.  
Подайте демократии обноска  
на нашу бедность с вражьего плеча!  
Кузнецк-привет, товарищ Маяковский! —  
пошла вода, грязна, но горяча!  
Ошпариться, вспомнив о горячем:  
Ош, Фергана, Узень, Степанакерт...  
Мы наш, мы новый мир переиначим  
согласно пункту пятому анкет!..

### Полуночный джаз

Не время покуда, еще не пора,  
еще трубаачи выдыхают согласно,  
еще не закончилось позавчера,  
и все в нем прекрасно, прекрасно, прекрасно...  
Под взглядом луны цепенеет вода.  
Джазмены исходят сладчайшим минором.  
Слепых облаков кочевые стада  
явить не торопятся скрытый свой поров.  
Прозрений, свершений, лишений — всего  
того, что случится, тревожить не надо,  
не надо помимо синкоп ничего!  
Не вывались, саксофонист, из квадрата!  
А ты оставайся виденьем ночным,  
кокетничай с лабухом напропалую,  
пока он губительным соло сквозным,  
как острою шпагой, изящно фехтует.  
Забудь мое имя и вспомни его,  
очнувшись в предутренней зябкой прохладе,  
весь груз полуночных невнятных тревог  
снимая легко, как вечернее платье.

г. Нальчик



Александр  
РЕВИЧ

☆☆☆

Нас и во сне, и наяву  
переполняет мир бездонный,  
где листья падают в траву,  
где звезды падают в затоны,  
где неизвестно что — когда,  
но в миг единственный из тысяч  
срывается с небес звезда,  
чтоб летней ночью искру высечь.

### Памяти Николая Глазкова

Что же ты не являешься, леший,  
даже писем с дороги не шлешь?  
То ли бродишь по северу пеший,  
то ли водку с Матвеевым пьешь?  
Что же ты не являешься, леший,  
как обычно, внезапным звонком,  
всякий раз без вина захмелевший,  
всех соседей обдав сквозняком?  
С бородою, намокшей от снега,  
ибо город снега замели,  
ты являлся нежданно, как с неба,  
или, может быть, из-под земли.  
Ты хитрющим подмигивал глазом,  
ты дарил нам четыре строки  
и, готовый к различным проказам,  
вечно с чертом играл в дураки.  
Дело, друг мой, не в полном стакане,  
все веселье мгновенное — прах,  
но коль держится мир дураками,  
так ведь умных полно в дураках.  
Что ж ты, леший, давно не приходишь?  
Заглянул бы на час или два.  
Может, снова по северу бродишь?  
Без тебя и Москва — не Москва.



# ВЕЧЕР короткого РАССКАЗА



*Почти полгода продолжалась в «Зеленом портфеле» публикация пусть и сокращенного, но все равно объемистого наследия сатириконцев. А тем временем многие современные авторы терпеливо ждали, когда же наступит их черед сказать свое слово в литературе. И мы, глубоко осознавая вину перед нашими современниками, хотим наверстать упущенное — дать возможность выговориться максимально большому количеству страждущих. Таким образом мы надеемся выполнить план по валу. Поскольку же «Зеленый портфель» не резиновый, наши объемы ограничены, то мы попросили авторов говорить коротко и ясно.*

**Сергей ВЛАСОВ**

## ПЕСНЯ О СЪЕЗДЕ

### Часть I

Над седой Кремля равниной ветер тучи разгоняет. Между тем к подъезду дома весь в почете и охране «ЗИЛ» подъехал очень мило, черной молнии подобный.

«Чайки» стонут — зависть гложет. Мечутся между собою и в подвал Кремля готовы спрятать ужас свой пред съездом.

Ну и «Волги» тоже стонут. Им, сермяжным, недоступно наслаждение новой жизни, гром ударов их пугает.

Вот он, глупый, робко прячет тело жирное меж кресел. Только Михаил Сергеич, твердой поступью ступая, появляется на съезде. Все мрачней и ниже брови опускаются у многих.

Как они хотят все к власти, к высоте, пайкам и дачам. Как гужуются, заразы, компроматом обложившись, Генеральному готовя яд в тарелке «общепита». Как их много, даже страшно, что же будет, что же будет? Ах ты, Михаил Сергеич! Как всегда, он ловит взгляды и в своей пучине гасит, даже ни в одном местечке не спалив костюм английский. Гордо оглядев орущих, зная, что умней и чутче всех их, недругов злобливых, лизоблюдов перестройки, говорит он побежденно:

— Съезд считать зараз открытым!

### Часть II

Вот на трибуну один взобрался, и разместился себе удобно на ней, родимой, он, консерватор.

По залу топот, хлопки, мычание. Весь в белой пене, седой и сильный, он начал резать всю правду-матку.

Народ в смятенье, услышав гласно слова крутые. В них непризнание заслуг у главных, кто вел в атаку за обновление.

Чуть обернувшись к ним, усмехаясь, он намекает, что дело в шляпе, все прахом будет, чуть-чуть осталось.

За ним поддержка с периферии, вот и глаголет себе нахально:

— Поди подвинься на край тихонько, и дай мне место, и ход дай задний.

Смешно мне, право, вам объяснять все. Все в этой книге, — достал он Маркса, его погладил и убежденно закончил гнусно, почти что зверски. — Рожденный ползать — летать не может. Чего хотим мы от перестройки? Они летают там, за буграми. И хрен нам с ними, у нас другое. У нас проблемы, бумаги даже всем на дипломы уж не хватает. О грамотах же и речи нету, они нужнее, чем перестройка.

Чуть вздрогнул Первый, успев подумать, змею какую пригрел на сердце. А ноги мчали уже к трибуне, добавить

зрения тем, кто не видит. Расправил плечи, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и в краткой речи ответ дал ясный на все вопросы, снискал доверье у тех, кто «против».

Мы перестройке слагаем песню. И вновь ты избран. И будешь вечно прекрасным, чистым, живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Народ поднялся, аплодисменты... И, вспоминая, я плачу тоже...

**Юрий СНЕЖКОВ**

## СОПРОМАТ

Ваня поднял кирпич и ударил по нему рукой.

Кирпич развалился.

Ваня поднял другой кирпич и тоже ударил.

Кирпич не развалился.

«Крепкий, как я», — подумал Ваня.

**Виталий РУЧИНСКИЙ**

## ВЕЧЕР В РЕСТОРАНЕ

Я достал из кармана кисет с махоркой и клочок газеты. Артистически свернул две «козьи ножки», себе — потолще, Джульетте — потоньше. К столику подскочил официант с огнивом. Одним ударом заостренного камня о стальной напильник он высек искру и поджег трут из марли. Галантно дал прикурить девушке, потом мне.

Я великодушно отсыпал официанту махорочки: гулять так гулять! «Моршанская!» — в полном отпаде воскликнул он, выпустив струю дыма. Да уж не отруби с половой, знай наших!

«Что будем кушать?» — спросил официант, и лицо его сделалось озабоченным. Я гордо выложил на поднос пару плотвичек и три картофелины. Плотву я самолично поймал утром в Останкинском пруду, а картошку выменял на Рижском рынке за «Трех мушкетеров» — по одной за каждого.

Официант удалился на кухню, а к нам подошел худющий контрабасист из оркестра и поинтересовался, будем ли мы заказывать музыку. Я швырнул ему пару сотенных. Контрабасист в ужасе отшатнулся. «Обижаешь, командир, — вымолвил он, с трудом придя в себя. — За бумажки ты уличных лабухов найми».

Джульетта глядела на меня умоляющими глазами, ей страшно хотелось потанцевать. Пришлось расprostиться с куском жмыха, который я припас на десерт. Чего не сделаешь ради любимой! «Только без дураков, играть весь вечер!» — строго предупредил я, отдавая жмых.

Оркестр заиграл ламбаду. Вдоволь натанцевавшись, мы вернулись к столу. Нас уже ожидало горячее. Одна из плотвичек была без хвоста. Объясняться бесполезно. Скажут, сами такую принесли. Или свалят на приبلудную кошку. Но что такое, в сущности, рыбий хвост? Джульетта была очаровательна. По причине энергетического кризиса свет горел вполнакала, создавая интим. Вечерок обещал быть из приятных.

**Петр КАПКИН**

## ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ

Бастружничалкосновкимовичскончаев пошел погулять, а навстречу ему Синдохорминказирляминдоксиночковский.

— Привет, Бастружничалкосновкимовичскончаев, — говорит Синдохорминказирляминдоксиночковский.

— Привет, Синдохорминказирляминдоксиночковский, — отвечал Бастружничалкосновкимовичскончаев.

**Оскар ПТЕНЧИКОВ**

## СПИД

Остап Иваныч Печников купил презервативы.

Грустное это дело — боязнь заразиться чем-нибудь: тогда человек покупает то, что ему уже давно не нужно. А Остап Иваныч очень боялся подхватить СПИД.

Дома Печников высыпал покупку на пол и стал думать, как распорядиться этим добром. Перебрав весь свой жиз-



ненный опыт по борьбе с той либо иной напастью, он решил предохраняться комплексно и всесторонне.

Часть белых скатанных кружочков он раскидал по комнате, бросил за холодильник, под ванну, в туалет — так когда-то Остап Иванович боролся с тараканами. Опыт войны с мухами подсказал — нужно развесить кружочки под потолком и на абажуре.

Отныне каждая вилочка и каждая ложечка у него хранятся в отдельном эластичном футлярике. И соль, и сахар, и перчик, и лавровый листик тоже имеют свои отдельные легкорастяжимые хранилища. Шокирует Остап Иванович пассажиры в автобусе, доставая проездные талоны из полупрозрачного ангарчика. А как забавно подрагивает кошелек под тяжестью пяточков: так в далеком детстве на резиночке круглый шарик трепыхался... Видит Птенчиков вокруг вытаращенные глаза и лукаво усмехается: «Таращьтесь, таращьтесь. А мне никакой СПИД не страшен!»

А ведь и в самом деле не страшен Остапу Ивановичу никакой СПИД. Вот так-то!

## Владимир КЛИМОВИЧ

### СЕАНС

Ну ладно, Сидоров, кончай курить. Пора сеанс начинать. А то из графика выбьемся и опять без обеда останемся. А без обеда, Сидоров, любая работа не в радость. Да и народ за воротами, слышь, волнуется. Давай открывать.

Спокойно, граждане. Спокойно. Без вас не начнем. Не надо давку устраивать. Проходим, как говорится, не спеша, но поторапливаясь. Билетики в тот ящик бросаем. Вот так, молодцы.

Женщина! Я же сказал — давку не создавать. Отцепись ты от своего мужика. Никуда он теперь от тебя не денется. Отцепись, говорю, а то вон девчушку к косяку притиснули. Ох уж эти бабы! Всегда с ними морока.

А ты, девочка, не плачь. Это кто же тебе так хорошо косички заплет и такие красивые бантики завязал? Мама? А где она сама-то? На другой сеанс придет? Ну, ладненько. Билетик клади в ящичек и беги вон туда к ребятишкам.

Бабуля, бабуля, бидончик-то зачем с собой взяла? Нельзя к нам с бидончиком. Не положено. Ты знаешь, что получится, если к нам все с бидончиками приходять будут? Привыкла, говоришь. Ну, ладно, проходи с бидончиком. Что с тобой делать.

А молодежь чего стесняется? Небось физкультурники. Вон какие ладные. Комсомольцы. Рабфаковцы. Смелей, ребята. Молодым везде у нас дорога.

Ну все, что ли? Нет, дедок один остался. Ты чего, дед? Ноги плохо держат, стоять долго не можешь? Соберись, у нас не долго. Ну, молодежь, давай поможем старичку. Берите его с двух сторон и минутку подержите.

Сидоров, ты как, готов? Патронов хватит? Ну, давай, пали. А то, слышь, на следующий сеанс уже народ подвозить начали.

## Виктор ВЕРИЖНИКОВ

### ВСТРЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА

Встречавшиеся на улицах женщины с пустыми руками всегда вызвали у Барбусова чувство какой-то тоски. У женщины обязательно что-то должно быть в руках. Сумка. Сумочка. Мешок. Букет. Чья-то рука. Хоть поводок. Пусть скрипка, пусть портфель. Ну хоть ведро или лейка. Коромысло, черт возьми! Пусть даже метла. В самом крайнем случае — лопата. Но чтобы ничего!..

Вот и у идущей навстречу молодой женщины с развевающимися на ветру каштановыми волосами в руках явно ничего не было. Барбусову стало как-то неуютно и тоскливо. Нужно что-то ей дать в руки. Букет? Но поблизости ни одного кноса. Хоть газету? Но вот какая оказия — Барбусов и сам сегодня вышел из дома без газеты. Вот эту метлу, что стоит у стенки? Но метла не пойдет к ее светло-серому пальто...

Впрочем, нет, у нее, кажется, что-то есть в руке. Барбусов воспрянул духом. Да, точно есть! И когда женщина поравнялась с ним, у него окончательно отлегло от сердца. Действительно, она шла не с пустыми руками. В руке у нее был пистолет.

г. Ленинград

«Репутации беречь нам не приходится — их нет» — так говорили веселые нищие Роберта Бернса. Им было легко. Может, и не уступая им в нищете, советские люди отличаются от шотландских нищих прежде всего тем, что у всех у них, поголовно, есть репутация, которую они обязаны поддерживать, если не хотят неприятностей, и не снисшихся хотя бы тем же шотландским нищим. Советские люди чрезвычайно чутки к своим и в особенности к чужим репутациям.

Поэтому, когда в сентябрьском номере «Юности» за прошлый год в подписи к групповой фотографии, относящейся к семидесятым годам, было пропущено имя Юрия Ряшенцева в то время, как сам Юрий Ряшенцев со всей очевидностью был запечатлен на фото, — репутация нашего автора у одних внимательных читателей заметно упала в связи с тем, что он, видимо, совершил что-то с точки зрения властей предосудительное, а у других, столь же внимательных, но еще и граждански продвинутых, — поднялась, поскольку Ряшенцев, видимо, совершил что-то предосудительное с точки зрения все тех же властей.

Телефон у Юрия Ряшенцева не смолкал, потому что московским, ленинградским, тбилисским друзьям хотелось знать, что именно он совершил. С другой стороны, художник Вагрич Бахчанян (в том номере ему была предоставлена вкладка), давным-давно покинувший Родину, но сохранивший в себе лучшие черты советского человека, вслух задумался, не поддался ли Юрий Ряшенцев, несколько запоздало, в диссиденты и не нуждается ли в связи с этим в защите.

На самом же деле имела место редакторская оплошность.

Когда мы осторожно спросили у Ряшенцева, как сам он относится к невольному урону, причиненному его репутации, он пожал плечами и сказал, что его отношение к проблеме человеческой репутации выражено им задолго до вышеизложенного казуса в «Балладе о репутации», стихотворении о маркизе де-Саде, который, как известно, хотя и дал имя такому отвратительному явлению, как садизм, но лишь потому, что описал это явление, сам, будучи человеком мягким и не способным причинять боль.

В качестве доказательства, что Юрий Ряшенцев обиды на нас не держит, прилагаем эту балладу.

## Юрий РЯШЕНЦЕВ

### Баллада о репутации

У маркиза де Сада прием в Люксембургском саду.

Изверг полон садизма, а всё, между тем, на виду, ждут сексоты у каждой беседки — и немудрено: дикий нрав изувера Парижу известен давно.

Вот глядит на графиню маркиз, и — еда не еда.

До чего же садизма исполнен он, прямо беда!

А графине не только же страшно, а в ней — интерес.

Но, однако, когда позовет он, она — наотрез!..

Да вот что-то он все не зовет. Притворяется, плут.

Сам хотел бы терзать ее — там! Но галантен с ней — тут.

До того надоело графине: когда же, когда

наотрез она Саду откажет, — еда не еда!

Так сидят и маркиз, и графиня, не пьют, не едят.

Все давно уж попили, поели — они все сидят.

Наконец приглашает графиня маркиза гулять:

то ли больно храбра, то ли дура — вот рыжая прядь!

...Сад терзает графиню, но как-то спустя рукава.

У него не дописана в книжке седьмая глава.

И не тем он графиню терзает, что — бьет, потрошит,

а лишь тем, что колоть не дерзает и бить не спешит.

Ну, конечно, — засады!.. Трепещет турнир на ветру...

Ей давно почему-то полиция не по нутру.

Этак он до утра не начнет, этот изверг, терзать

и не даст ей возможность ему наотрез отказать.

Уж она-то сумеет, откажет, хоть риск и велик...

С рыжей гривки графини серебряный съехал парик...

Меж галантной беседой и позою боли, стыда

есть хоть жест, поцелуй — вот она и откажет тогда...

А маркиза терзает другая забота, увы:

всё портрет не найдет палачу из девятой главы.

Он давно бы нашел и с пером ликовал бы в руке,

кабы только не эта садистка в кривом парике.

Повторяем тот снимок:  
в центре, справа  
от Василия Аксенова, —  
Юрий Ряшенцев.







# РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

## Альбом. Лист 3.

### ТАЙНЫ СТАРЦА СЕРАФИМА



Наша жизнь по-прежнему полна неожиданностей...

В 30-х, в пятилетку безбожия, в здании Казанского собора в Ленинграде был устроен антирелигиозный музей, а через шестьдесят лет этот «научно-пропагандистский центр по борьбе с пережитками» стал «поставщиком» христианских святынь. Летом 1989 года город на Неве обрел из недр музея мощи своего небесного покровителя, благоверного князя Александра Невского, а спустя полтора года — мощи великого молитвенника за Россию, преподобного Серафима Саровского.

Это событие произошло в роковые для России дни — будущему историку будет легче связать сегодняшние нити. Журналистка И. Степанова, решившая узнать тайну «второго обретения» мощей, выяснила следующее: за несколько дней до вильнюсских событий заведующий православной экспозицией С. Н. Павлов заинтересовался некоей, по его словам, «частью мебели». Приподняв вместе со своим помощником крышку «мебели», они узрели спеленутое тело. Под спавшими пеленами лежали мощи: на голове — черная скуфеечка, на руках — атласные рукавички. А на рукавичках написано: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас». Музейные работники оперативно позвонили патриарху всея Руси, который срочным образом организовал комиссию по освидетельствованию мощей. Все сошлось — это был Саровский Чудотворец! На «Красной стреле», том самом поезде, который учредил С. М. Киров для удобства совработников, святые мощи были перевезены в Москву с тем, чтобы летом 1991 года они нашли упокоение в недавно возрожденном неподалеку от Сарова Серафимо-Дивеевском монастыре.

При передаче мощей произошло маленькое историческое событие: в Ленинграде патриарха встречал уполномоченный по делам религии, а провожать — уже не провожал. Таковой должности нет больше в российском государстве — обер-надзиратель аннулирован.

Музейная тайна так и осталась тайной. Как могло случиться, что в тех самых фондах, где всякая вещь снабжена бирочкой с веревочкой, неучтенной, безо всякой описи и актов, лежала святыня, которой поклонялась вся православная Русь? Выходит, что если бы мощи преподобного, не приведи Господь, исчезли, никто и не хватился бы? Впрочем, народ в исчезновение мощей никогда и не верил — ходили слухи, что их хранят благочестивые христиане, которые ждут своего часа (ими, видимо, оказались музейные сотрудники).

Что еще исторгнет музейное утро, закрытое для посторонних бдительной администрацией? Какие чудотворные явятся из тех шести тысяч икон, что стоят сейчас на полках музейного фонда? И чьи мощи нашли этой весной на чердаке собора? (О них известно только то, что был в 1970 году приказ дирекции уничтожить «неатрибутированные останки», но исполнители не решились это сделать и припрятали их на чердаке.) Увы, ответов пока нет.

Со «вторым обретением» мощей св. Серафима все чаще стали вспоминать о таинственных пророчествах, связанных с именем старца.

Однажды Серафим поразил монахинь Дивеевского (им основанного) монастыря: «Плотью в Сарове лежать не буду». В старой России это пророчество казалось невероятным — на поклон в Саров шли богомольцы со всей страны, начиная с царя Николая Второго. Считалось, что небесными молитвами Серафима России был послан наследник, царевич Алексей. Как мы убедились, эта часть Серафимова пророчества сбылась.

Затем преподобный предсказал, что он воскреснет, а воскреснув, начнет проповедь покаяния. Если посчитать, что «второе обретение» святыни — это и есть символическое воскрешение, то время покаяния пришло. Хотя каяться никто особенно не стремится: вроде никто ни в чем не виноват, все как бы само собой вышло, мы тут ни при чем. Но, может, стоит вспомнить, что перед революцией к покаянию призывал св. Иоанн Кронштадтский, но — не послушали, и даже угроза антихриста не подействовала. А ведь эта проповедь да и «второе обретение» мощей не случайно, наверно, «локализовались» на берегах Невы, в том самом месте, где все и началось (точка отсчета — царевубийство 1881 года).

В этой части пророчества будущее выглядит обнадеживающе: покайся и помолившись вместе с Серафимом, Русь воскреснет! Через ужасы и бедствия страна спасется, корабль русский вновь склется — ведь Серафим один раз уже простоял на камне в молитве тысячу ночей и отмолил Россию от «нашествия галлов и двенадцати языков» в 1812 году.

Передаваемые изустно предсказания Серафима кончаются на апокалиптической ноте: по окончании проповеди покаяния его мощи лягут рядом с мощами трех дивеевских блаженных. И тогда наступит конец света.

Перед этим концом и храмы вновь откроются, и может появиться даже православный царь. На земле будет отражение того, что увидел Иоанн в Апокалипсисе в тот момент, когда Ангел снял последнюю, седьмую печать: «Сделалось безмолвие на небе, как бы на пол часа».

Рассказав своему знакомому о том, что Русь воскреснет перед концом и что, может, осталось «пол часа», я услышал в ответ: «Боже! Да это самая хорошая новость, которую я слышал в последнее время. Сколько же еще можно мучиться?»

Ну, а если сказать словами преподобного старца Серафима: «Нет нужды нам унывать, ибо Христос победил все».

Сама же Саровская пустынь, где жил, проповедовал и подвижничал св. Серафим, по-прежнему недоступна. После насильственного закрытия и разорения в 1927 году она стала закрытым городом, тем самым загадочным «объектом», описанным в воспоминаниях А. Д. Сахарова, где наше атеистическое государство воплощало в жизнь свою ядерную программу. Два собора и колокольня, говорят, еще стоят.

Михаил ТАЛАЛАЙ

1. Преподобный Серафим за привычным занятием. Литография из Ново-Дивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

2. Саровская пустынь в лучшие для нее времена.

3. Успенский собор Саровской пустыни, где мощи Серафима Саровского покоились до 1927 года.

4. Дивеевский монастырь в начале XX века.



# ЧАСТНОЕ расследование «ЮНОСТИ»

Игорь  
ГАМАЮНОВ  
**КАК  
ИЗМЕНЯЮТ  
КГБ**

*Преступление и наказание  
оперработника госбезопасности  
капитана Орехова*



Бывший капитан КГБ В. Орехов  
Фото А. Карзанова

Этот человек среди политзаключенных стал легендой. В лицо его почти никто не помнил. Сведения о его деле были крайне скупы, но и они уже обрастали подробностями. Диссиденты стали вдруг вспоминать, как кто-то неизвестный, никем не видимый, иногда называвший себя по телефону именем Олег, помогал им. Предупреждал об обысках и арестах. Доставал и передавал пропуска на закрытые судебные процессы. Снабжал информацией, которой мог обладать только работник госбезопасности.

Потом выяснилось: человек-невидимка был капитаном госбезопасности Виктором Ореховым. Осужденным на восемь лет. Сгинувшим, как утверждали, в местах заключения. Впрочем, тут ходило несколько версий. Одни утверждали, что его навсегда погребли в психушке. Другие — будто он, искалеченный в лагерях, умер мучительной смертью. Третьи предполагали: он освободился, но живет замкнуто, чуть ли не под другим именем. В августе 1990 года в Ленинграде на съезде политзаключенных о нем говорили как о трагической фигуре минувших лет. Те, кто надеялся, что он еще жив, мечтали пожать ему руку.

Виктор Орехов жив. История его преступления и наказания записана у меня на магнитофонную пленку.

## Арест

В тот день, перед тем как выехать на работу, он туда позвонил. Ему сказали: «Здесь тебя заждались». Он понял: случится сегодня. Но отступать было поздно, да и невозможно. Знал: за ним уже установлена «наружка»\*, его телефоны прослушиваются.

В кабинете он снял пиджак — стояла жара невыносимая. Пошел по коридору к начальнику. Увидел: у окон, у лестницы маячили фигуры. Ага, вон и Толя здесь. Этот, молодой и спортивный, был ему особенно неприятен: Толю брали на самые «острые» дела. Это он в семидесятые годы на Пушкинской во время митинга в День Конституции изобразил возмущенную общественность, кинув в выступавшего А. Д. Сахарова заготовленный заранее целлофановый пакет с грязью.

Начальник велел надеть пиджак:

— Поедем в Лефортово.

— Зачем?

— Нужно провести служебное расследование.

Уточнять, почему его нельзя провести здесь, было нелепо. Вернулся за пиджаком, заметив, как сдвигаются вслед за ним фигуры сотрудников. По лестнице шел в их плотном кольце. Успел подумать: уж не полагают ли они, что изловили в своих рядах опаснейшего шпиона?

Он был странно спокоен — сам потом удивлялся. Двигался, говорил, жестикулировал словно бы автоматически. Почему не боялся? Надеялся: его дело обретет огласку, дойдя до верхов КГБ и ЦК, и он сумеет доказать, что действовал не во вред стране, а во благо.

Сумеет всем раскрыть глаза на причины и смысл диссидентского движения. Он был тогда все-таки еще очень наивен (диагноз судебно-медицинской экспертизы: вмняем, но инфантилен). Верил: ни Андропов, ни Брежнев не знают всей правды о проблемах своей страны и особенностях работы госбезопасности, а вот теперь-то, после его громкого судебного процесса, наверняка узнают.

На первом допросе, через полтора часа, Орехов спохватился: попросил следователя отослать жене Нине два талона на посещение врача — сам ее записал, а то время пропустит. Следователь не выдержал:

— Да вы о чем думаете, Орехов?

И капитан Орехов немедленно ответил:

— О здоровье жены.

— О себе позаботьтесь. А жена, узнав, какой вам срок положен, тут же разведется.

— Да ни за что! Голову наотруб даю.

Следователь взглянул на него как на сумасшедшего.

Шел 1978 год. Прежде чем оказаться на скамье подсудимых, ему предстояло пройти через муку длинных, изматывающих допросов и освидетельствование в психиатричке, через утрату иллюзий о плохой осведомленности Брежнева и Андропова.

Следствие длилось немногим менее года. Его обвинили в том, что он, пользуясь служебной информацией, помогал диссидентам, покушавшимся на основы нашего строя.

\* Наружное наблюдение.



Судил его трибунал. Процесс был закрытым. Его осудили на восемь лет. Все восемь он отсидел — от звонка до звонка. Ни в нашей, ни в зарубежной печати об этом процессе не сообщалось.

## «Я был закрещеным коммунистом»

Виктор Орехов стал мечтать о разведработе в армии, когда служил в погранвойсках, на контрольно-пропускном пункте, в Батуми. Учился он в Высшей школе КГБ в конце шестидесятых.

В «Вышку» (так сокращенно слушатели школы называли свое учебное заведение) входили по удостоверениям, и Виктор втайне гордился этим. На улице, в толпе ловил себя на мысли: он среди прохожих такой, как все, а ведь на самом-то деле это не так, он особенный! Не каждому было дано здесь учиться. Всех поступающих в «Вышку» тщательно проверяли — их рабоче-крестьянское происхождение. Даже предметы здесь были засекречены и обозначались номерами. Преподаватели же — люди военные, иногда приходили на лекции в форме.

Одна подробность портила картину. Он обнаружил: здесь не жалуют тех, кто задает много вопросов. А Виктор любил спрашивать. Может, оттого, что родом из крестьян, склонен к дотошной обстоятельности и всегда старался дойти до сути. Споткнулся же он на прошлом органов госбезопасности: чем объяснить массовость репрессий в 30—50-х годах? Какова цифра жертв этих лет? Что сделано, чтобы такое не повторялось?

Странно, но вопросы Орехова воспринимались преподавателями как попытка утвердить собственную, ни на чем не основанную точку зрения. Виктора даже как-то обвинили в демагогии. После чего в личном деле появился документ, который обращал внимание на одну из черт его характера: «...Любит спорить с начальством».

Возникли у него вопросы и по делу Даниэля и Синявского. Они были осуждены по 70-й статье — за антисоветскую агитацию и пропаганду, считались тайными сотрудниками ЦРУ (в чем Орехов тогда ни минуты не сомневался). Но эффект от их подпольной деятельности, то есть от публикации за границей собственных литературных произведений, представлялся Виктору если не нулевым, то крайне мизерным. Запустить из-за рубежа к нам их издания массовым тиражом было невозможно — Орехов это знал, так как служил на границе и отлично представлял себе, что такое тщательный таможенный досмотр. Читать по радиоголосам бессмысленно — их тогда так глушили, не пробьешься.

Единственно убедительным объяснением ему показались слова об опасности идеологической диверсии, которую надо пресекать в зародыше. Диверсия эта представлялась ему особо коварной. От хитроумно сочиненного произведения тысячи простодушных советских граждан могли засомневаться в правильности выбранного пути. Сомнения же он тогда считал страшной заразой, подобной массовой эпидемии — вроде чумы или холеры.

## Издержки

В органы госбезопасности Виктор пошел выявлять мешающих.

Главными из мешающих, как он тогда считал, были не коррупционеры и взяточники, не руководители-халтурщики, по чьей вине гибли сельское хозяйство и промышленность, а инакомыслящие. Диссиденты. Болтуны-провокаторы, распускающие о нашей стране клеветнические слухи.

Орехов не сразу стал бороться с ними. Вначале, в одном из московских райотделов госбезопасности, ему поручили «обслуживать» институт, где учились иностранцы. Ни одного шпиона выявить не удавалось, но Орехов стрательно создавал там, среди студентов, свою агентурную сеть.

Уже тогда его стала коробить несоразмерность масштаба их работы с результатами. Вначале обижался: почему его донесения и рапорты, как он заметил, начальство не читает? Потом понял — незачем. Эти бумажки нужны для отчета. Но тогда к чему такое количество агентов? Ведь с каждым приходилось специально беседовать, и не один раз. Приемы вербовки не отличались благородством. Приходилось запастись компроматом, чтобы в критический момент припугнуть тех, кто не соглашался.

К тому же существовал план по вербовке. В конце квартала начальство нервничало: горим. Призывало «поднажать». Легче всего планы выполняли за счет наркоманов и прости-

туток. Наркомана достаточно было задержать на несколько суток, он на второй или третий день «ломался». Стоило в этот момент положить перед ним шприц, и подписка о сотрудничестве обеспечена: готов подписать все, лишь бы уколотся. А проститутке грозили высылкой за пределы Москвы, что означало лишить ее валютных доходов.

Виктор эту особенность их работы объяснял спецификой. Но и в ней были моменты, которые его, уже профессионала, «били по нервам». В посольства и торгпредства — он знал — направляют на работу привлекательных женщин. Как только замечают, что они становятся объектом внимания, с ними беседуют, подталкивая к физической близости с иностранцем — «для лучшего контакта». Тем, кто, не соглашаясь, заикался об «измене мужу», говорили: «Вы выполняете задание родины». И женщина выполняла его. За двойную плату — иностранца и того, кто ее «курировал». Но и такой ценой ничего, кроме мелкого компромата (постельные сцены снимали приборами ночного видения), получать не удавалось.

## Из переписки Орехова с женой\*

«...Можно прожить всю жизнь вместе, есть икру, бывать в фешенебельных кабаках и не ответить в конце жизни на простой вопрос — счастлив ли ты был? Если мне придется умереть через секунду после того, как допишу эти строки, я все равно скажу тебе — да, я испытал счастье. Счастливыми были и годы, и минуты, даже мгновения, за которые можно отдать годы... Приближается конец срока, а я все больше убеждаюсь — иного выхода в тот период у меня не было. Все было правильно, я все сделал так, как меня учили в жизни хорошие люди, умные книги... Просто всего не предусмотреть...»

## Капуста под снегом

Его дотошность граничила с занудством. Ну, прочитал он в самиздате, потом слышал, как пересказывали, будто в Липецке капуста под снег ушла. А неубранный хлеб, подумать только, сожгли. Ведь уверен был: клевета. Провокационный слух. На этом бы и остановиться. Нет, задумал проверить. У него был отличный источник информации — два десятка общежитий лимитчиков. Поехал, походил по коридорам, нашел липецких. Но... не получилось опровержения. Подтвердили: да, под снегом капуста. И хлеб сожгли, чтоб глаза не мозолил. Значит, не врет самиздат? А почему молчат газеты? Где гласный судебный процесс над хозяйственниками, сотворившими такое?

А тут случилось ему оказаться прикомандированным «администратором» к театральному коллективу, поехавшему с гастролями в Японию. Присматривая за артистами и их неустойчивыми настроениями, Орехов успел разглядеть: частная собственность и свобода предпринимательства, оказывается, превратили «загнивающий» капитализм в процветающий.

Вернувшись домой, он в отпуск поехал в Путивль повидать родные места, завернул на свой хутор, побывал в окрестных селах. Контраст ошеломляющий! Брошенные дома, заколоченный магазин, одинокие старухи, колхозная земля, зарастающая бурьяном. Чем дальше, тем больше смущали Виктора Орехова трибунные речи. Ощущение, будто выступавшие жили в другом мире, где никогда не горит хлеб и не уходит под снег капуста.

Как-то разговорился со своим коллегой. Тот рассказывал: однажды он вместе с молодыми социологами разработал систему анонимного опроса, пошел к своему начальству. Система позволяла выявлять общественное мнение с максимальной объективностью. Отпадала необходимость в кустарных предсъездовских сборах информации с последующей ее селекцией. Начальство — ему: «Тебе делать нечего? А что думает народ о партии, сама партия и без тебя знает». И на следующий же день с подачи начальства об этом реформаторе пополз слух: мол, с головой у него что-то. Говорят, с мотоцикла упал.

Эту странность Орехов заметил в первый же год работы: негативная информация о парторганах блокировалась. Казалось бы, партия должна очищаться от всего плохого, а тут... Как-то появились у них данные на человека, работавшего за границей. Выяснилось: он там служебные связи

\* Письма цитируются с разрешения автора.



превратил в средство обогащения. Потянулась ниточка и в Москву. Но только было попытались установить за ним наблюдение — звонок от родственника, работающего в ЦК. «Наружку» сняли немедленно.

Уже работая в областном управлении госбезопасности, Орехов понял: их информация, прежде чем попасть в прокуратуру и в суд, проходит сквозь партийное сито. Только если из обкома дадут «добро», информация пойдет дальше. Не потому ли коррупция, взяточничество, протекционизм в партбюрократии стали привычным делом?

А эпизод, который случился чуть позже, окончательно выбил его из колеи. В поле его зрения давно была особа, щеголявшая в подпивших компаниях специфическими для работников госбезопасности словечками. Кто она? Провокаторша?.. Цель ее действий?.. Орехов пригласил ее на беседу. Держалась с наглостью, уходила от ответов. Пока не поняла: у Орехова на нее «информация». Стала рассказывать. Она, оказываясь, входя в особую компанию. Там — крупные парторботники и «гэбисты». Развлекаясь, не стесняются говорить о своей службе, как о надоевшем хобби. Откровенно циничны. Как-то в сильном подпитии один из этих людей ткнул пальцем в экран телевизора, где показывали встречу иностранной делегации: «Вот эта переводчица — наша агентесса... Завтра навалает донесение...» По описанию Орехов понял: многих из той компании он знает в лицо. Но с одним из них знаком близко. Это был один из его начальников.

Орехов тогда впервые понял: выступи он сейчас с разоблачениями, его уничтожат вместе с этой болтливой особой. Он так был потрясен своим открытием, что у него на лице появились аллергические пятна. Два месяца ходил к врачу, чтобы их вывести. Начальник, встречаясь с ним, шутил: «Орехов, а ты никак выпивать стал? Смотри, сопьешься».

## Из переписки Орехова с женой

«...Ты и все мои родственники пишете, что надо терпеть. Но не потому ли мы так и живем, что без конца терпим?.. Вот, например: по тем жалобам о беззакониях, о ненормальных условиях в нашей зоне вело проверку — кто бы выдумали? — наше лагерное начальство... Я хорошо понимаю, что оно внимательно прочтет это письмо, но я не собираюсь менять свою позицию. Все равно о здешних злоупотреблениях станет известно всем. Я же оказался оплеванным, ведь по моим жалобам «факты не нашли подтверждения». И хотя вы все стараетесь меня успокоить, осуждаете затычную мной голодовку, я стою на своем: у меня все-таки остался один весомый аргумент — это моя жизнь. И если возникнет необходимость, то я отдам ее, чтобы отстоять свою честь. Поймите меня — нет у меня другого способа остаться человеком...»

## «Завтра к вам приедут...»

И еще одна особенность нашей жизни удивляла Орехова. Те, кто читал и передавал другому диссидентскую литературу, в общем-то не очень боялись. Хотя знали: за это сажают. Чем объяснить — простодушием? Надеждой на снисхождение? Уверенностью, что ничего преступного не совершают?

Вот перед ним студентка, лицо совсем детское. Читала тамиздатовскую книгу — о политической системе СССР. Скрупулезный анализ бюрократической машины. Вывод: система развалится. Никаких вмешательств извне — она «съест сама себя». Он, Орехов, обязан выяснить, откуда эта книга. На студентку «пришла бумага». Донос. Документ занумерован, остановить ход дела невозможно.

Девушка не сразу это понимает. Наконец лицо изменилось. Дрогнули губы. Нет, в перспективе пока не тюрьма. Но исключение из института — реальность. Откуда книга? Подруга дала. На следующий день приходит с подругой. Орехов, всматриваясь в их испуганные лица, думает: придется выявлять всю цепочку. Друг друга многие в лицо не знают, а образовалась преступная группа. Если следовать букве закона — распространяли клеветнические сведения, направленные на подрыв. Лет пять колонии и три года ссылки.

За что? За то, что знакомилась с иной точкой зрения на нашу жизнь? За то, что пытались понять причины наших затянувшихся на десятилетия бед? А разве он сам, Орехов, не пытался понять, читая конфискованные книжки? Почему ему можно, а им, студентам, нельзя? И при чем здесь органы госбезопасности? Речь идет об убеждениях, значит, заниматься этим должна КПСС. Ведь задача партии — формировать взгляды. В том числе и в дискуссиях.

Орехов положил перед студентками по листу бумаги. Велел написать: да, действительно такая-то передала такой-то эту ужасную книгу, прочитанную из праздного любопытства. А купила ее у магазина «Детский мир» на книжном черном рынке, у какого-то пьяницы, да и то только потому, что цена была низкая.

Ну, ладно, молодых, неоперившихся понять можно: легкомысленны. Не понимают, что могут попасть в картотеку. А она незримо следует за человеком, притормаживая его служебный рост. Но вот те, кому за сорок, кого жизнь не раз проучила, — они-то почему не боятся? Ксерокопируют. Раздают друзьям и знакомым. «Профилактические» беседы с ними Орехову были крайне интересны.

Ему объясняли: разве в этой деятельности есть криминал? Ведь в Конституции декларирована свобода слова. К тому же они не скрывают своих взглядов. Шлют руководителям партии и правительства открытые письма с анализом социально-экономической ситуации. Да, потом письма размножаются. Их рассылают по редакциям. Они попадают и за границу. Но ведь письма — открытые! Вот, пожалуйста, посмотрите копию.

И Орехов смотрел. Ощущение, будто с глазами что-то происходило. Текст, лишенный привычно-догматических фраз, буквально впечатывался в сознание. То, что ему, Орехову, казалось запутанным, там объяснялось с потрясающей душой простотой и ясностью. Становилось понятным, почему на его родине, под Путивлем, разорена земля, по всей стране один дефицит сменяет другой, а на экране телевизора возникает престарелый руководитель страны, в очередной раз получающий звезду Героя. Потому что есть у нас одна главная нехватка — дефицит правды. Орехов видел, что люди, прозванные в прессе диссидентами, готовы были ради правды — на все. И чем больше он всматривался в них, тем больше они ему нравились. Они были до конца честными.

Но работать капитан Орехов продолжал. Собирал информацию о диссидентах через агентурную сеть. Вел профилактические беседы, которые, правда, теперь затягивались. Выезжал с опергруппой на обыски. Однажды искали тетрадь со стихами, известными, по донесению агента, как порочащие наш строй. Автор стихов стоял тут же, в комнате, среди развала книг и рукописей. Тетрадь попала в руки Орехову. Он пролистал ее, мельком вчитываясь, понял — это она, взглянул на хозяина. Тот был бледен, но взгляда не отводил. Орехов еще раз пролистал и протянул ее хозяину, пробормотав: «Это нам не нужно, кинь вон туда». И тетрадь сгинула в кипе просмотренных уже бумаг.

А вскоре в квартирах, где намечался обыск, стали раздаваться телефонные звонки. Незнакомый голос предупреждал — уберите компромат, завтра к вам приедут.

## Из ответа пом. прокурора Мачехина В. П. гражданке Ореховой

*«Осужденный Орехов В. А. в общественной жизни отряда участия не принимает. Встал на путь нарушения режимных требований... Совершенного преступления не осуждает...»*

## Операция «Улика»

Об этом человеке знали: общается с известными правозащитниками, распространяет «Архипелаг ГУЛАГ». Инженер. Сорок пять лет.

На него был заведен ДОП (дело оперативной проверки). А в тот день он позвонил знакомому, работавшему в институтской фотолаборатории. В разговоре мелькнуло: «Привезу «Сказку». За обоими выехали машины. Фотомастера взяли в лаборатории. Инженера — у подъезда.

Орехов был в машине, когда инженер Морозов вышел из дому. Среднего роста. Черняв. Портфель оттягивает руку. На предложение пройти в машину сказал довольно спокойно: «А зачем, собственно...» Он и в кабинете на собеседовании не особенно волновался. Коллега Орехова, старший по чину, вел разговор напористо:

— Мы знаем, что у вас в портфеле. Рекомендуем все рассказать.

— А откуда знаете? Телефон прослушивали?

— Ну, совсем необязательно.

... Тогда считалось неудобным сознаваться в этом грехе.

— Вы хотите сказать: лаборант сам на себя донес?

Разговор не клеился, и старший по чину оставил Орехова



одного — вести профилактическую беседу. Цель — склонить Морозова к сотрудничеству. Орехов понимал: попытка безнадёжная. Морозов уверен, ничего противоправного ни он, ни лаборант не совершили. Кто доказал, что «Архипелаг» — клевета? Чьим решением запрещена книга?

Орехову это бесстрашие импонировало. Морозова Орехов тоже, видимо, заинтриговал: этот странный оперативник явно интересовался их движением не по службе, а «от себя».

— Ну, если вы рассчитываете на мою откровенность, — сказал ему Морозов, — зачем меня считать дураком?! Ведь о том, что я выхожу из дому с «Архипелагом», узнал только лаборант, и только — по телефону.

Орехов признался: да, ваш телефон прослушивается. Это было началом разглашения государственной тайны — такая статья Уголовного кодекса будет потом ему инкриминирована. Орехов понимал, на что идет, — он тоже сделал свой выбор. Потому что уже тогда считал еще большим преступлением преследование правозащитников.

Затем они стали встречаться с Морозовым по-приятельски: тот снабжал Орехова правозащитной литературой. Подолгу разговаривали. Кое-что Орехов записывал. Он полагал, что сможет из этих заметок составить объективную характеристику правозащитного движения. Верил, что убедит — нет, не своих начальников, а высшее руководство КГБ и страны: эти люди хотят добра. Копил аргументы. Знал — его в конце концов вычислят, ведь у них существовал специальный отдел — для разработки своих же сотрудников. Конечно, он мог остановиться. Отступить. Даже сменить специальность. Многие так и поступали, текучка в их отделе была большая. Уходили чаще всего «по язве желудка» — о диагнозе договаривались с врачами. Хотя диагноз был другой — тошнило не от язвы, а от работы. Этот вариант Орехов для себя не исключал. Но дело в том, что он все больше привязывался к людям, которым помогал — теперь через Морозова. «Если они рискуют, — думал Орехов, — то неужели я не могу?» К тому же он видел: они рискуют не ради личного благополучия.

Все-таки они, эти диссиденты, думал Орехов, поразительно доверчивы. Им легче обмануться, чем заподозрить человека. Никак не могут привыкнуть к мысли, что их разговоры бывают слышны сквозь множество стен, если среди них человек с микроскопическим, заколотым, как булавка, радиопередатчиком. Что квартиры самых известных диссидентов не только прослушиваются мирно лежащим под паркетом «жучком», передающим все голоса в стоящую на улице, за углом, машину. Но и просматриваются. Конечно, аппаратура недешево стоит, зато проста в употреблении. Ее глазок, чуть крупнее макового зернышка, выведен через потолок, совершенно незаметен, а изображение происходящего в комнате четкое, как на экране хорошоотрегулированного телевизора.

Правда, были сложности с установкой. Приходилось изучать биографии жильцов почти всего подъезда: кто был судим, есть ли родственники за границей, у кого какие мечты. Пенсионерам вдруг приносили льготные путевки в престижные дома отдыха, куда они безуспешно пытались попасть несколько лет. Работающих вызывало начальство, спешно отправляя в отпуск, к теплому морю. К моменту «икс», когда семейство диссидента отлучалось в запланированный отпуск, соседние квартиры тоже оказывались нежилыми, и «ремонтники», проверяющие электропроводку, без риска быть замеченными сверлили в нужных местах стены, потолки, пол, искусно маскируя тончайшую аппаратуру.

Лишь в особо экстренных ситуациях обходилось без такого выселения — тревожили верхних или нижних соседей диссидента, представляясь работниками уголовного розыска (для прикрытия существовали специальные удостоверения). Объясняли: из вашего окна удобно наблюдать за тем вон домом; там, по не проверенным пока данным, нашли пристанище особо опасные преступники. Затем в предоставленной комнате появлялись все те же искусные «ремонтники».

Сколько драгоценной техники, высочайшего мастерства и, конечно же, средств уходило лишь на то, чтобы уличить человека в элементарном инакомыслии!.. Да не для того ли это все делалось так масштабно, с таким потрясающим бесстыдством, чтобы оправдать существование громоздкой системы тотальной слежки?! К тому же охота за диссидентами могла быть неограниченно результативной. Стоило спустить директиву об усилении борьбы, нехватку шпионов легко было компенсировать теми, с кем проведены предупредительные беседы.

Были, надо сказать, сложности с уликами. Те, кто ждал обыска, успевали освободить квартиру от всего сомнительного. Ну и тут у оперативников оставалась возможность «вдруг обнаружить» в письменном столе мелкокалиберные патроны. Или, например, упаковку наркотика. Такие «улики» упрощали процесс превращения инакомыслящего в уголовного-процессуального кодекса: всех приезжавших к хозяину квартиры положено впускать, но до конца обыска (а это длилось по 12—18 часов без перерыва) — не выпускать.

Случалось нелепое: в тесную квартиру вдруг набивалось два-три десятка человек, непонятно как подгадавших приехать к самому началу. Они торчали во всех углах, фиксируя каждое движение оперативников, что-то помечая в блокнотах. Как же они раздражали! Под их перекрестными взглядами подложить «улику» было невозможно — одно неловкое движение, и скандал с выходом на зарубежные «голоса» обеспечен.

Но ведь кто-то же успел их оповестить о выезде бригады на обыск? Кто?..

#### **Из наброска письма В. Орехова в Политбюро ЦК КПСС, написанного после ареста**

«...До каких пор мы будем уклоняться от того, чтобы все называть своими именами? Кого мы боимся? Должностных лиц, надевших маску?

Когда следователь спросил меня с удивлением — «Неужели вы собирались бороться с органами госбезопасности?» — я ответил, что за справедливость и честность готов бороться с кем угодно...»

#### **Из материалов уголовного дела**

...В декабре 1976 года Орехов сообщил Морозову о предстоящем обыске у гражданина Слепака, зимой 1977 года — данные о лице, сотрудничавшем с органами КГБ, весной 1978 года — данные о другом лице, также сотрудничавшем с органами КГБ.

В январе 1977 года Орехов предупредил о предстоящем аресте Орлова, в феврале 1977 года — о проведении специальных оперативно-технических мероприятий в отношении Щаранского и о предстоящих обысках у Лавута и других граждан.

Орехов, зная, что Морозов имеет отношение к изготовлению и распространению антисоветских листовок, разгласил данные о проведении оперативно-технических мероприятий в отношении Морозова, а также в отношении Гривниной и Сквирского. Получаемые от Орехова сведения Морозов передавал своим единомышленникам.

По заключению экспертов, сведения о методике и опыте практического проведения нескольких видов оперативно-технических мероприятий являются совершенно секретными и составляют государственную тайну.

### **Пропуск в историю**

Почему Морозов заговорил о дочери? Некому исповедаться? Наболело? С женой в разводе, с дочерью в ссоре. Подозревает: именно дочь-студентка, видевшая у него фотокопию «Архипелага», вначале проболталась знакомым, а потом, приглашенная (как он предполагает) на беседу с сотрудником госбезопасности, выдала папеньку. А иначе с чего бы началось прослушивание его телефона, а затем слежка за ним и его приятелем-лаборантом? Он был так уязвлен, что назвал дочь «Павликом Морозовым». Сказал ей: «Фамилию можешь оставить, совпадает, а имя поменяй».

Орехов проверил все, что имело отношение к началу разработки Морозова. Сказал ему: «Дочь ни при чем. Помирись с ней». Морозов не поверил. «Не могу ж я тебе секретные бумаги вынести!» — рассердился Орехов. «Поклянись», — попросил Морозов. И Виктор поклялся именем матери. А через несколько дней спросил, виделся ли он с дочерью. Да, виделся. Помирился. Спасибо. Помолчав, Морозов добавил: «Она плакала». И еще через минуту: «Ты мне вернул дочь, я тебе обязан...» Дрогнувший голос. Неловкий жест. Орехов возразил: «Ты мне ничем не обязан». Эмоциональность Морозова показалась ему чрезмерной. Человек, рискующий собой, на взгляд Орехова, должен владеть чувствами безукоризненно, иначе подведет других. Хотя Морозова можно понять: он, видимо, очень тяготился ссорой с дочерью... Так думал Орехов, заглушая в себе предчувствие близящейся опасности.



Говорил он им о микропередатчиках. Их легко вмонтировать в одежду. Да, нужно проверять. Как? На ощупь. И все-таки один из Хельсинкского комитета долго носил в воротнике пальто вшитую «мушку». Каждая его реплика, каждый вздох ретранслировались в сопровождавшие его автомобили «наружки». Как «мушка» там оказалась? Вспомнил: его вызывали на беседу, и он оставил пальто в приемной.

Председателя Хельсинкского комитета Юрия Орлова предупреждение Орехова застало в очень неудобный момент — у него была намечена пресс-конференция с зарубежными корреспондентами. Уйти? Уехать? Но у подъезда уже томились скучающие фигуры, а в окрестных переулках стояли автомобили «наружки». В них отлично прослушивалось все, о чем говорили в квартире. Но и те, кто был у Орлова, хорошо это знали. Сам Орлов, переодевшись, неузнанным миновал стоявших у подъезда, затем оказался далеко за пределами оцепленного микрорайона, а в это время сидевшие у него друзья имитировали шумный спор с ним, громко называя его по имени. Когда за Орловым приехала группа задержания, ее ждал сюрприз: кандидата в подследственные в столь тщательно оберегаемой квартире не оказалось. Конечно, жить нелегально Юрий Орлов не мог, да и не собирался. Но те десять дней свободы, которые он вырвал у своих преследователей с помощью Орехова, помогли ему на одной из московских квартир провести с зарубежными корреспондентами намеченную раньше пресс-конференцию.

Их тогда брали одного за другим. В марте 78-го по Москве разошлись листовки, сообщавшие об арестах Орлова, Щаранского, Гинзбурга. Текст заключали слова: «Позор КГБ». Орехов оказался включенным в «группу по выявлению» изготовителей листовок. Он заехал к Морозову на такси. У Морозова были гости, пришлось говорить на кухне. Туда заходили, и разговор получился клочковатым. Но главное Орехов сказать успел: нужно готовиться к возможному аресту. Версия их отношений — беседы с целью вербовки. Сегодня же, лучше сейчас, убрать из квартиры заготовки к листовкам. Предупредить всех, кто имел к ним отношение.

Морозов сосредоточенно кивал. Казалось, тщательно просчитывал свои действия на ближайшие дни и недели. Прикидывал, как «лечь на дно». И вдруг оглушил Орехова просьбой: нужен пропуск на суд. Он должен быть там, где будет процесс над Орловым... Там, где каждый третий — сотрудник госбезопасности, где Морозов наверняка столкнется с тем, кто однажды убеждал его, будто его телефон не прослушивается... Бесстрашие? Или безрассудство?

Орехов достал ему этот кусок плотной бумаги с оттиском одного слова «Пропуск». Там не было фамилии, проставлено лишь число. Морозов, благополучно миновав оцепление милиции, затем — людей в штатском, в коридоре суда ткнулся не в ту дверь и услышал оклик. Он всмотрелся — лицо было знакомым. Один из тех, кто сопровождал его в машине с Ореховым.

Как вы оказались здесь? Пропуск? Откуда? Нашли? Где? Возле вашего дома? Очень интересно!

Нет его не задержали, отпустив с миром. Морозов нужен был сотрудникам госбезопасности на свободе.

## Вызов из отпуска

Из отпуска его отозвали на неделю раньше. Сказали: много работы. И в самом деле, все какие-то дерганые. «Директива, наверное, спущена, — подумал Виктор, — верх требует усилить, улучшить». В первый же день в коридоре столкнулся с группой своих — шли плотной толпой, лица отрешенные. Прошелся по кабинетам. В разговорах «про жизнь» спросил между прочим, куда это такой толпой двинулись сотрудники. «Да к Сквирскому, — ответили ему. — Там мероприятие».

Он взглянул на часы и пошел вниз, к выходу. На улице резко свернул в проходной двор. Подождал. Хвоста не было. Позвонил из телефона-автомата Морозову.

— Где Сквирский? — Должен завтра приехать. — Кто у него дома? — Никого. — Теперь там хорошая вентиляция. Боюсь — простудится...

А вдруг это мероприятие — фикция?.. Попытка проверить, через кого уходит информация. И он, Орехов, в попытках проглотил наживку? Телефонный разговор, конечно, остался на пленке.

Несколько дней Орехов выжидал. Всмотривался в лица — та же отрешенность. Пытался говорить. В ответ — скудные, вялые реплики.

Вдруг заметил: ему не дают сводок. Вызвали из отпуска, а серьезных поручений нет. Он знал, где лежат сводки, хватило нескольких минут пролистать. Ни в одной ни слова о мероприятии у Сквирского. Обычно после установки оборудования информация начинает поступать на второй, в крайнем случае на третий день. Может, Сквирский не вернулся? Позвонил ему. Трубку сняли, и в нее ворвался гул голосов — квартира, как всегда, битком набита. Так. Все ясно. Мероприятия не было. Значит его, Орехова, уже разрабатывают.

Вечером, дома, предупредил жену: возможны неприятности. Ничего особенного — служебное расследование. Немного потреплют нервы.

Орехов заметил «наружку». Эти три «Волги», обгонявшие друг друга, менявшие номера по несколько раз в день, в общем-то ничем особенным не выделялись. Но куда денешь отрешенные лица сидящих? Их внимательно-равнодушные взгляды? Точно рассчитанные движения? Орехов понимал: эта команда из шестнадцати человек сейчас фиксирует каждый его шаг. И, наконец, день, когда ему по телефону сказали: «Здесь тебя заждались».

Через месяц пришлось расстаться с надеждой, что о нем доложат Андропову и «его люди» поведут следствие, а вышние чины с Лубянки захотят с ним, Ореховым, побеседовать. Оказалось: его анализ причин диссидентского движения никого там не интересует.

Тогда он стал защищаться, утверждая: никому ничего не передавал. Звонил он только из телефонов-автоматов, голос на пленке из-за плохой слышимости идентифицировать невозможно.

Но Морозов на следствии и на суде, начиная свои показания словами: «Я обязан Орехову, он помирил меня с дочерью», — подробно рассказывал, какие и кому передавал сведения от Орехова. Он знал, ради чего старался. Его осудили на четыре года ссылки.

Орехов же получил восемь лет лагерей.

## Встреча на Кропоткинской

Он вернулся. Работал на фабрике грузчиком. Потом юрисконсультом. Недавно открыл кооператив — шьет теплые куртки. Ощущение необыкновенное, когда видит прохожих на улицах Москвы в своих куртках: будто все эти люди — его друзья.

Орехов ничего не знал о своих единомышленниках. Не знал, что его имя среди диссидентов, несмотря на закрытый суд, стало известным, а потом превратилось в легенду. Его долго не могли найти, считали погибшим, а многим он стал казаться просто мифом. Морозова, единственного из диссидентов, кто знал его в лицо, уже не было в живых — он повесился в Чистопольской тюрьме, получив вторую судимость за распространение «Архипелага» среди ссыльнопоселенцев.

И все-таки они встретились. У метро «Кропоткинская», на Гоголевском бульваре, на подтаявшем мартовском снегу, под пронзительным воробьиным трезвоном стояла группа людей. Орехов подошел к ним. Его буквально прижали к газетной витрине, забрасывая вопросами.

Его трогали за локоть так, будто старались удостовериться — живой. Ему пожимали руку. Перед ним вились: не смогли тогда, в те годы, найти его. Если бы знали, в каком лагере он находится, попытались бы помочь ему и его семье.

Его спрашивали, протянув к нему диктофоны, приготовив блокноты, что нужно, на его взгляд, сделать, чтобы охота за инакомыслящими не повторилась. Конечно, деполитизировать госбезопасность, отвечал Орехов. КГБ должен стать подконтрольным не ЦК КПСС, а парламенту. Он говорил то, что сейчас уже растиражировано чуть ли не всеми газетами. Но его слова обладали иным весом.

И еще спросили Орехова: почему все восемь отбыл целиком — без условно-досрочного освобождения? «Не заслужил, — усмехнулся Виктор. — Вы же знаете, как это бывает». Они, стоявшие вокруг, знали. Многие из них прошли через лагеря и ссылки. Так вот, и там, в зоне, Виктор не успокоился — отправлял письма в инстанции. Лагерное начальство квалифицировало их как клевету на порядок, за что Орехов не раз сидел в штрафном изоляторе. Дважды он объявлял голодовку. Словом, не раскаялся. Выпущен был ровно через восемь лет.





Война — дело молодых,  
лекарство против морщины.  
В. Цой

Валерий  
ПРИМОСТ



(отрывки из свежих  
воспоминаний)

## Предисловие

Первые два года после демобилизации я гордился, что служил там, где служил. Я сверху вниз смотрел на ребят, отслуживших в более приемлемых условиях. «Я прошел хорошую школу», — считал я. Не знаю, как служат в БелВО, ДальВО и во всех других округах. Может быть, острота противоречий и конфликтов не достигает там того уровня, что в ЗабВО. Может, в других округах были свои конфликты и противоречия. Не знаю. Я служил в ЗабВО и написал о том, что видел сам и за что отвечаю. Я написал о том, как в казармах люди «едят» друг друга, как пауки в банке. Перед тобой, читатель, краткий рассказ об армии, какой я ее застал.

## Духи

«Духанский» период в жизни солдата начинается с «нулевой» хэбэшки пятьдесят шестого размера и заканчивается «переводными» ударами бляхой по заднице в день приказа. Дух (иначе «солобон», или «желудок») — в армии никто. У него нет никаких прав. Никто ничего ему не должен. Обязанности духа неисчислимы. Как объяснял нам (тогда еще духам) старшина: «Торчок должен обслуживать деда, котел — сам себя. А дух должен шуршать днем и ночью».

Нет, наверное, существа парадоксальней, чем дух. Он очень мало ест, но способен съесть пайки целого взвода, почти не спит, но способен спать даже на ходу. Он слаб и ничего не умеет, но девяносто процентов армейской работы исполняется им. Дух с трудом волочит ноги, но нет никого более поворотливого, чем он. Он нерешителен и всего боится, но иногда способен на подвиги. Дух валится с ног от одного удара по морде, но оказывается в состоянии вынести «все тяготы и лишения армейской жизни». Дух незаменим. Поэтому его очень любят и не покладая рук «учат» армейской премудрости старшие призывы.

У нас была такая традиция: когда «свеженьких» духов гнали через плац в часть, все высыпали из казарм и орали в их круглые от страха глаза: «Вешайтесь! Вешайтесь, духи!» Впрочем, в течение следующего года многие из них так и делают (а также стреляются, режут вены, убегают и т. д.).

Духи всем верят и всего боятся, они беззащитны и послушны. А особенно они тянутся к вежливым и ласковым старослужащим. Бойтесь их, духи, бойтесь сильнее, чем тех, кто сразу бьет вас по морде!

## О старослужащих «добрых» и «злых»

Духи по простоте душевной не знают, что доброта в армии сурова и груба, а подлость частенько мажет повидлом. В армии, как и на зоне, раз «опустившись», невозможно подняться, как, раз поев за последним столом, невозможно перекусить за первый. «Добрые» используют этот принцип, чтобы опустить духа хотя бы раз. Дальше «само пойдет». Например, подходит к духу котел или дед и грубо приказывает, скажем, почистить ему сапоги или постирать хэбэшку. Дух, если пацан боевой, упрется: «Нет, и все», — а то еще пошлет. И под побоями не сломается. А вот если подойти к нему и ласково так посюсюкать: «Братишка, ну сделай одолжение, пожалуйста...» — то дух, который, кроме «козел», «урод» и «ублюдок», ничего больше не слышал, а кроме «по морде», ничего больше не видел, вряд ли устоит. (Духи, не разбирающиеся в оттенках казарменных взаимоотношений и меряющие все гражданской меркой, склонны считать, что если «старик» обратился к ним ласково, то он их уважает и считает равными себе, а работа, которую он просит выполнить, — не более чем дружеское одолжение. Вообще почти всегда призывники заранее по рассказам теоретически знают, что их ждет в армии. И заранее настраиваются на великий бой. Но в армии этот великий бой разбит на множество микроскопических стычек и столкновений, и духи уже воюют, не замечая этого. Каждый раз по отдельному поводу от них требуют пустяка, ничтожной уступки по сравнению с ожидаемым ими решающим боем, и не стоит даже размениваться на этот пустяк, — но все эти проигранные пустяки оказываются в совокупности поражением в главной битве.) А раз только постирает — и минимум год ему хэбэшки дедовские стирать. Прецедент есть. Поэтому опасайтесь ласковых. Грубые честнее.

## Законы армейского быта

Мы учили эти законы сразу и без эквивалентов. Мы выхаркивали их с кровью на утренних осмотрах, их вбивали в нас с приказами «фанеру, к осмотру!», они звездчатыми отпечатками солдатской бляхи запечатлелись на наших задницах.

Итак, вот несколько принципов, которые нужно знать, чтобы нормально жить и достаточно высоко котироваться в армии:

1. Никогда ни для кого ничего не делай, если он может это сделать сам.
2. Всегда отвечай ударом на удар. Если видишь, что это необходимо, бей первым.
3. Никогда не показывай нерешительности или боязни.
4. Никогда не прощай обид. Будь злым и злопамятным.
5. Не доверяй офицерам. Им твои проблемы до задницы.
6. Никому не жалуйся и не лги.
7. Всегда делай лишь ту работу, которую не погнушался бы, с твоей точки зрения, сделать самый уважаемый в роте солдат.
8. Будь себе на уме.
9. Никогда даже в мыслях не допускай, что кто-то из сослуживцев или офицеров может быть морально выше и сильнее, чем ты.
10. Знай свою службу, свои права и обязанности лучше командиров.
11. Будь всегда чист, глажен, брит и надраен до блеска. В армии встречают по одежке.
12. Не «прогибайся». Где возможно — «вальтуй».
13. Никогда не ешь в одиночку или спрятавшись. Не ешь из грязной посуды.
14. Не подбিরай объедков и никогда не показывай, что ты голоден.
15. Не ищи легкой службы. Отслужив легко, ты не достоин уважения.
16. Никому не верь. «добрым» сразу бей в балабас. Все запахло в рот — от них.



17. Не бойся крови. Если ты в первой же схватке проломишь кому-нибудь голову табуреткой — к тебе будут относиться гораздо осторожней.
18. Забудь все эти интеллигентские штучки. В армии вежливость — признак слабости.
19. Не унижай слабых, иначе в глазах сильных потеряешь свое лицо.
20. Не лезь на рожон. Будь спокоен и выдержан, ведь запасного черепа у тебя нет.
21. Дай всем понять, что у тебя нет слабых мест.
- 22 и последнее. Когда надо, будь таким, как все. На таких, как все, бочек не катят.

## О «стержня» и о его отсутствии

Наличие или отсутствие «стержня» — основной принцип, по которому происходит градация людей в армии.

Что такое «стержень», в двух словах не объяснишь, как не объяснишь в двух словах, что такое «чмо». Но упрощенно «стержень» — это армейский эквивалент чувства собственного достоинства. Если «стержень» есть, ты «бурый» или «похуист», если проблематичен, ты «середняк», если отсутствует, ты «чмо». Еще более упрощенное, казарменное определение «стержня» таково: в тебе есть стержень, если никто не может заставить тебя делать то, что ты делать не хочешь. По этому признаку люди делятся достаточно жестко. И каждый разряд живет так, как не способен жить его антипод. Бурый не способен вкалывать так, как вкалывает чмо, таким дерьмом питаться, так мало спать, существовать в таких ужасных условиях, быть гонимым, молча сносить удары. Чмо же не способен драться, «не щадя живота своего», нагло добиваться того, что ему не принадлежит, быть упрямым, злопамятным и жестоким. И так далее. Но давайте по порядку.

**Бурые.** В основном тупоголовы, бесшабашны, мстительны. Так называемые рубахи-парни. Завоевываемое ими привилегированное положение ценно для них даже не избавлением от грязной работы и унижений, а приобретением власти над слабыми. О, покомандовать, поиздеваться над кем-то — для них высший кайф. Особенно любят мучить интеллигентов (рядом с интеллигентами бурых мучает острое чувство собственной неполноценности; угнетая интеллигентов, чувствуя свою над ними власть, бурые это чувство глушат). Свои служебные обязанности почти всегда знают четко. Но дальше параграфов идут редко. Жестокими приказами от них ничего не добиться — чихать они на них хотели. Лучше всего поставить их в пример духам. Тогда бурые из кожи вон будут лезть, подсознательно доказывая себе свое над духами превосходство, а значит, и право ими командовать. Из бурых командиры обычно набирают старшин и сержантов, и те с энтузиазмом берутся за дело, подхлестываемые все той же уездной жаждой власти. Многие из них потом становятся «сверчками» и прапорщиками.

**Похуисты.** На мой взгляд, самые приятные из солдат. На «священный долг по защите» плевать хотели, так как прекрасно понимают, что вся это ура-патриотическая трескотня — для толпы у подножия трибун. (Впрочем, в армии вообще мало кто задумывается о том, что они все там делают, а если кто и задумывается, то наверняка имеет на этот счет мнение, весьма отличающееся от официального.) Но службу несут отменно, зная, во-первых, что чем лучше они будут выполнять свои обязанности, тем реже их будут дергать, а во-вторых, из самоуважения. Самая цивилизованная часть солдат. На политические темы предпочитают не рассуждать (у бурых на это не хватает мозгов, у середняков — времени, у чмырей — здоровья), лишь иногда позволяют себе задать несколько каверзных вопросов замполиту. От власти над кем-то не получают никакого удовольствия, мало того, она их тяготит. Не только не издеваются над чмырями, но даже пытаются говорить с ними как с нормальными людьми. Выслуживаться не любят, к высшим чинам почтения не испытывают, поэтому среди сержантов и старшин их почти нет. Относятся к двум годам службы как к досадной задержке, поэтому зачастую плевать хотели на кантики, рантики, стрелочки, угол изгиба блях и кокард, дембельские альбомы и блокноты и прочую муру, от которой без ума бурые. С сослуживцами — не похуистами — общаются мало и только по необходимости. Припахивают только в самом крайнем случае.

**Середняки.** Ни рыба ни мясо. Иногда угнетаются буры-

ми. Похуисты их просто не замечают. Зато сами середняки любят прикрикнуть на чмырей. Грязную работу делают только после серьезного сопротивления. Вообще в армии (как, впрочем, и везде) их подавляющее большинство. У умного ротного дальше «мослов» (младших сержантов) не дослуживаются. Они всегда в середине. Вот и все, что про них можно сказать.

**Чмыри** (ед. число чмо — человек, морально опущенный). Самые несчастные и убогие в СА существа. Протоплазма, утратившая всякий человеческий облик. Понятие «чмо» («чмырь», «чухан», «чушок») настолько многогранно, что не служившему в армии читателю наверняка будет весьма сложно полностью представить себе этот «героический» образ. Поэтому сейчас я попытаюсь нарисовать приблизительный портрет «классического» чмыря из ЗаБВО второй половины восьмидесятых. Небрит, грязен до невозможности, зарос паршой до самых глаз, хэбэ или пэша черным-черно и размеров на пять больше, чем надо (равно как и сапоги), руки покрылись черной коркой, вшей столько, что брось нателную рубашку на пол — она убегает, соплив, вонюч, в карманах постоянно какие-то объедки, всего «шугается», смотрит заискивающе, после первого же тычка валится на пол и плачет. Шапка тоже гораздо больше, чем надо, с пришитой кокардой и непременно обгорелая (ночью в печке огонь поддерживал, закемарил, вот и прислонился). Но, несмотря на столь неприглядный вид, чмо способен на многое. Дело в том, что от постоянных побоев, притеснений, издевательств, голода и холода у чмырей прекращается высшая нервная деятельность. Их чувства отключаются. Они не ощущают боли и холода, ничего не соображают и почти разучиваются говорить (то есть отбрасывают то, что функционально оказалось им ненужным).

Так, подчиненный моего приятеля Кости К. рядовой Б. мог совершенно спокойно, даже не меняясь в лице, часами копаться в обледевшем движке заглохшего «Урала» голыми руками при сорокаградусном морозе. И когда Костя дубасил его гаечным ключом — наплевать. У того даже следов на теле не оставалось, а глаза во время этой процедуры сохраняли свою стеклянно-равнодушную пустоту. Б. стоял, покачиваясь на изуродованных «забайкалками» ногах, и скучным голосом канючил: «Ну, Костя, ну не надо...»

Или вот другой случай. Однажды зимой на учениях ребята из соседнего взвода залезли в бэтээр план дуть и на броню посадили «на васар» одного своего молодого. Парень заснул (при 45 градусах мороза!), и рука его примерзла к броне(!). Так вот, он, не меняясь в лице, оторвал ее с кровью и мясом от металла, когда из люка полезли сослуживцы.

Еще один кадр, рядовой П., ухитрился на учениях за несколько ночных часов сгрызть буханку насквозь промерзшего хлеба (обычно такие буханки на обед рубили топорами).

Кстати, место солдата в казарменной иерархии можно определить по тому, как к нему обращаются сослуживцы. Самых уважаемых называют по именам, причем в полной форме, т. е. не «Коля», а «Николай». Середняков и всех, кто «ниже среднего», — по фамилиям. А уж самых гонимых — только по кличкам.

И еще. Наличие стержня далеко не всегда совпадает в человеке с наличием мощных мышц или знанием, скажем, каратэ. Главное — не физические данные, а злость и решительность. Покажи противнику, что ему тебя не сломать, и он в следующий раз даже пробовать не будет, несмотря на свое физическое превосходство. Вот что такое «стержень».

(Продолжение следует)



## Владимир СТРОЧКОВ

### БОЛЬНАЯ Р.

Хронический склерофимоз  
Из истории болезни

И в белоснежных хлопковых полях  
там, под Москвой, ну, в общем, в Елисейских,  
на берегу своих пустынных дум  
он вспомнил жизнь: как не было ее.  
Он думал о Царевиче: о том,  
как он в гробу видал свою невесту  
хрустальном и таких же башмачках,  
тойсть тапочках, свою Синедрильону,  
тойсть Золушку, тойсть это, Белоснежку,  
тойсть спящую, тойсть мертвую царевну,  
то есть мертвецки спящую ее;  
и как семь гномов, тойсть богатырей,  
посланцы из шестнадцати республик,  
то есть пятнадцати, ну, в общем, отовсюду,  
достойнейшие из перьдовиков, «...»  
рыдая, ей поставили по свечке,  
семь звездочек, от слез шестилучевых  
и медяки на очи положили  
с пятикопеечной, тойсть это, пятиглавой,  
то есть пятиконечную звездой,  
и тихо пели стеб да стеб кругом,  
тойсть спесь да спесь, тойсть степь да степь, а дальше  
там был вопрос, мол, путь далек ли, жид?  
а дальше он забыл слова, но помнил,  
что жид замерз, ругаясь, как ямщик,  
тойсть кучер, то есть, как его, извозчик,  
и там, в полях, почуя смертный час и возносясь душою  
в Агасферы,  
он ощутил себя как бы французом  
под Бонапартом, то есть под Москвой,  
хотя, скорей, под немцем: все же идиш...  
хотя, конечно, идиш не иврит,  
жид не ямщик, а ядрица не гречка,  
тойсть не гречанка, в смысле, он не грек  
и не совал руки в Березину,  
и грех, тойсть Гракх, тойсть Враг, ну, то есть это,  
ну, РИК, тойсть Рок, тойсть рак его за руку  
там не хватал, но все же был изрядно  
с «Ячменным колосом», ну, то есть, ну, с колóссом  
Раковским, тоже рухнувшим, когда  
в тех Елисейских, хлопчики, полях, «...»  
ну, Марсовых, то есть Ходынских, то есть  
в полях чудес, в стране соцреализма  
казарменного; и рыдал Царевич,  
природный гастроном и астронавт,  
безродный космонавт и замполит  
из рода и колена Эль-Есеев,  
с которых и пошли в народ, в поля  
народники и чернопередельцы,  
тойсть черносотенцы, ну, в общем, разночинцы,  
разумные и добрые, и вечно  
все сеявшие: все у них из рук  
валилось в рот, то есть в народ, в поля  
Филипповские, где известный комик-с  
и булочник, ну, в общем, де Фюнес,  
с такой замысловатой головой,  
то есть богатой замыслами в смысле,  
с изюминкой, но не без тараканов,  
упек национальный колобок,  
охранником-амбалом замеченный  
по скребанным уже пустым генсекам,  
замешанным на деле о сметане,  
где жарен был карась-идеалист,  
то есть петух, который, брызжа пеной,  
шипя и прыгнув со сковороды,  
гремя огнем, сверкая блеском стали,  
бренчал лихим валдайским колокольцем  
под расписною Курскою дугой  
в полях под Прохоровкой, тойсть под Кенигсбергом,  
в который вшит был пруссаками Кант,

позднее с мясом выдранный оттуда  
включенным третьим — Белорусским — фронтом  
при огневой поддержке Карла Ксеркса,  
тойсть Либкнехта, тойсть это Карла Цеткин  
Двенадцатого, то есть Карла Маркса, «...»  
который после сделал из него  
(тойсть Маркс из Канта, а не КенигсДОТа,  
ну, то есть, это, ну, не Аникст-Берга)  
живой неиссякаемый источник,  
назвав его изящно Иппокреной  
Кастальской, то есть Феергегельбахом;  
но синий Кант, карась-идеалист  
в густой сметане Вееркегельбана  
и был тем самым красным питухом,  
который, прыгнув со сковороды  
с изрядным кенигсбергским иппокреном, «...»  
с оттяжкой клюет в первоосновы  
казарменного, то есть развитого,  
тойсть зрелого, тойсть, как его еще,  
реального вполне цыцреализма,  
который на питательных останках  
Сметоны и идей Сковороды  
изжарил нам писатель Абба Коба,  
иппонец, то есть, видимо, и врей,  
то есть горняк, хотя, вернее, горец, «...»  
то есть забойщик: как-то сам Стаханов  
ему клешню клешнею пожимал  
и ел своими рачьими глазами  
на длинных алкогольных стебельках,  
оглаживая раковою шейкой,  
тойсть черным вороном, то есть фургоном «Хлеб»  
и сотрясаясь в пароксизме страсти,  
как будто бы с крутого бодуна  
тойсть Годунова, то есть Бодуэна  
де Куртенэ, такого же лингвиста,  
как сам Сосо<sup>1</sup>, тойсть этот, Оба Кэба, «...»  
стяжатель славы кратныя в боях  
подле Каялы с Калкой, то есть кайлом, «...»  
заткнув ему хайло балтийской килькой  
в томате, то есть Кантом, то есть «хальтом»,  
тойсть кольтом, то есть кельтом, и волюнку  
шотландскую под кильтом затянув  
морским узлом еще под Трахальгаром,  
где, протянув под Килем пару суток,  
он наголову разгромил хозар  
и потопил их флагманский кобзарь,  
то есть карбаз, то есть баркас, прижопил  
весь их гешефт, гештальт, гевалт и базл,  
всю их клепсидру, то есть всю эскадру,  
то есть Арманд, тойсть, как ее, Армаду,  
и весь их каганат, то бишь кагал,  
загнал в Босфор, ну, в смысле, в Дарданеллы,  
то есть в диаспору, тойсть эту, диаспору,  
куда они, рыдая, понесли  
свои невосполнимые потери,  
то есть утрату: и Синдромион,  
тойсть Сандрильон, ну, в общем, кагалаты  
и два мешка обрезков и мацы, «...»  
и тихо пели Лазаря. А тот,  
Лаврентий Моисеев Каганович,  
то есть Иван Царевич Елисеев —  
он отворил тихонько Калиту,  
тойсть Грозного, и кружева накинув,  
тойсть талес на головку, и малютку  
скуратого к груди своей прижав  
неотразимым материнским жестом,  
брел в Вифлеем сквозь дикий Парк Культуры  
показывать младенца трем волхвам  
Морозовым: Петру и Савве с Савлом;  
и говорят, они его признали,  
да только нынче некого спросить:  
Петръ легъ въ основу, Савву взял Господь,  
а Савл Морозов вскоре поменял  
фамилию: был Власов, стал Корчагин,  
и только имя доброе свое «...»  
он сохранил: был Власик, то есть Савлик,  
тойсть Павлик, а позднее стал Павлюта  
Шкирятов, то есть, в сущности, Ягода  
того же поля, в смысле Куликова; «...»  
в девичестве Фейхтвангер, но по мужу

<sup>1</sup> Коко (французск.).



Роллан Ромен, хоть от роду был Жид, <...>  
а во втором замужестве Шикльгрубер,  
хоть говорили — Феергегелькак?,  
а был он просто-напросто Бронштейном,  
свои же его звали Лукичом:  
— Лукич! Лукич! — они, бывало, кличут  
откуда-нибудь снизу, из подполья,  
а то из ссылки или Лонжюмо —  
он вздрогнет, обернется, побледнеет, —  
а искровцы хохочут, шутники,  
таким веселым, добродушным смехом,  
что, вот, убил бы, кажется! — ан нет:  
уже, глядишь, и сам не удержался,  
захохотал визгливо, эспаньолкой  
козлиною трясая и топоча  
лягушачьими тощими ногами;  
потом притихнет, сядет речь писать,  
пристроясь на пеньке или ступеньках, —  
и слушает, недоуменно хмурясь,  
сронив пенснэ, ероша шевелюру,  
как бундовцы им вторят невпопад,  
и не поймет: они-то что смеются...  
Бронштейн Лукич был самых левых правил  
Леон Искариотович Лжетроцкий;  
его в своей трилогии «Иосиф и его братья»  
ярко отразил Леон Виссарионович Фейхтвангель,  
то есть Фейхтвагнер: ну, там, то да се,  
Тангейзер, Зигфрид, Сумерки Богов,  
подполье, хедер, ссылка, Нибелунги,  
Валькирии, Азеф и Парсифаль,  
трибун, наркомвоен, любовь народа  
и ледоруб с изящной гравировкой:  
«Л-Троцкому за пламенные речи  
от искренних поклонников таланта —  
сотрудников ЧК ВКП(б),  
то есть ЦК ОГП(у)». А дальше —  
хрустальный гроб, и мертвая царевна  
подмигивает из-под Пятакова  
лубочным, тойсть лубяночным глазком  
и шевелит отросшими усами:  
— СОСО!..ОСО!..ОСО!.. АВИАХИМ!..  
Лиха беда, начальник! За Лжетроцким —  
все мальчишки кровавые в глазах:  
Лжекаменев, Лжерыков, Лжезиновьев, <...>  
и там еще с десятка три-четыре,  
а может, пять — миллионов — кто ж считал? —  
весь Лженарод подряд, Отцы и Дети,  
как некогда говаривал Тургенев  
Иван Царевич, тойсть Иван Сергееч,  
великий русский барин-крепостник  
и почвенник, тойсть, в смысле, деревенщик,  
когда порой бывал на Поле он,  
а то под ней, то есть под ним, под Спасским,  
тойсть Волочаевкой, в те штурмовые дни,  
тойсть под Верденом — в смысле мясорубки,  
а не Вердена — в смысле Виардо, <...>  
и там, словно Царевич Лжедимитров,  
за недожог Кремля, не то Рейхстага  
под Угличем, а может, под балдой,  
зарезанный, то есть кнутами битый,  
он вырвал грешный свой язык и в ссылку,  
чтоб не звонил зазря чего почем,  
был сослан под Виндзор, тойсть под надзор,  
тойсть под подзор, и часто посреди  
имения кричал из-под полона,  
то есть Полины, то есть нет, Марины,  
тойсть из-под Мнишки, то есть из подмышки:  
— Царевич я!.. Довольно!.. Стыдно мне!.. —  
но изо рта Герасима, тойсть, это,  
Тургенева набатом по России  
ревело только грозное: «Му-у-у! Му-у-у!»;  
и Герцен, оценив его великий,  
его могучий вырванный язык,  
увез его оказиею в Лондон,  
и там, вдали родного языка, <...>  
у Герцена он «Колоколом» был,  
и в ужасе бледнели царедворцы,  
когда в Россию ветром доносило  
его призыв, набатное «Му-у-у! Му-у-у!».<...>  
Он барщину оброком заменил,  
тойсть продналогом, в смысле продрозверсткой,  
тойсть продотрядом, а Сухой Закон —

величественным Основным Законом,  
тойсть Конституцией, а уж ее  
он Пятьдесят Восьмою заменил  
и в ней достиг неслыханных доселе <...>  
сияющих высот зитпреализма;  
и запалив коня, не то Рейхстага,  
под Угличем, он двинул на Москву, <...>  
к Березине, а дальше — польским шляхом,  
тойсть шляхтичем, рванул на Трефольгар, <...>  
пархатых бить хозар, спасти Расею,  
в повозке напевая: «Чюки-чюк!»;  
и Огареву Герцен говорил:  
«Смотри! Смотри! Он охмурил поляков,  
то бишь Литву, и Пушкина с Хрущевым,  
и Курбского с Карелией, и Мнишку,  
и за него все Третье Отделение,  
и Дубельт с Бенкендорфом, и Ягода,  
тойсть этот, Ягужинский, и народ!  
Как он велик, наш славный самозвонец!  
Как он сказал Борису: «Ты не прав,  
зарезав христианского младенца  
Царевича, тойсть Савлика Бронштейна,  
и кровь его невинная святая  
падет мацой на голову твою!»  
Какой же человецище матерый!  
Какой звонарь! Он будет наш Некрасов,  
он будет наш Поэт и Гражданин  
всего Союза русского Народа.  
Он был бы третий, кабы не Белинский,  
тойсть Шуйский, то есть, как его, Шкирятов,  
то есть Зизи, тойсть эти Оба, Кабы  
не Кагалович, в смысле не Лукич!..»  
...А он рыдал своим последним глазом,  
как Аргус, то есть это, Полидевк,  
тойсть Полифем (как говорят французы —  
шерше ля девк, ну, в смысле, что ля фем), —  
то есть Даян, ну, то есть, ну, Кутузов,  
тойсть Нельсон; и когда ему второй,  
то есть последний выбили под Хайфой,  
тойсть под Хай-Фай, ну, то есть, под Хайфоном,  
то есть под кайфом, в смысле под балдой,  
тогда его борцы за справедливость  
и шоссонье Двойной прозвали Нельсон,  
в том смысле, что двойным морским узлом  
он завязал с тех пор и с алкоголем,  
тойсть с кайфом, и с забоем, и с трудом  
ударным управляясь инструментом,  
он стал в руках великого Zoo-Zoo,  
являсь как шерстекрылый склерофим,  
устроив циклопический свинарник  
и выкормив веселых поросят:  
Миф-Мифа о стране Поцреализма,  
подобии большой фата-морганы;  
Маф-Мафа, жизнестойкого гибрида  
из Нострадамуса, тойсть это, Нотр Дама,  
тойсть Коза Ностра с нашей каса марэ  
потемкинской, то бишь ВДНХ;  
Пух-Пуха<sup>2</sup>, что ушел с Олимпиады  
угонным рейсом прямо за бугор,  
чем оказал медвежью услугу  
и свинство сионистское свое;  
и крепкого Мух-Муха, под которым  
живет народ земли SOS-реализма,<...>  
Он стал Гомер, то есть Иван Сусанин  
и вел на ощупь, на одних бровях,  
но верною, испытанной дорогой;  
и Минину Пожарский говорил:  
«Смотри! Смотри! Он охмурил поляков,  
и чехов охмурил, и весь ООН,  
и все ЮНЕСКО, НАТО и СЕАТО,<...>  
И даже наших русских охмурил!  
Какой же человецище матерый!  
Великий Человек и Гражданин!  
Он будет с нами третий, не Сусанин,  
то есть Жужу, Муму, тойсть Абы-Кабы.  
Какой Простой Советский Человек!  
Остановись, мгновенье, ты прекрасно!..»  
И в тот же миг оно остановилось  
и простояло двадцать с лишним лет,  
пока не сгнило.

<sup>2</sup> Настоящая фамилия — Талесман.



# КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГАЗЕТЫ РОССИЙСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ

И  
ФИРМА ЭФ-АР-Ю ИНТЕРНЭШНЛ КОРП.  
(США)

предлагают:

- бытовую электронику, компьютеры, ксероксы, факсы, телефоны, обувь, видеокассеты, сигареты, а также ювелирные изделия из серебра. Оплата в СКВ.
- землю, дома, квартиры, реальный бизнес в США
- чистящие диски 5,25 дюйма. Стоимость — 60 руб.
- японские легковые автомобили и микроавтобусы. Стоимость до 3000 долларов

Заявки направляйте по адресу: 129010, Москва, а/я 28. Тел.: 291-92-92, 290-42-86.

КРОМЕ ТОГО,  
центр  
народной медицины  
газеты

Российские коммерческие ведомости  
«ВЕДЫ»

- проводит обучение по специальностям: оператор по биоэнергoinформационному обмену, биоэнерготерапевт, экстрасенс, фитотерапевт
- организует лечебно-оздоровительные сеансы на предприятиях.  
Справки по тел.: 166-61-72, 290-42-86.

Главный редактор  
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Татьяна БОБРЫНИНА —  
редактор отдела прозы  
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —  
редактор отдела культуры  
Натан ЗЛОТНИКОВ —  
редактор отдела поэзии  
Олег КОКИН — главный художник  
Михаил КУРКОВ —  
коммерческий директор  
Виктор ЛИПАТОВ —  
заместитель главного редактора  
Константин МИХАЙЛОВ —  
редактор отдела публицистики  
Эмилия ПРОСКУРНИНА —  
редактор отдела рукописей  
Анна ПУГАЧ — редактор  
отдела международной жизни  
Юрий САДОВНИКОВ —  
ответственный секретарь  
Александр ХОРТ —  
редактор отдела сатиры и юмора  
Ирина ХУРГИНА —  
редактор отдела писем

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

**К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:**  
Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи редакция не возвращает. Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку. Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Технический редактор Ольга Трененок

Сдано в набор 04.04.91. Подп. к печ. 24.04.91.  
Формат 84×60%. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.  
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.  
Тираж 999 000 экз. Заказ № 385.  
Цена 1 р. 75 к.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,  
ул. Горького, д. 32/1.  
Телефон для справок — 251-31-22.  
Отдел рекламы — 251-14-21.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции  
типография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© Журнал «Юность», 1991 г.



Художественное кредо Георгия Уварова менее всего хотелось бы связывать со стремлением к новой живописной форме. Более того, приверженность его традиционному видению не оставляет сомнения. Имея за плечами хорошую школу, как мастер монументальной живописи, молодой автор целиком посвящает себя станковой картине. Для него это органично, потому что внутреннее наполнение его образов способно раскрыть интересный мир человека. Незаурядным оказалось дарование портретиста, способность реагировать на изменчивое состояние духа. Это качество как бы само ведет художника к тонкому наблюдению, к передаче того, что делается зримым лишь с помощью цветового богатства полотна.

Впрочем, созданные Уваровым образы заключают в себе некий парадокс. Крупноформатное полотно «Гегемон» заставляет вспомнить, что «монументальное» не было чуждо художнику. Это не частная зарисовка. Сочетание приемов, свойственных жанру монументальной живописи, с явно дегероизированным содержанием образа дает определенное столкновение смыслов. Это повод к серьезной оценке явления, если угодно, к социальному анализу. В работах иного плана, как бы внутренне просветленных, Уваров тоже не благостен. Так, лирический образ в картине «Материнство» чужд сладковатой красивости, в трактовке модели он избегает «позы». В большинстве работ лирическая интонация с неким трудом пробивается сквозь ироничность. Мы наблюдаем сознательное самоограничение мастера в выражении идеального. На помощь приходит спасительный гротеск.

В труднейшем жанре — парном портрете — поиски художника особенно плодотворны. Ему удастся реализовать идею, буквально витающую в воздухе. Здесь нащупываются пути к выражению диалога. Уваров затрагивает наиболее чувствительные струны современного психологического момента. Строя композицию иногда как беседу — в «Портрете А. А. и М. А. Каменских» иногда, напротив, «беседы» — не предполагается, художник вовлекает зрителя в особую атмосферу отклика души. В «Портрете Е. Ю. и Ю. Я. Герчук» четкий силуэт двух сидящих фигур представляет сложное единство духовной жизни людей, существующую в каждом из них большую интеллектуальную напряженность.

В своих портретных интерпретациях Уваров находит и совпадения, и отталкивания образов. Эта диалогичность — черта драгоценная в понимании нашего времени.

Галина ПЛЕТНЕВА



«Гегемон». Холст, масло. 1989 г.



Портрет Александра и Михаила Каменских. Холст, масло. 1990 г.



На стендах «ЮНОСТИ»

Георгий  
УВАРОВ  
г. Москва.

Портрет  
Юрия и Елены Герчук.  
Холст, масло. 1990 г.



73  
СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА  
МОСИНКОМБАНКА И СВЕРДЛОВСКОГО ТХО "СКИФЫ"

# фирма "АРТ-МЭН"

представляет  
новый остро сюжетный  
приключенческий фильм  
ВЛАДИМИРА  
ЛЮБОМУДРОВА



В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:  
ЛЕОНИД МАРКОВ  
АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ  
ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА

СПРАВКИ  
ОТ ПРОДАЖЕ ТЕН.  
ФИЛЬМА ПО 174.50.71, 431.97.96,  
431.16.66  
ТЕЛЕФАКС 9382083 АРТ-МЭН  
ТЕЛЕКС 411293 MSFLM SU АРТ-МЭН  
ТЕЛЕКС 114591 "МАНА" АРТ-МЭН  
МОСКВА,  
МИЦУРИНСКИЙ ПР., 31.  
ФИРМА "АРТ-МЭН"